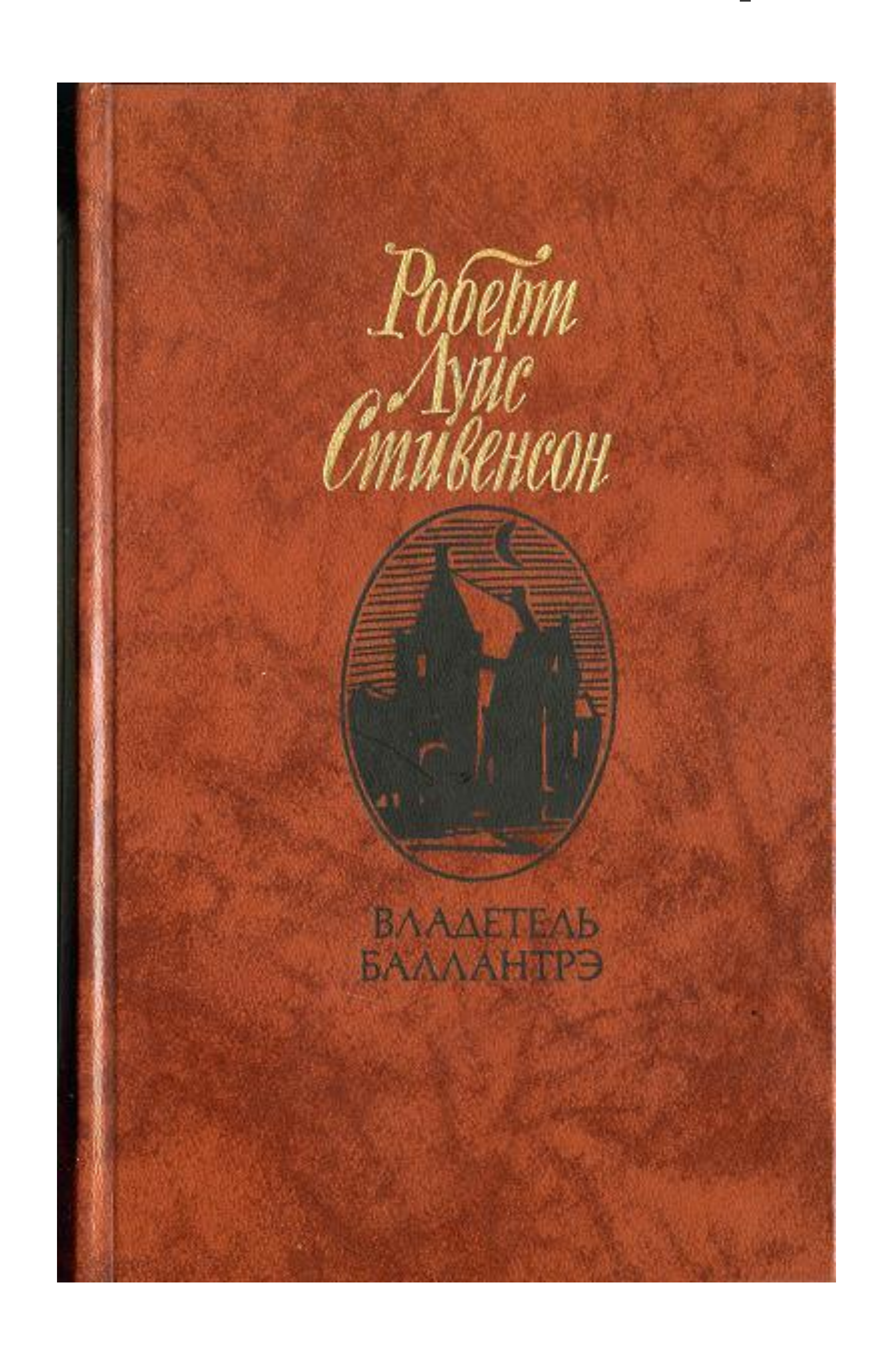
Стивенсон Роберт Льюис

Владетель Баллантрэ





ПРЕДИСЛОВИЕ

Будучи давним, закоренелым странником, издатель дальнейших страниц все же кое-когда наезжает в город, уроженцем которого он счастлив себя назвать, и мало у него бывает ощущений более странных, более горестных или же более целительных, чем во время таких вот наездов. В чужих краях он появляется нежданно-негаданно и привлекает к себе внимание, совсем не рассчитывая на это; в своем же городе все выходит наоборот, и ему остается только дивиться, как плохо его здесь помнят. В других местах на него благотворно действует каждое приятное лицо: вот этот человек, может быть, станет ему другом; здесь он с болью в сердце бродит по длинным улицам в поисках лиц и друзей, которых уже не встретит. В других местах его восторгает все новое; здесь терзает исчезновение старого. В других местах ему довольно быть теперешним самим собой; здесь его равно гнетут сожаления о том, каким он был когда-то, и о том, каким надеялся стать.

Вот что он смутно чувствовал по дороге с вокзала в последний свой приезд на родину; чувствовал и в ту минуту, когда вышел из кэба у дома своего друга, присяжного стряпчего мистера Джонстоуна Томсона, у которого должен был погостить это время. Сердечный прием, лицо, не так уж изменившееся, несколько слов, напомнивших былые дни, шутка, вызвавшая смех у обоих, увиденное мельком, на ходу: белоснежная скатерть, отсвечивающие боками графины и офорты Пиранези на стенах столовой — все это препроводило его в отведенную ему спальню в более легком расположении духа, и когда, несколько минут спустя, они с мистером Томсоном сели рядышком за стол и отдали дань былому предварительным бокалом, у него отлегло от сердца, он уже почти отпустил себе две непростительные погрешности: то, что покинул когда-то свой родной город, и то, что вернулся сюда.

— Я приберег кое-что подходящее для вас, — сказал мистер Томсон. — Мне хотелось отпраздновать ваш приезд, дорогой мой друг, потому что вместе с вами меня снова посетила моя молодость, правда, в сильно потрепанном и увядшем обличье, но… ничего иного от нее не осталось.

— И на том спасибо, — сказал издатель. — Но что вы считаете так уж подходящим для меня?

— Сейчас мы к этому приступим, — сказал мистер Томсон. — Судьба дала мне возможность отпраздновать ваш приезд и подать вам на десерт нечто весьма своеобычное. Тайну!

— Тайну? — повторил я.

— Да, — ответил друг издателя. — Тайну. Она может оказаться пустяком, но может дать и, очень многое. Впрочем, пока что перед вами нечто действительно таинственное, ибо вот уже почти сотню лет этого никто не видел; перед вами нечто весьма высокого порядка, ибо дело касается одного титулованного семейства, и, по-видимому, вы столкнетесь с мелодрамой, ибо, судя по сопроводительной записке, речь тут идет о смерти.

— Я, кажется, никогда не слышал более туманного или более многообещающего вступления, — проговорил его собеседник. — Но что же это такое?

— Вы помните контору моего предшественника, старого Питера Мак-Брайера?

— Прекрасно помню. При встречах со мной он всегда бросал на меня горько-укоризненные взгляды и скрыть чувство горечи ему не удавалось. Я питал к этому человеку интерес как к личности исторической, но взаимностью у него не пользовался.

— Нет, нет, мы на нем не задержимся, — сказал мистер Томсон. — Смею думать, что старик Питер знал обо всем этом не больше, чем знаю я. Дело обстоит следующим образом: после него осталась целая кипа старинных документов и железные шкатулки с бумагами. Часть их была из архива самого Питера, часть перешла к нему от его отца, Джона, — основателя их юридической династии, человека в свое время примечательного. И среди прочих бумаг в этом архиве хранятся документы семейства Дэррисдиров.

— Дэррисдиры! — воскликнул я. — Друг мой, это же крайне интересно! Один из них уезжал на север в 45-м году, у другого были какие-то странные дела с дьяволом — об это м, кажется, есть в «Хрониках» Лоу, — а затем в их семье произошла загадочная трагедия. Что там случилось, не знаю, но было это много позднее, лет сто назад.

— Больше, чем сто, — сказал мистер Томсон. — В 1783 году.

— Откуда вы это знаете? Я говорю о чьей-то смерти.

— Да, о прискорбной кончине милорда Дэррисдира и его брата, владетеля Баллантрэ, постигшей их обоих в жестоком междоусобии, — сказал мистер Томсон таким тоном, будто цитируя по памяти. — Не так ли?

— Я, признаться, встречал всего лишь невнятные ссылки на это в разных хрониках, — сказал я, — и слышал еще более невнятные предания от своего дядюшки (вы его, кажется,

знали). Мой дядюшка жил в детстве неподалеку от Сент-Брайда; в его рассказах было и про тамошнюю аллею, перегороженную и всю заросшую травой, и про большие ворота, всегда на запоре, и про последнего хозяина поместья, который жил в задних покоях замка со своей старенькой незамужней сестрой. Люди они были тишайшие, бедные, но вместе с тем чувствовалось в этой скромной, ничем не примечательной чете что-то возвышенное: ведь все же они были последними потомками людей отважных, неуемных. А местные сельские жители даже питали страх перед ними, издавна наслушавшись разных кривотолков про этот род.

— Да, — сказал мистер Томсон. — Последний хозяин поместья, Генри Грэем Дьюри, умер в 1820 году. Его сестра, достопочтенная мисс Кэтрин Дьюри, — в 1827-м. Это я давно знаю, а просмотренное мною за последние несколько дней подтверждает, что были они, как вы говорите, люди порядочные, тихие и небогатые. Сказать правду, на поиски пакета, который мы с вами сегодня вскроем, меня навело письмо милорда. У него затерялись какие-то документы, и он написал Джеку Мак-Брайеру, спрашивая, не обнаружатся ли они среди тех, что опечатал некий мистер Маккеллар. Мак-Брайер ответил, что все опечатанное Маккелларом написано его собственной рукой и носит, насколько ему известно, чисто повествовательный характер, а дальше следовало: «Я не вправе вскрывать пакет до 1889 года». Можете себе представить, как эти слова взбудоражили меня. Я занялся разбором всего архива Мак-Брайера и наконец наткнулся на этот пакет, который (если вы не хотите больше вина) я не замедлю вам показать.

В курительной, куда мой хозяин привел меня, лежал пакет, скрепленный печатями и обернутый листом толстой бумаги со следующей надписью:

«Документы касательно жизни и прискорбной кончины ныне покойных лорда Дэррисдира и его старшего брата, Джемса, именуемого владетелем Баллантрэ, постигшей их обоих в жестоком междоусобии. Документы сии переданы в руки присяжного стряпчего Джона Мак-Брайера по улице Лонмаркет в городе Эдинбурге сентября 20 в лето от Рождества Христова 1789, с тем чтобы он держал их в тайне впредь до истечения ста лет, а именно до сентября 20 1889 года.

Составил и записал
я, Эфраим Маккеллар,
без малого сорок лет бывший управителем
поместья Его Светлости».

Так как мистер Томсон человек женатый, я не стану говорить, сколько пробило на часах, когда мы с ним перевернули последнюю из следующих далее страниц. Добавлю лишь, какими словами мы обменялись.

— Вот вам готовый роман, — сказал мистер Томсон. — Все, что от вас тут потребуется, — это добавить пейзаж, развить характеры и подправить слог.

— Любезный друг мой, — сказал я. — Вашим трем советам я как раз и не последую даже под страхом смерти. Это надо выпустить в свет так, как оно есть.

— Да эти записки голые, будто лысина! — воскликнул мистер Томсон.

— По-моему, нет ничего интереснее, чем такой вот голый слог, — отвечал я. — Что же касается лысин, то, по мне, пусть вся литература облысеет (если вам угодно) да, пожалуй, и все авторы, кроме одного.

— Ну что ж, — сказал мистер Томсон. — Поживем, почитаем.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА ВРЕМЯ СТРАНСТВОВАНИИ БАЛЛАНТРЭ

Полная правда об этих странных делах — вот чего давно ожидало от меня всеобщее любопытство, и она, несомненно, будет встречена всеми с одобрением. Случилось так, что последние годы я был накрепко связан с этой семьей, и едва ли найдется в живых хоть один

человек, который лучше меня мог бы разъяснить все происшедшее и который сильнее меня стремился бы рассказать обо всем полную правду. Я знал Баллантрэ; о многих потаенных ступенях его жизненного пути у меня есть достоверные письменные свидетельства; я был почти единственным, кто сопровождал его в последнем плавании; я был одним из участников того зимнего путешествия, о котором ходило так много рассказов, и я присутствовал при его смерти. Что же касается моего покойного господина, лорда Дэррисдира, — я служил ему и почитал его почти двадцать лет, и чем ближе его узнавал, тем больше было это почтение. Вообще говоря, я считаю, что такого рода свидетельства не должны пропадать без следа; правдой я могу оплатить свой долг памяти покойного лорда; и мне кажется, что мои последние годы протекут глаже и седины мои спокойнее будут покоиться на подушке, когда долг этот мною будет оплачен.

Дьюри из Дэррисдира и Баллантрэ были со времен Давида Первого[1] одной из самых крепких семей югозапада. Песня, которую и до сих пор поют в округе:

Страшен врагам наш лорд Дэррисдир,

Выводит он в поле сотни секир, —

говорит о древности их рода; имя Дэррисдиров упоминается и в другой песне, которую приписывают самому Томасу из Эрсельдуна,[2] насколько основательно, сказать не могу, и которую иногда приурочивают — не знаю, справедливо ли — к событиям, о которых я поведу рассказ:

Двое Дьюри у нас в Дэррисдире, —

Не ужиться им в замке вместе;

Жениху день свадьбы горек,

Но горше был день тот невесте.

Что достоверно и закреплено историей — это их деяния, не всегда (по теперешним понятиям) похвальные. Семья испытала на себе в полной мере все взлеты и падения, которые так обычны были для знатных шотландских фамилий. Но все это я миную для того, чтобы сразу перейти к достопамятному 1745 году, когда завязаны были узлы разыгравшейся позднее трагедии. В то время неподалеку от Сент-Брайда, на берегу залива Солуэй, в старом замке — родовом поместье Дэррисдиров со времен Реформации,[3] жила семья, состоявшая из четырех человек. Старый лорд, восьмой в своем роду, был не стар годами, но преждевременно одряхлел; постоянное место его было у камина — там он сидел в подбитом мехом плаще, читая свою книгу. Мало для кого находилось у него хоть слово, а худого слова от него не слыхал никто.

Так он и жил — образец старого, удалившегося от дел домоседа, но разум милорда был изощрен чтением, и он слыл гораздо умнее, чем мог показаться с первого взгляда.

Старший его сын, носивший титул владетеля Баллантрэ, получил при крещении имя Джемса и перенял от отца любовь к серьезному чтению, а отчасти и его манеры; но то, что было сдержанностью в отце, стало в сыне злостным притворством. Он был общителен, вел разгульный образ жизни: допоздна засиживался за вином, еще дольше — за картами; его считали в округе опасным волокитой, и всегда он был зачинщиком всех ссор.

Он первым ввязывался в дело, но замечено было, что он неизменно выходил сухим из воды, а расплачиваться за все приходилось его сообщникам. Были у него, конечно, и недоброжелатели, но для большинства эта удача или увертливость лишь упрочила его славу, и от него ждали многого в будущем, когда он остепенится.

На его репутации было одно действительно черное пятно; но дело было в то время замято и так обросло всякими кривотолками еще до моего появления в тех местах, что я не решаюсь излагать его здесь. Будь это правда — это было бы непростительным укором для такого юноши, будь это выдумка — это была бы непростительная клевета. Я считаю необходимым отметить,

что он всегда хвалился своей неумолимостью и, возможно, убедил в этом многих, недаром слыл он среди соседей человеком, которому опасно перечить. Словом, этот молодой дворянин (в 45-м году ему не было еще и двадцати четырех лет) не по летам прославился в своих краях.

Не мудрено поэтому, что мало кто слышал о втором сыне, мистере Генри (моем покойном лорде Дэррисдире). Не было в нем крайностей ни в дурную, ни в хорошую сторону, а был он простой, честный человек, как многие из его соседей.

О нем мало кто слышал, сказал я; вернее будет — о нем мало кто говорил. Слышали о нем рыбаки залива, потому что он был завзятый рыболов, но знал он толк и в лечении лошадей и с юношеских лет вплотную занимался ведением дел по усадьбе. Никто лучше меня не видел, насколько это было неблагодарное занятие и как легко было при том положении, в котором оказалась семья, без всякого основания прослыть тираном и скрягой.

Четвертой в доме была мисс Алисой Грэм, близкая родственница семьи, сирота и наследница значительного состояния, нажитого ее отцом на торговле. Эти деньги могли вывести моего господина из больших затруднений (ведь поместье было многократно перезаложено), и мисс Алисон предназначалась в жены Баллантрэ, на что она шла вполне охотно. Другое дело — насколько охотно подчинялся этому решению сам Баллантрэ. Она была миловидная девушка и в те дни очень живая и своенравная — ведь дочерей у милорда не было, а миледи давно скончалась, так что мисс Алисон росла без присмотра, как ей вздумается.

Известие о высадке принца Чарли[4] перессорило всю семью. Милорд, как и подобает домоседу, предлагал выжидать событий. Мисс Алисон высказывалась за обратное, потому что это казалось ей романтичным, и Баллантрэ (хотя, как я слышал, они редко сходились во мнениях) на этот раз был на ее стороне. Насколько я понимаю, его привлекала эта авантюра, соблазняла и возможность поправить дела дома и, не менее того, надежда заплатить личные долги, которые размером своим превосходили все предположения. Что касается мистера Генри, то поначалу Он, видимо, говорил мало, его черед наступил позже. А те трое, проспорив весь день, пришли наконец к решению держаться среднего курса: один сын поедет сражаться за «короля Джемса», а другой останется с милордом дома, чтобы не потерять расположения «короля Джорджа».[5]

Несомненно, это решение было подсказано милордом, и хорошо известно, что так поступили многие влиятельные семьи Шотландии.

Но лишь только окончился один спор, как разгорелся другой. Потому что милорд, мисс Алисон и мистер Генри — все трое придерживались того мнения, что ехать надлежит младшему; а Баллантрэ с присущей ему непоседливостью и тщеславием ни за что не соглашался остаться дома.

Милорд увещевал, мисс Алисон плакала, мистер Генри настаивал — ничто не помогало.

— У королевского стремени должен ехать прямой наследник Дэррисдиров, — твердил Баллантрэ.

— Да, если бы мы вели игру всерьез, — возражал мистер Генри, — тогда это было бы резонно. Но что мы делаем? Мы играем краплеными картами.

— Мы спасем дом Дэррисдиров, Генри, — говорил ему отец.

— Ты сам посуди, Джемс, — сказал мистер Генри, — если поеду я и принц возьмет верх, тебе будет легко договориться с королем Джемсом. Но если ты поедешь и попытка его провалится, то ведь законное право и титул будут разъединены. И кем тогда буду я?

— Ты будешь лордом Дэррисдиром, — ответил Баллантрэ. — Я ставлю ва-банк.

— А я не хочу вести такую игру! — закричал мистер Генри. — Ты меня оставишь в положении, которого не может потерпеть ни один человек, обладающий рассудком и честью. Я ведь буду ни рыба ни мясо! — восклицал он.

С минуту помолчав, он высказался еще резче и, может быть, даже откровеннее, чем хотел бы.

— Ты обязан остаться здесь с отцом, — сказал он. — Ты ведь прекрасно знаешь, что ты любимец.

— Вот как? — процедил Баллантрэ. — «И взяла слово Зависть»! Ты что же, хочешь подставить мне ножку, Иаков?[6] — и он с умыслом подчеркнул это имя.

Мистер Генри отошел и, не отвечая, несколько раз прошелся по дальнему концу залы; он умел молчать. Потом он вернулся.

— Я младший, и ехать должен я, — сказал он. — Приказывает здесь глава семьи, а он говорит, что я должен ехать. Что вы на это скажете, братец?

— А вот что. Генри, — ответил Баллантрэ. — Когда поспорят два очень упрямых человека, выходов только два: драться — а я надеюсь, ни один из нас к этому не прибегнет, — или положиться на судьбу. Вот гинея; подчинишься ты ее решению?

— Будь что будет, — сказал мистер Генри. — Корона — я еду, герб — остаюсь!

Метнули жребий, и монета легла гербом.

— Вот и урок Иакову! — воскликнул Баллантрэ.

— Мы еще раскаемся в этом, — сказал мистер Генри и с этими словами выбежал из комнаты.

А что до мисс Алисон, то она схватила золотую монету, которая только что обрекла ее жениха превратностям войны, и, швырнув ее, пробила фамильный герб в одном из стекол большого витража.

— Если бы вы любили меня, как я вас люблю, вы бы остались! — вскричала она.

— «Как смел бы я любить тебя, коль не хранил бы чести я?» — пропел Баллантрэ.

— О! — зарыдала она. — Вы бессердечны, пусть же вас там убьют! — И она в слезах выбежала и заперлась у себя в комнате.

Говорят, что Баллантрэ обернулся к милорду с самой веселой ужимкой и сказал:

— Дьявол, а не женщина!

— Это мне дан дьявол в сыновья, — закричал отец, — ты, которого, к стыду своему, я любил больше всех! Ничего доброго не видел я от тебя с самого часа твоего рождения, нет, ничего доброго! — и повторил это еще и в третий раз.

Что так взволновало милорда — то ли легкомыслие Баллантрэ, то ли его строптивость, то ли словечко мистера Генри про любимца, — не знаю, но думаю, что, пожалуй, последнее вернее всего, потому что с этого дня милорд стал ласковее к мистеру Генри.

Во всяком случае, весьма холодно было прощанье, когда явно наперекор всей семье Баллантрэ уезжал на север; и это еще больше омрачало запоздалые, как всем казалось, сожаления об этих часах.

Плетью и пряником он сколотил себе свиту в десяток верховых, все больше из фермерских сынков. Все они были изрядно навеселе, когда, нацепив по белой кокарде на шляпу, с криками и песнями поднимались вверх по холму мимо старого аббатства. Для такого маленького отряда было чистым безрассудством пробираться через всю Шотландию без всякой поддержки; тем более (как все и отметили), что о ту пору, когда эта горстка въезжала на холм, в заливе, широко распустив по ветру королевский флаг, красовалось военное судно, которое на одной шлюпке могло бы всех их доставить в корабельную тюрьму.

На следующий день, дав брату отъехать подальше, собрался в свой черед и мистер Генри. Он уехал без провожатых — предлагать свой меч и доставить письма отца правительству короля Георга. Мисс Алисон до самого их отъезда не выходила из своей комнаты и не переставая плакала; но все же она сама пришила белую кокарду на шляпу Баллантрэ, и, как рассказал мне Джон Поль, шляпа была вся мокрая от слез, когда он понес ее в комнату Баллантрэ.

Во все время последующих событий мистер Генри и мой старый господин были верны своему уговору. Я не знаю, много ли им удалось сделать, и не думаю, чтобы они особенно старались для короля. Но как бы то ни было, они придерживались буквы лояльности, переписывались с лордом-наместником, смирно сидели дома и совсем, или почти совсем, не поддерживали связи с Баллантрэ, покуда длилась вся эта история. Он тоже, со своей стороны, не давал о себе знать. Правда, мисс Алисон все время слала ему весточки, но часто ли она получала от него ответы, мне неизвестно. Одно из ее писем возил Макконнэхи. Он нашел горцев под Карлайлем,[7] и среди них Баллантрэ, разъезжавшего в свите принца с великим почетом. Баллантрэ взял письмо, распечатал его, взглянул на него мельком (как рассказывал Макконнэхи), сложив губы так, словно собирался свистнуть, и засунул его за пояс, откуда оно при очередном курбете коня вывалилось в грязь, чего он и не заметил. Макконнэхи подобрал письмо и доселе его хранит, как я сам в этом потом убедился.

Конечно, в Дэррисдир доходили слухи, вечно ползущие по всей стране неведомыми путями, что не перестает поражать меня и поныне. Этим способом семья узнала и о милостях, расточаемых принцем нашему Баллантрэ, и о способах, которыми он снискал этой милости. С неразборчивостью, весьма странной при его гордости (разве что честолюбие в нем пересилило даже гордость), он, как говорили, втирался в высший круг, подлаживаясь к ирландцам.[8] Он завел дружбу с сэром Томасом Сэлливаном, полковником Бэрком и прочими и мало-помалу совсем отошел от своих земляков. Он прикладывал руку ко всем мелким интригам И прилежно раздувал их. Он на каждом шагу перечил и лорду Джорджу; всегда давал совет, который мог быть угоден принцу, не думая о том, приведет ли это к добру, и, вообще говоря, казался (как и подобает игроку, каким он был всю жизнь) человеком, помышляющим не столько об успехе всей затеи, сколько о своем личном возвышении, если прихотью судьбы затея эта увенчается успехом. А впрочем, он очень хорошо держал себя на поле боя; этого никто не оспаривал, — он ведь не был трусом.

А затем пришла весть о Куллодене,[9] которая была принесена в Дэррисдир единственным (по его словам) уцелевшим из всех тех, кто с песнями въезжал тогда на холм. К несчастью, случилось так, что Джон Поль и Макконнэхи в то самое утро нашли под кустом остролиста гинею — ту самую, которая принесла несчастье. Они сейчас же, как говорят у нас слуги, «отпросились со двора» к меняле, и если у них мало что осталось от гинеи, то еще меньше осталось от рассудка. Надо же было Джону Полю ворваться в залу, где вся семья сидела за обеденным столом, и громогласно сообщить, что, мол, «Тэм Макморленд воротился из похода, и — горе мне, горе! — он пришел один-одинешенек».

Они выслушали эту новость молча, как приговоренные; мистер Генри только закрыл лицо ладонью, мисс Алисон опустила голову на руки, а милорд посерел, как пепел.

— У меня еще остался сын, — сказал он. — И, надо отдать тебе справедливость, Генри, сын более преданный.

Как-то странно было это слышать в такую минуту, но милорд никогда не забывал упрека мистера Генри, да и на совести его были годы несправедливого предпочтения. Но все же это было странно, и мисс Алисон не смогла этого вынести. Она вспыхнула и стала укорять милорда за его бесчувственные слова, и мистера Генри за то, что он сидел тут в безопасности, когда брат его сложил голову, и себя, что проводила любимого злым словом. Она кричала, что Джемс лучше их всех, ломала руки, признавалась в своей любви к нему и звала его.

Мистер Генри вскочил и стоял, ухватившись за стул. Теперь он тоже посерел, как пепел.

— О, я знал, что вы его любите! — вырвалось у него.

— Бог мой, да весь свет знал об этом! — закричала она и, обращаясь к нему, добавила: — Вот только никто, кроме меня, не знает, что вы в сердце своем предали его.

— Свидетель бог! — простонал он. — Мы оба любили напрасно.

Время шло, и в доме как будто бы ничего не изменилось, только было их теперь трое, а не четверо, и это постоянно напоминало им об их утрате. Не забудьте, что без денег мисс Алисон поместье не могло обойтись, и вот теперь, когда один брат был мертв, старый лорд скоро пришел к мысли о необходимости женить на ней второго.

День за днем он подготовлял ее к этому, сидя у камина, заложив пальцем свою латинскую книгу и поглядывая на мисс Алисон с благожелательной внимательностью, которая была ему очень к лицу. Если она плакала, он соболезновал ей, как очень старый человек, который много пережил на своем веку и привык даже к печали относиться легко; если она бушевала, он снова погружался в свою латинскую книгу, всегда предварив это учтивым извинением; если она предлагала, как это теперь часто случалось, принять ее деньги в подарок, он разъяснял ей, как мало это соответствовало его понятиям о чести, и напоминал, что если бы даже он и пошел на это, то мистер Генри наверняка отклонил бы такой подарок. Non vi sed saepe cadendo[10] — таково было его любимое присловье; и, без сомнения, его спокойная настойчивость поколебала ее непреклонность; нет сомнения, к тому же, что он имел на нее большое влияние, — ведь он заменил ей и отца и мать; и, наконец, она сама была проникнута духом Дьюри и болела душой о славе Дэррисдира, но не настолько, по-моему, чтобы выйти за моего бедного господина, если бы, как это ни странно, не крайняя неприязнь к нему всех окружающих.

Этим он был обязан Тэму Макморленду. Тэм был в общем безобидный малый, но с одной прискорбной слабостью: у него был длинный язык; и как единственному человеку в округе, который выезжал в свет, или, вернее, оттуда воротился, слушателей ему не приходилось искать.

Я давно заметил, что те, кто в любой борьбе потерпел поражение, всегда стараются убедить себя, что их предали. По рассказам Тэма, все военачальники только и делали, что предавали мятежников: их предали при Дарби и предали при Фолкирке; ночной марш был проявлением измены милорда Джорджа, а Куллоден был проигран из-за предательства Макдональдов. Привычка приписывать измену всем и каждому так одолела глупца, что в конце концов он и мистера Генри приплел сюда же. Мистер Генри, по его словам, предал добровольцев Дэррисдира; он будто бы обещал прийти на подмогу с новым отрядом, а вместо этого поехал на поклон к королю Джорджу.

— Да, и это на другой же день! — кричал Тэм. — Бедный наш храбрый Баллантрэ! И бедные славные ребята, которые не оставили его одного! Едва они перевалили через гребень холма, тот уже собрался в путь, Иуда! Ну, оно конечно, ему-то это на пользу: он будет моим лордом; а нашим мертвым — им тлеть там, в горных вересках! — И при этом, если Тэм бывал уже достаточно пьян, он принимался всхлипывать.

Только начни повторять без конца одно и то же — люди чему угодно поверят. Мало-помалу такое истолкование поступков мистера Генри укоренялось в нашей округе; об этом говорили те, кто знал правду, но кому говорить было не о чем; это слушали и повторяли как достоверное люди неосведомленные и недоброжелательные. Мистера Генри начинали сторониться; еще немного — и деревенские стали перешептываться, когда он проходил мимо, а женщины (они всегда смелее, потому что им нечего бояться) кричали ему в лицо свои упреки. Баллантрэ возвеличивали, как святого. Припомнили, что он никогда не притеснял арендаторов, чего он действительно не делал, — только прибирал к рукам и тратил собранные деньги. Правда, иной раз он бывал буен, но насколько же лучше откровенно буйный барич,

который скоро угомонится, чем скряга и выжига, который сидит, уткнув нос в приходные книги, и выколачивает последний грош из бедного фермера.

Одна потаскушка, у которой от Баллантрэ был ребенок и с которой он, как все знали, обошелся очень дурно, стала ни с того ни с сего ярой ревнительницей его памяти. Однажды она швырнула в мистера Генри камнем.

— А где добрый молодец, что доверился тебе? — крикнула она.

Мистер Генри придержал коня и всмотрелся в нее. С губы у него стекала кровь.

— Это ты, Джесс? — сказал он. — И ты тоже? А ты бы должна была знать меня лучше.

Ведь он все время помогал ей деньгами.

Женщина схватила еще один камень и замахнулась им, а мистер Генри, чтобы заслониться, поднял руку, державшую хлыст.

— Как! Ты хочешь ударить женщину? Ах ты пащенок! — закричала она и убежала, причитая, словно он в самом деле ее ударил.

На другой же день по всей округе, словно пожар, разнесся слух, что мистер Генри избил Джесс Браун, да так, что она едва не умерла. Я привожу это в пример того, как нарастал снежный ком и как одна клевета порождала другую, и мой бедный господин был наконец настолько опорочен, что стал домоседом не хуже милорда. Дома он ни разу, в этом вы можете быть уверены, не промолвил ни слова жалобы; самый повод для клеветы был слишком больным вопросом, чтобы его затрагивать, а мистер Генри был очень самолюбив и упорен в своем молчании. Старый лорд, должно быть, слышал об этом кое-что от Джона Поля, а то еще от когонибудь; во всяком случае, он должен был заметить изменившееся поведение сына. Но даже и он, вероятно, не представлял, насколько далеко зашло дело. А что до мисс Алисон, то она всегда последней узнавала новости, да и тогда они ее интересовали меньше всех.

В самый разгар этого брожения (которое, по необъяснимым причинам, утихло так же быстро, как и возникло) в ближайшем к Дэррисдиру городке Сент-Брайде, что на Свифте, происходили выборы; ожидались волнения, — какого рода, я позабыл, если когданибудь об этом и слышал. Поговаривали, что еще до наступления ночи не обойдется без проломленных черепов и что шериф послал за солдатами чуть ли не в Дэмфрис. Милорд считал, что мистер Генри должен непременно присутствовать, и доказывал, что ему надо появиться ради репутации семьи.

— Не то пойдут разговоры, — сказал он, — что мы не верховодим у себя же в округе.

— Ну, не мне верховодить в нашей округе, — сказал мистер Генри, а когда милорд продолжал настаивать, добавил: — Уж если говорить чистую правду, я боюсь показаться при народе.

— Вы первый из Дэррисдиров говорите такие слова! — крикнула мисс Алисон.

— Мы поедем все трое, — сказал милорд и действительно влез в свои сапоги (впервые за четыре года; и покряхтел же Джон Поль, натягивая их на милорда!).

Мисс Алисон облачилась в амазонку, и все втроем они поехали в Сент-Брайд.

Улицы были полны всякого сброда со всей округи, и едва мистера Генри приметили, как начался свист, и улюлюканье, и крики: «Иуда!», «А где брат твой Джемс?», «Где его молодцы, которых ты продал?». В него даже кинули камень; но большинство не поддержало этого из уважения к старому лорду и мисс Алисон. Десять минут было достаточно, чтобы милорд убедился, что мистер Генри был прав. Он не сказал ни слова, но повернул коня и поехал домой, понуря голову.

Ни слова не сказала и мисс Алисон, но тем больше мыслей промелькнуло, должно быть, в ее голове; и, должно быть, гордость ее была уязвлена, потому что она была Дьюри до мозга костей; и, должно быть, сердце ее смягчилось при виде того унижения, которому безвинно подвергся ее родич. В эту ночь она не сомкнула глаз. Я часто порицал миледи, но когда я

представляю эту ночь, я готов простить ей все. Наутро она первым долгом спустилась вниз и подошла к старому лорду.

— Если Генри по-прежнему домогается меня, — сказала она, — он может получить меня.

А ему самому она сказала по-другому:

— Я не приношу вам любви, Генри, но, видит бог, всю жалость, на которую я способна!

Первого июня 1748 года их обвенчали. А в декабре этого же года я слез с лошади у дверей большого дома Дэррисдиром, и с тех дней я поведу рассказ о событиях, которые развернулись у меня на глазах, с точностью свидетеля, дающего показания в суде.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОБЗОР СОБЫТИЙ
(продолжение)

За этот сухой морозный декабрьский день я проделал последнюю часть своего пути, и надо же было, чтобы проводником моим оказался Пэти Макморленд, брат Тэма! Ни от кого еще в жизни не слыхивал я столько грязных сплетен, как от этого белобрысого, кудлатого, босоногого оборвыша лет десяти. Он их, должно быть, вволю набрался от своего братца. Я и сам был тогда не так уж стар, гордость еще не взяла верх над любопытством, да и кого угодно в то холодное утро захватил бы рассказ о старых распрях, услышанных в тех самых местах, где происходили все эти события.

Проходя по трясине, мальчик без умолку болтал о Клэвергаузе,[11] а когда мы перевалили через гребень, пришел черед рассказам о черте. Когда мы проходили мимо аббатства, я узнал старые истории о монахах и о контрабандистах, которые приспособили развалины монастыря под свои склады и высаживаются на берег всего на расстоянии пушечного выстрела от Дэррисдира. Но всю дорогу каждый из Дьюри и особенно бедный мистер Генри подвергались особому поношению. Эти рассказы так меня настроили против моих будущих хозяев, что я был даже как будто удивлен, когда передо мной открылся Дэррисдир, укрывшийся на берегу живописной бухты у подножия Монастырского Холма. Дом был удобный, построенный во французском, а может быть, и в итальянском стиле — я плохо разбираюсь в этих вещах, — и вся усадьба богато разукрашена цветниками, газонами, подстриженным кустарником, купами деревьев. Те деньги, которые тут без толку тратились, могли бы полностью восстановить благосостояние семьи; но на поддержание поместья в том виде, в каком оно было, не хватило бы никакого дохода.

Сам мистер Генри вышел встретить меня у дверей. Это был высокий черноволосый молодой джентльмен (все Дьюри — брюнеты), лицо у него было открытое, но невеселое, он был очень крепкого телосложения, но, кажется, далеко не крепкого здоровья. Без всякой чопорности он взял меня под руку и сразу расположил к себе простым и приветливым разговором. Не дав мне сменить дорожное платье, он сейчас же повел меня знакомиться с милордом. Было еще светло, и первое, что я заметил, это ромб простого стекла посредине гербового оконного витража, что, как вспоминаю теперь, показалось мне тогда упущением в такой великолепной комнате, украшенной фамильными портретами, подвесками на лепных потолках и резным камином, возле которого сидел старый лорд, погруженный в своего Тита Ливия.[12]

Открытым выражением лица он очень напоминал мистера Генри, но казался человеком более тонким и приятным, да и разговор его был в тысячу раз занимательней. У милорда нашлось ко мне много вопросов об Эдинбургском университете, где я только что получил свою степень магистра искусств, и о профессорах, имена и таланты которых были ему, казалось, хорошо известны. Так, беседуя о вещах, мне хорошо знакомых, я скоро освоился на новом месте и говорил легко и свободно.

В разгар беседы в комнату вошла миссис Генри; она была в тяжести — до рождения мисс Кэтрин оставалось всего недель шесть, — и это, конечно, при первой встрече помешало мне достойно оценить ее красоту. Она обошлась со мной гораздо надменнее, чем остальные, так что по всем этим причинам она заняла лишь третье место в моей привязанности к их семье.

Немного потребовалось времени, чтобы я окончательно разуверился во всех россказнях Пэти Макморленда; и я навсегда стал и посейчас остаюсь верным слугой дома Дэррисдиров. Наибольшую привязанность питал я к мистеру Генри. С ним я работал и в нем нашел требовательного хозяина, приберегавшего всю свою мягкость для часов, не занятых работой, а в рабочее время не только нагружавшего меня заботами о поместье, но и не спускавшего с меня недреманного ока. Так было до того дня, когда он, с какой-то застенчивостью подняв глаза от бумаг, сказал мне:

— Мистер Маккеллар, мне приятно отметить, что с работой вы справляетесь отлично.

Это было первое слово одобрения, и с этого дня ослабел его постоянный надзор за мною; а вскоре от всех членов семьи только и слышно стало: «Мистер Маккеллар» то, и «мистер Маккеллар» другое, — и теперь я уже все делал по своему усмотрению, и все расходы мои принимались беспрекословно до последнего фартинга. Еще когда мистер Генри меня школил, я уже стал привязываться к нему — отчасти из чувства жалости к этому явно и глубоко несчастливому человеку. Нередко, сидя за счетными книгами, он впадал в глубокое раздумье, уставясь в пустую страницу или глядя мимо меня в окно. В эти минуты выражение его лица или невольный вздох вызывали во мне сильнейшее чувство любопытства и сочувствия. Помню, однажды мы поздно засиделись за каким-то делом в конторе. Помещалась она в верхнем этаже замка, из окон открывался вид на залив, на небольшой лесистый мыс и длинную полосу песчаных отмелей. И там, на фоне закатного солнца, чернели и копошились фигуры контрабандистов, грузивших товар на лошадей. Мистер Генри глядел прямо на запад, так что я даже поразился, как его не ослепляет солнце, и вдруг он хмурится, проводит рукой по лбу и с улыбкой повертывается ко мне.

— Вам никак не догадаться, о чем я сейчас думал, — говорит он. — Я думал, что был бы много счастливее, если бы мог делить опасность и риск с этими нарушителями закона.

Я ответил ему, что давно замечаю, как он подавлен, и что всем нам присуще завидовать ближним и думать, что все улучшится от какой-то перемены. (При этом я, как и подобало питомцу университета, процитировал Горация.[13])

— Да, да. Именно так, — сказал он. — А впрочем, вернемся к нашим отчетам.

Прошло немного времени, и мне стало понятно, что так угнетает его. В самом деле, даже слепец скоро почувствовал бы, что над домом нависла тень, тень владетеля Баллантрэ. Живой или мертвый (а мы считали его тогда мертвым), этот человек продолжал быть соперником брата: соперником вне дома — там не находилось доброго слова для мистера Генри, а Баллантрэ жалели и превозносили, соперником и в своем доме, не только в сердцах отца и жены, но даже и во мнении слуг.

Во главе челяди было двое старых слуг. Джон Поль — низенький, лысый, торжественный и желчный старик, большой святоша и (в этом надо отдать ему справедливость) по-своему преданный слуга — был главарем сторонников Баллантрэ. Никто не осмеливался заходить так далеко. Он находил особое удовольствие в том, чтобы публично оскорблять мистера Генри, чаще всего невыгодным для него сравнением. Конечно, милорд и миссис Генри останавливали Джона, но недостаточно твердо. Стоило ему скорчить плаксивую мину и начать свои причитания о «бедном барчуке», как он называл Баллантрэ, — и все ему прощалось. Генри сносил все это в молчании, с печальным, а иногда и с угрюмым выражением лица. Не

приходилось соперничать с мертвым — он знал это, и как было осуждать старого слугу за его слепую преданность. У него язык не повернулся бы сделать это.

Макконнэхи, возглавлявший другую часть слуг, был старый забулдыга, ругатель и пьяница. Я часто думал, как странно получается, что каждый из этих слуг представляет полную противоположность своему обожаемому господину и, превознося его, тем самым признает собственные пороки и готов отречься от собственных добродетелей. Макконнэхи скоро пронюхал о моей тайной привязанности и сделал меня своим доверенным. Бывало, он, отрывая меня от работы, часами поносил Баллантрэ.

— Да они здесь все сплошь олухи и остолопы, — кричал он, — черт бы их всех, побрал! Подумаешь, владетель, — да с какой это стати, дьявол им в глотку, вздумали они так его величать! Это мистера Генри надо теперь называть владетелем и считать законным наследником. Небось, они вовсе не так цацкались со своим Баллантрэ, когда он у них сидел на шее. Уж я-то это знаю. А, будь он неладен! Ни словечка доброго не слышал я от него, да и кто слышал? Одна брань, и насмешки, и божба — подавись он ею на том свете! Я-то знал, каков он, этот джентльмен! Вы когда-нибудь слышали, мистер Маккеллар, о Вулли Уайте, ткаче? Нет? Ну так этот Вулли был страшный ханжа и этакий сухарь, совсем не по мне. Мне и глядеть-то на него было противно. Но только по своей части он был рьяный человек, и случалось ему обличать Баллантрэ за его безобразия. Ну, пристало ли владетелю Баллантрэ воевать с ткачом, а? — Макконнэхи сморщил нос. Он никогда не мог произнести ненавистного имени без гримасы отвращения. — А он как раз это и затеял. Да еще что выделывал! Стучал ночью в дверь Вулли, кричал «Бу-у!», сыпал в печную трубу порох, взрывавшийся в очаге, и пускал шутихи ему в окна. Словом, довел до того, что старик вообразил, что это сам Вельзевул пришел по его душу. Ну, короче говоря, кончилось дело тем, что Вулли совсем спятил. Его не могли поднять с колен, он все время вопил, и молился, и плакал, пока господь не успокоил его. Это было прямое убийство, все так и говорили. Спросите Джона Поля, Он сам крепко стыдился всей этой истории, ведь он такой истинно верующий христианин. Что и говорить, самое подходящее было дело для владетеля Баллантрэ!

Я спросил его, что думал обо всем этом сам Баллантрэ.

— А почем я знаю? — ответил Макконнэхи. — Он никогда об этом не говорил. — Последовали обычная его ругань и божба, и через каждые два-три слова он с ухмылкой гнусил: «Владетель Баллантрэ!»

Однажды во время таких излияний он показал мне то письмо из-под Карлайля, хранившее и посейчас отпечаток конского копыта. Впрочем, это была последняя из наших бесед, потому что он в этот раз так грубо отозвался о миссис Генри, что мне пришлось резко одернуть его и с тех пор держать на почтительном расстоянии.

Старый лорд был неизменно ласков с мистером Генри, изъявлял ему благодарность и, случалось, кладя ему руку на плечо, говорил, как будто обращался ко всем: «Вот какой у меня хороший сын!» И он был действительно благодарен мистеру Генри, как человек справедливый и рассудительный. Но мне кажется, что этим все и ограничивалось, и я уверен, что мистер Генри был того же мнения. Любовь вся ушла на умершего сына. Не то чтобы милорд при мне часто высказывался об этом. Только однажды он спросил, какие у меня отношения с мистером Генри, и я выложил ему всю правду.

— Да, — сказал он, глядя в сторону, на огонь в камине, — Генри — добрый малый, очень, очень добрый малый. Вы слышали, мистер Маккеллар, что у меня был еще один сын? Не скажу, чтобы он был таким примерным, как мистер Генри, но, увы, он умер, мистер Маккеллар! Когда он был жив, мы все гордились им, очень гордились. Если он и не во всем оправдывал наши ожидания, ну что ж, мы за это любили его еще больше.

Последние слова он произнес задумчиво, глядя в огонь, а затем добавил с внезапной живостью:

— Но меня радует, что вы поладили с мистером Генри. Он вам будет хорошим господином.

И вслед за этим он раскрыл книгу, что обычно означало, что разговор окончен. Но едва ли он читал внимательно и едва ли понимал хоть немного из прочитанного; поле Куллоденского боя и старший сын — вот что владело его мыслями, а мною уже тогда, из сочувствия к мистеру Генри, овладевало ощущение какой-то неестественной ревности к мертвому.

Скажу напоследок и о миссис Генри, и если мое суждение о ней покажется чрезмерно строгим, пусть читатель решает сам, когда я закончу свой рассказ.

Но прежде я должен упомянуть о случае, который еще больше ввел меня в семейные дела Дэррисдиров. Не истекло и полугода моего пребывания в замке, как случилось, что Джон Поль заболел и слег. По моему крайнему разумению, причиной было пьянство, но с ним нянчились, и сам он держал себя как великомученик. Даже пастор, навестивший его, ушел как бы сподобившись благодати. На третий день его болезни мистер Генри пришел ко мне с виноватым видом.

— Маккеллар, — сказал он, — я хотел бы попросить вас об одной маленькой услуге. Мы, знаете, выплачиваем пенсию… доставлять ее лежало на обязанности Джона, а теперь, когда он болен, мне некого попросить об этом, кроме вас. Дело это деликатное, по веским причинам я не могу вручить ее сам. Макконнэхи я не решаюсь послать из-за его языка, а я… а мне… Я не хотел бы, чтобы это дошло до миссис Генри, — сказал он и покраснел до корней волос.

По правде говоря, когда я узнал, что должен отвезти деньги некоей Джесси Браун, которая вполне заслуживала свою репутацию, я подумал, что это мистер Генри откупается от собственной интрижки. И тем более я был поражен, когда обнаружилась правда.

Жила Джесси в тупике, отходившем от глухого проулка в Сент-Брайде. Соседство было очень подозрительное — все больше контрабандисты. У входа в проулок мне встретился человек с прошибленной головой; дальше пьяная орава горланила и распевала в харчевне, хотя было всего девять часов утра. Словом, ничего хуже этой трущобы я не видел даже в таком большом городе, как Эдинбург, и я уже подумывал, не поворотить ли мне обратно. Обиталище Джесси было под стать улице, а сама она и того хуже. Расписку (которую с обычной своей пунктуальностью мистер Генри велел мне с нее взять) я получил не раньше, чем она послала кого-то за спиртным и я выпил с ней по стакану. Все время она держала себя взбалмошно, легкомысленно — то подражала манерам леди, то впадала в разгульное веселье, то кокетливо заигрывала со мной, что мне было особенно противно. О деньгах она говорила в трагическом тоне.

— Проклятые деньги! — восклицала она. — Цена крови — вот что это такое! Видите, до чего я дошла! Ах, если бы вернулся мой милый, все бы изменилось! Но он мертв — лежит мертвый в горах, — мой милый, мой милый!

У нее была исступленная манера оплакивать своего милого, с заламыванием рук и закатыванием глаз, чему она, должно быть, научилась у бродячих актеров, и горе ее показалось мне напускным. Она словно щеголяла своим позором. Не скажу, чтобы я не жалел ее, но в лучшем случае это была жалость пополам с отвращением, а напоследок сама Джесси рассеяла и последние ее остатки. Натешившись моим обществом и нацарапав свое имя под распиской, она сказала: «Ну, вот!» — и, отбросив всякий женский стыд, с чудовищной руганью стала гнать меня, чтобы я поскорее отнес расписку Иуде, пославшему меня к ней… Так впервые я услышал это имя в применении к мистеру Генри. Меня поразила эта внезапная перемена в словах и обращении, и я удалился из ее комнаты, как побитая собака, напутствуемый градом ужаснейших проклятий. Но и этого было мало: ведьма распахнула окно и, высунувшись, продолжала поносить меня на всю улицу; контрабандисты, выглянувшие из дверей харчевни, подхватили ее ругань, и один из них был настолько бесчеловечен, что науськал на меня презлую собачонку, которая прокусила мне лодыжку. Нуждайся я в уроке, ничто не могло бы

лучше предостеречь меня от дурного общества. Домой я приехал, сильно страдая от укуса и возмущенный до глубины души.

Мистер Генри был в конторе под предлогом работы, но я понял, что ему не терпится поскорее услышать, как прошла моя поездка.

— Ну? — спросил он, как только я вошел, а когда я сообщил ему вкратце о происшедшем и о том, что Джесси, по-видимому, недостойная и неблагодарная женщина, он сказал: — Она не друг мне, Маккеллар. Но много ли у меня друзей? К тому же у Джесси есть причины быть несправедливой. Что толку мне скрывать то, что знает вся округа: с нею очень плохо обошелся один из членов нашей семьи. — Так он в первый раз при мне, хотя и отдаленно, упомянул о Баллантрэ, и мне кажется, что он с трудом выговорил даже это, потому что сейчас же продолжал: — Вот почему я не хотел бы разглашать этого дела. Оно огорчило бы миссис Генри… и моего отца, — добавил он, снова весь вспыхнув.

— Мистер Генри, — сказал я, — простите мне мою смелость, но, по-моему, женщину эту надо предоставить ее судьбе. Ваши деньги не могут помочь такой, как она. Ей неизвестно ни воздержание, ни бережливость, а что до признательности, так скорее жди от козла молока, и если вы перестанете оказывать ей помощь, это ничего не изменит, разве только спасет от укусов ноги ваших посланцев.

Мистер Генри улыбнулся.

— Я очень огорчен, что пострадала ваша нога, — тут же добавил он уже серьезно.

— И примите во внимание, — продолжал я, — что этот совет я даю вам по зрелом размышлении, а сначала меня все же растрогало несчастье этой женщины.

— Вот в том-то и дело! — сказал мистер Генри. — И не забывайте, что я еще помню ее как порядочную девушку. А кроме того, пусть я и мало говорю о чести моей семьи, это не значит, что я не дорожу ее репутацией.

И на этом он прервал разговор, в котором впервые так доверился мне. Но в тот же день я убедился, что его отец был посвящен в эту историю и что только от своей жены мистер Генри держал ее в секрете.

— Боюсь, что сегодняшнее поручение было вам не особенно приятно, — сказал милорд. — Оно ни в коем случае не входит в круг ваших обязанностей. Именно поэтому мне хочется особо поблагодарить вас и при этом напомнить (если этого не сделал уже мистер Генри), насколько желательно, чтобы ни слова об этом не дошло до моей дочери. Чернить умерших вдвойне тягостно, мистер Маккеллар!

Сердце у меня распалилось гневом, и я едва удержался, чтобы не сказать милорду в лицо, какое вредное дело он делает, возвеличивая образ мертвого в сердце миссис Генри, и насколько лучше было бы ниспровергнуть ложный кумир. К этому времени я уже отлично разглядел, что отчуждало миссис Генри от ее мужа.

Мое перо достаточно умело, чтобы рассказать простую историю, но выразить на бумаге воздействие множества мелочей, по отдельности незначительных, передать повесть взглядов и откровение голосов, произносящих не бог весть какие слова, вложить в полстраницы суть событий почти восемнадцати месяцев — это едва ли посильная для меня задача.

Говоря начистоту, виновата во всем была миссис Генри. Она ставила себе в заслугу, что согласилась выйти за мистера Генри, и считала это мученическим подвигом, в чем старый лорд, вольно или невольно, поощрял ее. Она так же ставила себе в заслугу верность покойному, и хотя непредубежденный человек назвал бы это скорее неверностью живому, милорд и в этом оказывал ей поддержку. Вероятно, ему доставляло утешение поговорить о своей потере, а с мистером Генри говорить об этом он не решался. И вот со временем в этой семье из трех человек произошел раскол и отверженным оказался супруг.



В их семействе вошло в обыкновение, что, когда милорд после обеда садился к камину со стаканом вина, мисс Алисон не уходила, но, подставив к огню скамеечку, болтала со стариком о всякой всячине. Став женой мистера Генри, она не отказалась от этой привычки. Всякого бы порадовало зрелище того, как дружил старый лорд со своей дочерью, но я слишком уважал мистера Генри, чтобы не печалиться его унижению. Много раз я видел, как он, переломив себя, вставал из-за стола и подсаживался к жене и старому лорду; они же, со своей стороны, так подчеркнуто приветствовали его, обращались к нему, как к чужому, с такой натянутой вежливостью и принимали его в свой разговор с такой явной неохотой, что он скоро возвращался ко мне за стол, куда — так обширна зала Дэррисдира — до нас доносилось только неясное бормотанье голосов у камина. Тут он и сидел вместе со мной, прислушиваясь и приглядываясь, и часто по скорбному кивку старого лорда и по тому, как он клал руку на голову миссис Генри или как она поглаживала рукой его колени, словно утешая его, или по тому, как

глаза их, встречаясь, наполнялись слезами, мы могли заключить, что разговор перешел все к той же теме и что тень покойного была в комнате с нами.

Я и сейчас иной раз порицаю мистера Генри за то, что он переносил все так терпеливо, но не надо забывать, что жена вышла за него из жалости и что он пошел на это. Да и как ему было проявлять решительность, когда он ни в ком не встречал поддержки. Помню, как однажды он объявил, что нашел стекольщика, чтобы сменить злополучное стекло витража. Он вел все дела по дому, и это входило в его компетенцию. Однако для почитателей Баллантрэ это стекло было своего рода реликвией, и при одном упоминании о замене кровь бросилась в лицо миссис Генри.

— Как вам не стыдно! — закричала она.

— Да, мне действительно стыдно за себя, — сказал мистер Генри с такой горечью, какой я еще никогда не слыхал в его голосе.

Тут в разговор вмешался старый лорд и отвлек внимание своими мягкими речами. Еще не кончился обед, а все уже, казалось, было забыто, но после обеда, когда они, как водится, уединились у камина, мы видели, как она рыдала, уткнувшись головой в его колени. Мистер Генри завел со мной разговор о каких-то делах по имению — он был неразговорчив и редко говорил о чем-нибудь, кроме хозяйства; но в этот день, то и дело поглядывая в сторону камина, он говорил не переставая, хотя голос его то и дело срывался со спокойного тона. Во всяком случае, стекло не было заменено, и мне кажется, что он считал это большим своим поражением.

Как бы ни судить о его характере, видит бог, добр он к ней был несомненно. В обращении с ним у нее была какая-то снисходительная манера, которая (будь она у моей жены) довела бы меня до бешенства, но он принимал это как милость. Она держала его в отдалении от себя, как ребенка в детской, то забывая о нем, то вспоминая и даря своей приветливостью; она угнетала его своим холодным вниманием, укоряла его, меняясь в лице и закусив губы, как бы стыдясь его позора, повелевала ему взглядом, когда давала себе волю, а когда надевала маску, то молила его о самых обычных вещах, как будто это были невесть какие одолжения. И на все это он отвечал неутомимой заботой, обожая, как говорится, самую землю, по которой она ступала, и неся эту любовь в самых глазах своих, как неугасимый светильник.

Когда ожидали появления на свет мисс Кэтрин, ничто не могло заставить его уйти из комнаты жены, и он так и пробыл там до конца. Он сидел (как мне рассказывали) у изголовья кровати, белый как полотно, и пот стекал у него по лбу, а платок в его руках был смят в комочек не больше мушкетной пули. Недаром он долго после этого не мог выносить самого вида мисс Кэтрин; сомневаюсь, чтобы он вообще питал к ней должное чувство, за что и подвергался всеобщему осуждению.

Гак обстояли дела в этой семье до седьмого апреля 1749 года, когда случилось первое в ряду тех событий, которые должны были разбить столько сердец и унести столько жизней.

В этот день, незадолго до ужина, я сидел у себя в комнате, когда ко мне, даже не постучавшись, ворвался Джон Поль и заявил, что внизу кто-то желает говорить с управляющим; при этом слове он ухмыльнулся.

Я спросил, что это за человек и как его зовут, и тут обнаружилась причина неудовольствия Джона: оказалось, что посетитель пожелал назвать себя только мне, что было оскорбительным нарушением прерогатив мажордома.

— Хорошо, — сказал я с легкой улыбкой. — Посмотрим, что ему надо.

Внизу я нашел крупного, просто одетого мужчину, закутанного в морской плащ, обличавший его недавнее прибытие на корабле; а неподалеку от него стоял Макконнэхи, разинув рот от изумления и взявшись рукой за подбородок, как тупица перед трудной задачей. Незнакомец закрывал лицо воротником и казался озабоченным. Завидев меня, он бросился ко мне навстречу и засыпал словами.

— Мой почтеннейший, — сказал он. — Тысячу извинений, что я тревожу вас, но я здесь в крайне щекотливом положении. А тут еще этот дубина, которого я гдето встречал и, что гораздо хуже, который как будто тоже меня приметил. Раз вы живете в этом доме, сэр, и занимаете в нем такую должность (это и послужило причиной моего обращения к вам), вы, конечно, сторонник правого дела?

— Во всяком случае, — сказал я, — вы можете быть уверены, что в Дэррисдире вы в полной безопасности.

— В чем я и не сомневался, почтеннейший, — сказал он. — Понимаете, меня только что высадил на берег один честнейший человек… совсем позабыл, как его зовут. Так вот, он будет ждать меня до рассвета, с немалым риском для себя, да, от вас скрывать нечего, и для меня тоже. Мне столько раз удавалось уносить ноги, мистер… э… — представьте, совсем позабыл ваше звучное имя, — что, право же, очень досадно было бы попасться на этот раз. А этот ротозей, которого, помнится, я встречал под Карлайлем…

— Ну, сэр, — сказал я, — до завтра Макконнэхи вам не опасен.

— Вы очень любезны, мистер, мистер — как бишь? — незнакомец. Имя мое, видите ли, не очень популярно у вас в Шотландии. Конечно, от такого джентльмена, как вы, мой почтеннейший, я не буду скрывать свое имя и, с вашего разрешения, шепну его вам на ухо. Зовут меня Фрэнсис Бэрк, полковник Фрэнсис Бэрк. Рискуя своей головой, прибыл я сюда, чтобы повидать ваших господ. Поверьте, почтеннейший, что по вашей наружности я никогда бы не определил вашего положения в доме. Так вот, если будет на то ваша милость, сообщите им мое имя и скажите, что я привез письма, которые, я уверен, их очень порадуют.

Полковник Бэрк был сторонником принца из числа тех ирландцев его свиты, которые так вредили его делу и так ненавистны были шотландцам в дни восстания. Мне припомнилось, как изумил всех Баллантрэ, присоединившись к этой шайке. И тут же у меня мелькнула догадка о действительном положении вещей.

— Войдите сюда, — сказал я, отворяя дверь, — я доложу о вас милорду.

— Вы очень любезны, мистер, мистер… как бишь вас! — сказал полковник.

Медленно поднялся я наверх, в залу, где были вес трое — милорд в своем кресле, миссис Генри за вышиваньем у окна, а мистер Генри расхаживал в дальнем конце залы (как это вошло у него в привычку); посредине был стол, накрытый для ужина. Я вкратце сообщил им то, что мне было поручено. Милорд откинулся на спинку кресла. Миссис Генри вскочила с места да так и застыла. Они с мужем переглянулись через всю комнату, и что это был у нее за странный, вызывающий взгляд, и как они оба при этом побледнели! Потом мистер Генри обернулся ко мне, ничего не сказал, а только сделал знак рукою. Но этого было достаточно, и я спустился вниз к полковнику.

Когда мы с ним поднялись, я увидел, что те трое не сдвинулись с места. Я уверен, что они не обменялись ни словом.

— Милорд Дэррисдир, не так ли? — сказал полковник с поклоном, и милорд поклонился ему в ответ.

— А это, по всей вероятности, наследник титула, владетель Баллантрэ? — продолжал полковник.

— Я никогда не принимал этого имени, — сказал мистер Генри. — Генри Дьюри к вашим услугам.

Потом полковник обратился к миссис Генри, приложив шляпу к сердцу и кланяясь с изысканнейшей вежливостью:

— Не может быть сомнения, что в вашем лице я приветствую обворожительную мисс Алисой, о которой я столько наслышан.

Супруги снова обменялись взглядом.

— Я миссис Генри Дьюри, — сказала она, — но до замужества меня звали Алисой Грэм.

Тогда заговорил милорд.

— Я старый человек, полковник, — сказал он, — и притом слаб здоровьем. Не томите нас. Вы к нам с вестями о… — Он запнулся, но потом произнес сорвавшимся голосом: — О моем сыне?

— Мой дорогой сэр, я отвечу вам прямо, как подобает солдату, — сказал полковник. — Да, о нем.

Милорд протянул дрожащую руку; он как бы давал знак, но поторопиться или обождать — этого мы понять не могли. Наконец он едва выговорил:

— И с добрыми?

— С наилучшими, какие только могут быть! — вскричал полковник. — Потому что мой добрый друг и превосходный товарищ в настоящее время обретается в прекрасном городе Париже и, насколько я могу судить о его привычках, едет сейчас в своем портшезе[14] на какой-нибудь званый обед… Клянусь богом, леди дурно!

Миссис Генри в самом деле смертельно побледнела и опустилась на подоконник. Но когда мистер Генри сделал движение, чтобы поспешить к ней на помощь, она выпрямилась, вся задрожав.

— Ничего! — сказала она побелевшими губами.

Мистер Генри остановился, и лицо его передернулось гримасой гнева. Мгновение спустя он обернулся к полковнику:

— Не вините себя за то, что ваши новости так поразили миссис Дьюри. Это вполне естественно: все трое мы росли, как родные.

Миссис Генри посмотрела на мужа с некоторым облегчением и даже как бы с признательностью. Насколько я могу судить, это был его первый шаг к завоеванию ее благосклонности.

— Ради бога, простите меня, миссис Дьюри, я ведь не более как неотесаный ирландец, — оказал полковник, — и заслуживаю расстрела за то, что не сумел как следует преподнести свои новости. Но вот собственноручные письма Баллантрэ — по письму каждому из вас, и, уж конечно (если я хоть что-либо смыслю в его талантах), он сумел должным образом рассказать свою историю.

Говоря так, он вынул три письма и в соответствии с адресом подал первое из них милорду, который жадно схватил его. Затем он направился к миссис Генри.

Но леди отстранила его.

— Моему мужу, — сказала она сдавленным голосом.

Полковник был человек находчивый, но это и его ошеломило.

— Да, конечно! — сказал он. — Как же это я? Конечно! — но он все еще держал перед ней письмо.

Тогда мистер Генри протянул руку, и ничего не оставалось, кроме как отдать письмо ему. Мистер Генри взял письма (и свое и женино) и посмотрел на них, хмуря брови и что-то обдумывая. Он все время изумлял меня своим поведением, но тут он превзошел себя.

— Позвольте мне проводить вас в ваши покои, — сказал он жене. — Все это так неожиданно, и вам лучше бы прочесть письмо наедине, когда вы немного придете в себя.

Опять она взглянула на него с каким-то оттенком изумления, но он не дал ей опомниться и, подойдя к ней, сказал:

— Так будет лучше, поверьте мне, а полковник Бэрк слишком воспитанный человек, чтобы не извинить вас за это. — И с этими словами он взял ее за кончики пальцев и повел прочь из залы.

В этот вечер миссис Генри больше не выходила, и когда мистер Генри поднялся к ней, то, как я слышал много позже, она вернула ему письмо так и нераспечатанным.

— Прочтите его, и покончим с этим! — вскричал он.

— Избавьте меня от этого, — сказала она.

И с этими словами они оба, на мой взгляд, в значительной степени испортили то хорошее, чего только что добились. А письмо попало в мои руки и было сожжено нераспечатанным.

Чтобы точнее изложить похождения владетеля Баллантрэ после Куллодена, я недавно написал полковнику Бэрку, ныне кавалеру ордена святого Людовика, с просьбой прислать мне письменное их изложение, потому что по прошествии такого большого промежутка времени я не мог полагаться только на свою память. По правде сказать, я был несколько озадачен его ответом, потому что он прислал мне подробные воспоминания о собственной жизни, только местами имевшие отношение к Баллантрэ. Они были много пространнее, чем вся моя рукопись, и не всегда (как мне кажется) назидательны. В письме, помеченном Эттенгеймом,[15] он просил, чтобы, воспользовавшись его рукописью для своих целей, я нашел для нее издателя. Мне кажется, что я лучше всего выполню свою задачу и одновременно его просьбу, если приведу здесь полностью некоторые части его воспоминаний. Таким образом, читатель получит полный и, как мне кажется, достоверный отчет о весьма важных событиях, а если кого-нибудь из издателей заинтересует повествование кавалера, он знает, куда обратиться за остальной и весьма объемистой частью, которую я охотно предоставлю в его распоряжение. А теперь вместо изложения того, что рассказал нам кавалер за стаканом вина в обеденной зале Дэррисдира, я приведу первый отрывок из его рукописи. Не следует только забывать, что он поведал нам не эти голые факты, а весьма изукрашенную их версию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СКИТАНИЯ БАЛЛАНТРЭ

(Из мемуаров кавалера Бэрка)

Надо ли говорить, что я покинул Рэзвен с гораздо большим удовольствием, чем прибыл в него; но то ли сам я потерял дорогу среди пустошей, то ли спутники мои отбились, только вскоре я оказался совсем один. Это не сулило мне ничего хорошего: я никогда не мог освоиться с этой ужасной страной и ее полудикими обитателями, которые теперь, после бегства принца, особенно недружелюбно относились к нам, ирландцам. Я раздумывал над своей горестной судьбой, когда увидел на холме одинокого всадника и принял его сначала за призрак того, чью смерть под Куллоденом вся армия считала вполне достоверной. Это был владетель Баллантрэ, сын лорда Деррисдира, молодой человек редких способностей и отваги, равно достойный украшать собою двор и срывать лавры на полях сражений. Встреча наша была весьма радушна, потому что он был одним из немногих шотландцев, которые хорошо относились к ирландским сторонникам принца, и сейчас, в дни поражения и бегства, мог быть мне крайне полезен. Но окончательно скрепило нашу дружбу одно обстоятельство, само по себе не менее романтичное, чем легенда о короле Артуре.

Это было на второй день нашего бегства, после того как мы провели ночь под дождем в каком-то овраге. Тут случился один человек из Аппина, по имени Алан Блэк Стюарт (или что-то вроде этого)[16] — потом я встречал его во Франции. Они в чем-то не сошлись с моим спутником и обменялись весьма невежливыми словами. Стюарт потребовал, чтобы Баллантрэ спешился и обнажил шпагу.

— Ну, мистер Стюарт, — ответил Баллантрэ, — при теперешних обстоятельствах я, пожалуй, предпочту состязаться с вами в беге. — И с этими словами он пришпорил своего коня.

И таков был ребячливый задор Стюарта, что он бежал за нами больше мили, и я не мог удержаться от смеха, когда, обернувшись, увидел его на вершине холма. Он держался рукой за левый бок, сердце у него чуть было не лопнуло от быстрого бега.

— Как хотите, — не удержался я от замечания своему спутнику, — но я бы никому не позволил бежать за собой с такой благородной целью, не удовлетворив его желания. Шутка была хороша, но она смахивает на трусость.

Он нахмурился.

— Хватит с меня и того, — сказал он, — что я связался с самым ненавистным для шотландцев человеком; можете судить по этому о моей храбрости.

— Клянусь честью, — сказал я, — будь у меня зеркало, я мог бы показать вам человека, еще менее любезного для своих соотечественников. И если вам так не нравится мое общество, сделайте одолжение, отвяжитесь от меня.

— Полковник Бэрк, — сказал он. — Не будем ссориться; и при этом помните, что терпение не из моих добродетелей!

— Ну, я нисколько не терпеливее вас, — сказал я. — И не считаю нужным скрывать это.

— Так мы с вами далеко не уедем, — сказал он, натянув поводья. — Я предлагаю вот что: либо сейчас же подеремся и расстанемся, либо накрепко договоримся переносить друг от друга все, что бы ни случилось.

— Как родные братья? — спросил я.

— Такой глупости я не говорил, — ответил он. — У меня есть брат, но для меня его все равно что и нет. Но уж если довелось нам обоим подвергнуться травле, так поклянемся же клятвой гонимых, что не будет между нами ни обиды, ни мести. Я по натуре человек не добрый, и мне докучают все эти напускные добродетели.

— И я не лучше вас, — сказал я. — И у меня в жилах не парное молоко. Но как же нам быть? Дружить или биться?

— Знаете, — сказал он, — я думаю, лучше всего решить это жребием. Такое предложение было слишком рыцарственно, чтобы не прельстить меня, и, как это ни покажется странным, мы, два знатных дворянина наших дней, словно двое паладинов[17] древности, доверили полукроне решить вопрос, биться нам насмерть или стать друзьями и побратимами. Едва ли можно представить себе обстоятельства более романтичные, и это одно из тех моих воспоминаний, которые свидетельствуют, что былые подвиги, воспетые Гомером и другими поэтами, живы и посейчас — по крайней мере в среде благородных и воспитанных людей. Жребий, указал мириться, и мы рукопожатием скрепили наш уговор. Только тогда мой спутник объяснил мне, что побудило его ускакать от мистера Стюарта, и только тут я оценил этот ход, достойный государственного человека.

Разнесшийся слух о его смерти, сказал он, был ему надежной защитой; то, что мистер Стюарт узнал его, представляло опасность, и он избрал самый верный способ, чтобы заставить этого джентльмена молчать.

— Потому что, — сказал он, — Алан Блэк слишком тщеславный человек, чтобы рассказывать о себе такую историю.

Скоро после полудня мы добрались до берегов того залива, к которому направлялись, и нашли там корабль, только что бросивший якорь. Это была шхуна «SainteMarie des Anges»[18] из Гавр-де-Граса. После того как мы знаками вызвали шлюпку, Баллантрэ спросил, не знаю ли я капитана шхуны. Я сказал, что он мой соотечественник, человек безупречной репутации, но, по моим наблюдениям, довольно робок.

— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Придется нам сказать ему всю правду.

Я спросил, неужели он расскажет и о поражении, пи тому что, если капитан услышит, что флаг спущен, он; конечно, сейчас же уйдет в море.

— А хоть бы и так! — сказал он. — Оружие, которое он привез, теперь ни к чему.

— Дорогой мой, кто сейчас думает об оружии? Нам нужно подумать о наших друзьях. Они явятся за нами по пятам, среди них может быть сам принц, и если корабль отплывет, не дождавшись их, много достойных жизней подвергнется опасности.

— Уж если на то пошло, капитан и его команда тоже живые люди, — сказал Баллантрэ.

Я назвал это софистикой, заявил, что слышать не хочу о подобных разговорах с капитаном, на что Баллантрэ нашел остроумный ответ, ради которого, а также и потому, что меня обвиняли позднее в этой истории с «SainteMarie des Anges», я и рассказываю все подробности нашего разговора.

— Фрэнк, — сказал он, — припомните, о чем мы условились. Я не должен возражать против вашего молчания, я даже одобряю его; но, по смыслу нашего договора, вы тоже не должны препятствовать мне говорить.

Я не мог не рассмеяться, но тут же предостерег его от возможных последствий.

— Плевал я на последствия, — сказал этот беспечный человек. — Я всегда поступаю так, как мне вздумается.

Известно, что мои опасения оправдались. Не успел капитан услышать наши новости, как сейчас же перерубил канат и вышел в море. Еще до рассвета мы были в проливе Греит-Минч.

Корабль был очень стар, а шкипер-ирландец, пускай и честнейший из людей, был бездарнейшим из капитанов. Поднялся сильный ветер, и море бушевало. В тот день нам не хотелось ни есть, ни пить; мы рано улеглись, чтобы хоть как-нибудь забыться; а ночью, как будто для того, чтобы преподать нам урок, ветер внезапно переменился на северо-восточный и разразился штормом. Нас разбудило оглушительное грохотание бури и топот матросов на палубе. Я уже думал, что пришел наш последний час, и мое духовное смятение было еще усугублено насмешками Баллантрэ, который издевался над моими молитвами. Именно в такие часы обнаруживается в человеке настоящая набожность, и он начинает понимать (чему учили его с детских лет), сколь безрассудно уповать на земных друзей и заступников. Я был бы недостоин своей религии, если б особо не отметил этого в своем рассказе.

Три дня пролежали мы в темной каюте, питаясь одними сухарями. На четвертый день ветер стих, оставив судно, лишенное мачт, игрушкой огромных волн. Капитан понятия не имел, куда нас занесло бурей, в своем деле он был полным невеждой и мог только молить о помощи Пресвятую Деву, — занятие похвальное, но не исчерпывающее собой науки кораблевождения. Оставалась единственная надежда, что нас подберет другой корабль; но, окажись он кораблем английским, нам с Баллантрэ это не сулило ничего хорошего.

Пятый и шестой день нас носило по волнам, как щепку. На седьмой мы кое-как подняли парус на обломках мачт, но управлять им было трудно, и мы в лучшем случае держали судно по ветру. Нас все время сносило на юго-запад, а во время бури гнало в том же направлении с неслыханной быстротой. Девятое утро было холодное и хмурое, море волновалось, и все предвещало непогоду. Надо ли говорить, как мы обрадовались, когда на горизонте появилось небольшое судно и стало приближаться к «Santi-Marie». Но наша радость была кратковременна, потому что, когда оно подошло ближе и спустило шлюпку, в нее тотчас же насели какие-то головорезы, которые по дороге к нам ревели песни, а причалив, заполонили всю палубу, грозя обнаженными тесаками и осыпая нас бранью и проклятиями. Вожаком у них был неслыханный негодяй и знаменитый пират по имени Тийч. Лицо он мазал чем-то черным, а бакенбарды закручивал колечками. Он бегал по палубе, бесновался и орал, что сам он сатана, а корабль его — ад. В нем было что-то, напоминавшее взбалмошного ребенка или полоумного, и это пугало меня невыразимо. Я шепнул на ухо Баллантрэ, что, если, на наше счастье, они нуждаются в людях, я пиратство предпочту смерти. Он кивком выразил свое одобрение.

— Клянусь честью, — сказал я мистеру Тийчу. — Если вы сатана, то вот я, черт, к вашим услугам.

Ему это понравилось, и (скажу кратко, чтобы не задерживаться на этих постыдных событиях) Баллантрэ, я и еще двое из команды были завербованы пиратами, тогда как капитана и остальную команду они спровадили по доске в море. Я впервые видел, как это делается, сердце мое замирало, и мистер Тийч или кто-то из его подручных (я был слишком подавлен, чтобы разобраться в этом точнее) весьма недвусмысленно прошелся относительно моей бледности. У меня хватило духу выкинуть два-три коленца какой-то фантастической джиги и выкрикнуть при этом какую-то пакость. На этот раз я спасся, но, спускаясь в шлюпку к этим мерзавцам, я чувствовал, что еле держусь на ногах.

Мое отвращение к ним и мой страх перед огромными волнами я пересиливал тем, что отшучивался, коверкая язык на ирландский манер. Милостью божьей, на пиратском корабле оказалась скрипка, которой я тотчас же и завладел, и этим мне посчастливилось добиться их расположения. Они окрестили меня Пэтом Пиликалой, но на прозвище обижаться не приходилось, была бы шкура цела.

Я не в силах описать сумбур, царивший на этом корабле, которым командовал сущий полоумный и который можно было назвать плавучим бедламом. Кутеж, пляски, песни, брань, пьянство и драки — никогда на судне не были трезвы все зараз, и бывали дни, когда нас мог потопить первый налетевший шквал. А если бы шхуну настиг в такой день королевский фрегат, он мог бы захватить нас голыми руками. Несколько раз мы примечали парус и если были потрезвей, то — да простит нам это бог! — подвергали корабль своему досмотру, ну а если бывали чересчур во хмелю, то корабль уходил, и я про себя благословлял за это небо.

Тийч управлял своей оравой (если можно управлять, внося беспорядок), держа ее в постоянном страхе, и сколько я мог судить, весьма кичился своим положением. Я знавал маршалов Франции и даже вождей шотландских кланов, и все они были далеко не так чванливы. Вот она, эта постоянная погоня за славой и почестями. В самом деле, чем дольше живешь, тем лучше видишь прозорливость Аристотеля и других философов древности. Хотя сам я всю жизнь жаждал законных отличий, но могу положа руку на сердце сказать теперь, на закате дней, что ничто на свете, даже сама жизнь, не стоит того, чтобы ее сберегать и украшать почестями ценою малейшего ущерба для своего достоинства.

Мне долго не удавалось поговорить с Баллантрэ, но вот однажды ночью, когда все были заняты своими делами, мы забрались тайком на бушприт[19] и стали плакаться на свою судьбу.

— Нас может спасти только милость божья, — сказал я.

— А я на этот счет держусь другого мнения, — возразил Баллантрэ, — потому что спасаться я думаю собственными силами. Этот Тийч — полнейшее ничтожество, от него нет никакой пользы, а между тем под его началом мы все время рискуем быть захваченными. Я вовсе не намерен зря валандаться с этими разбойниками или колодником повиснуть на рее. — И он рассказал мне, как, по его мнению, следовало укрепить дисциплину на корабле, что обеспечило бы нам безопасность в настоящем, а в будущем дало бы надежду на освобождение, когда они наберут вволю добычи и разбредутся с ней по домам.

Я чистосердечно признался ему, что слишком потрясен всеми окружающими ужасами и он не должен рассчитывать на меня.

— Ну, а меня не легко запугать, — сказал он. — Да и одолеть меня трудно!

Через несколько дней нелепый случай снова чуть не привел всех нас на виселицу, и по нему можно представить себе царившие на корабле сумбур и сумасбродство. Все мы были пьяны, и когда один из полоумных заметил парус, Тийч велел догонять его, даже не взглянув на корабль, а мы все принялись потрясать оружием и похваляться, какую резню мы устроим. Я заметил, что Баллантрэ спокойно стоял на носу, вглядываясь вдаль изпод ладони. Я, верный

своей тактике по отношению к этим дикарям, не уступал в ретивости самым рьяным из них и развлекал их своими ирландскими прибаутками.

— Поднять флаг! — кричал Тийч. — Покажите этим стервецам, кто мы такие!

Это была попросту пьяная бравада, и она могла лишить нас ценной добычи, но я считал, что не мне рассуждать, и собственноручно поднял черный флаг.

Тут пришел на корму улыбающийся Баллантрэ.

— Может быть, вам, пьянчуге, интересно будет узнать, — сказал он, — что мы преследуем королевский фрегат.

Тийч заревел, что он лжет, но все же побежал к фальшборту,[20] и вслед за ним ринулись все прочие. Никогда я не видел, чтобы столько пьяных разом протрезвело. В ответ на наш дерзкий вызов фрегат круто повернул и лег на новый курс — наперерез нам; флаг его теперь был явственно виден. Мы еще, не отрываясь, глядели на него, как вдруг на борту корабля вспух дымок, послышался звук выстрела, и ядро скользнуло по волнам с небольшим недолетом. Тут несколько человек схватились за канаты и с непостижимой быстротой повернули нашу «Сару». Кто-то опрокинул бочонок рома, который стоял на палубе, и скатил его поскорее за борт. Я, со своей стороны, поспешил спустить пиратский флаг, сорвал его и швырнул в море. Я сам готов был спрыгнуть вслед за ним, так меня испугали наша оплошность и безначалие. А Тийч побледнел как смерть и тотчас же сошел к себе в каюту. Только два раза он показывался оттуда в этот день: он шел на корму и долго глядел на королевское судно, которое все еще виднелось на горизонте, неотступно преследуя нас, а потом безмолвно спускался к себе в каюту. Можно сказать, что он дезертировал, и если бы не то обстоятельство, что у нас на корабле был один очень хороший моряк, и если бы не ветер, благоприятствовавший нам весь день, мы все, конечно, повисли бы на реях.

Тийч, должно быть, чувствовал себя униженным в глазах команды, и способ, которым он попытался поднять свой пошатнувшийся авторитет, отлично показывает, что он был за человек. На следующее утро из его каюты распространился запах жженой серы и послышались его выкрики: «Ад! Ад!» На корабле, по-видимому, знали, что это значит, и повсюду воцарилось унылое ожидание. Вскоре он появился на палубе, и в каком виде! Это было сущее чучело: лицо вымазано чем-то черным, волосы и бакенбарды завиты в колечки, за поясом полно пистолетов. Он жевал стекло, так что кровь стекала у него по подбородку, и потрясал кортиком. Не знаю, может быть, он перенял эти штуки у индейцев Америки, откуда был родом, но только таков был его обычай и таким образом он объявлял, что намерен совершить самые страшные злодейства. Первым ему попался тот самый пират, который накануне спихнул за борт бочонок рома. Он заколол его ударом в сердце, кляня как мятежника; потом заплясал вокруг трупа, беснуясь и божась и вызывая нас выходить на расправу. Словом, разыграл свой балаган, нелепый, да к тому же и опасный, потому что эта трусливая тварь явно разжигала себя на новое убийство.

И вдруг вперед выступил Баллантрэ.

— А ну, брось дурака валять! — оказал он. — Ты что, думаешь испугать нас, строя рожи? Где ты был вчера, когда ты был нужен? Но ничего, обошлись и без тебя.

Среди команды началось движение и перешептывание, в равной степени и боязливое и радостное. А Тийч испустил дикий вопль и взмахнул кортиком, чтобы метнуть его, — искусство, в котором он (как и многие моряки) был большим мастером.

— Выбейте у него нож! — сказал Баллантрэ так внезапно и резко, что рука моя повиновалась ему еще прежде, чем разум мой понял приказание.

Тийч стоял ошеломленный, он даже не вспомнил о своих пистолетах.

— Ступай в каюту! — закричал Баллантрэ. — И можешь не показываться на палубе, пока не протрезвишься. Мы не собираемся из-за тебя висеть на рее, черномазый, полоумный,

пьяница и дубина! А ну, вниз! — И он так топнул на Тийча ногою, что тот рысцой побежал в каюту.

— Теперь, — обратился Баллантрэ к команде, — выслушайте и вы несколько слов. Не знаю, может быть, вы пиратствуете из любви к искусству, а я нет. Я хочу разбогатеть и вернуться на сушу и тратить свои деньги, как подобает джентльмену… И уж по одному пункту решение мое твердо: я не хочу повиснуть на рее, — во всяком случае, поскольку это от меня зависит. Дайте мне совет, ведь в вашем деле я новичок. Неужели нельзя наладить хоть какую-нибудь дисциплину и порядок?

Тут заговорил один из команды; он сказал, что по морскому обычаю на корабле должен быть квартирмистр, и как только было произнесено это слови, все его подхватили. Единодушно Баллантрэ был объявлен квартирмистром, его попечению был вверен ром, принят был пиратский устав, введенный еще Робертсом, и, наконец, предложено было покончить с Тийчем. Но Баллантрэ боялся более энергичного капитана, который мог бы ограничить его собственное влияние, и он решительно воспротивился расправе. Тийч вполне пригоден, говорил он, чтобы брать корабли на абордаж и пугать ошалелую команду своей черной рожей и неистовой божбой, в этом среди нас не нашлось бы соперника Тийчу, и, кроме того, раз он развенчан и, в сущности, смещен, мы можем уменьшить его долю в добыче. Последнее обстоятельство и решило дело. Доля Тийча была урезана до смехотворных размеров, она стала меньше моей. Оставалось только два затруднения: согласится ли он на отведенную ему роль и кто осмелится объявить ему наше решение.

— Не тревожьтесь, — сказал Баллантрэ, — я беру это на себя.

И он шагнул к капитанскому трапу и один спустился в каюту Тийча, чтобы обуздать этого пьяного дикаря.

— Вот этот человек нам подходит! — закричал один из пиратов. — Ура квартирмистру! — и все с охотой трижды прокричали «ура» в его честь, причем мой голос был не последним в хоре. И надо полагать, что эти «ура» должным образом воздействовали на мистера Тийча в его каюте, как и в наши дни воздействуют даже на законодателей голоса шумящей на улицах толпы.

Что между ними произошло, в точности неизвестно (хотя кое-что впоследствии и выяснилось), но все мы были как обрадованы, так и поражены, когда Баллантрэ появился на палубе, ведя под руку Тийча, и объявил, что все улажено.

Я не буду подробно рассказывать о двенадцати или пятнадцати месяцах, в течение которых мы продолжали наше плавание по Северной Атлантике, добывая пищу и воду с тех кораблей, которые мы обирали, и вели наше дело весьма успешно. Кому охота читать такие неподобающие вещи, как воспоминания пирата, пусть даже невольного, каким был я?

Баллантрэ, к моему восхищению, продолжал управлять нами, и дела наши теперь шли гораздо лучше. Как бы мне ни хотелось утверждать, что дворянин всюду займет первое место, даже на пиратском корабле, но сам я, по рождению не уступавший любому из лордов Шотландии, без стыда сознаюсь, что до самого конца оставался Пэтом Пиликалой и был на положении корабельного шута. Для проявления моих способностей не представлялось подходящей обстановки. Здоровье мое страдало от ряда причин; в седле я чувствовал себя много лучше, чем на палубе, и, по правде говоря, боязнь моря неотступно угнетала меня, уступая только страху перед моими спутниками. Мне не приходится восхвалять собственную храбрость: я достойно сражался во многих битвах на глазах у знаменитых полководцев и последний свой чин получил за выдающийся подвиг, совершенный при многих свидетелях. Но когда мы собирались на очередной абордаж, сердце Фрэнсиса Бэрка уходило в пятки. Утлая скорлупка, на которую мы грузились, устрашающие гряды огромных валов, высота судна, на борт которого нам предстояло взобраться, неизвестная численность и вооружение команды, встающей на защиту своих законных прав и самой жизни, хмурые небеса, которые в этих

широтах так часто угрюмо взирали на наши подвиги, самое завывание ветра в ушах — все это не возбуждало во мне отваги. А к тому же я всегда был человеком жалостливым, и последствия наших побед страшили меня не меньше, чем поражение. Дважды на борту мы находили женщин; и хотя мне доводилось видеть города, преданные грабежу, а недавно во Франции и страшные картины народных волнений, но самая ограниченность этих зверств пределами корабля и немногочисленностью жертв, а также холодная пучина моря, служившая им могилой, — все это усугубляло мое отвращение к творимым злодеяниям. Скажу по чести, я никогда не мог грабить, не напившись почти до полной потери сознания. Так же обстояло дело и с остальной командой. Сам Тийч был способен на разбой, только накачавшись рому; и одной из труднейших обязанностей Баллантрэ было не давать нам напиваться до бесчувствия.

Он и с этим справлялся на славу, как человек несравненных способностей и исключительной находчивости. Он не пытался снискать расположение команды, как это делал я, заставляя себя паясничать, когда на сердце было вот как неспокойно. Он при всех обстоятельствах сохранял достоинство и серьезность, держался, как отец среди капризных ребят или учитель среди озорных школьников. Эта задача была тем труднее, что по натуре наши головорезы были закоренелые ворчуны. Как ни слаба была дисциплина, установленная Баллантрэ, она все же казалась тягостной этим распущенным людям. И что хуже всего — теперь, когда они меньше пили, они успевали думать. Как следствие этого, некоторые из них начинали раскаиваться в своих ужасающих преступлениях, особенно один — добрый католик, с которым мы иногда уединялись для молитвы, чаще всего в плохую погоду, когда ливень или туман скрывали нас от прочей команды. Я уверен, что смертники по дороге на плаху не молились искреннее и горячее нас. Но остальные, лишенные и этого источника надежды, предавшись разного рода выкладкам и вычислениям, по целым дням подсчитывали свою долю и плакались, что она мала. Как я уже говорил, удача нам сопутствовала. Но нельзя не упомянуть при этом, что ни в одном известном мне деле (так уж ведется на этом свете!) доходы не соответствуют людским чаяниям. Мы встречали много кораблей и многие настигали, но на немногих находили деньги, а товары их обычно были нам ни к чему, — что нам было делать с грузом плугов или даже табака? — и тягостно вспоминать, сколько команд мы отправили на дно ради каких-нибудь сухарей или бочонка-другого спирту!

Между тем корабль наш весь зарос илом и ракушками, и пора было нам отправляться в место нашей постоянной стоянки, расположенное в устье одной реки посреди болот. Предполагалось, что там мы разойдемся, чтобы порознь промотать добычу, и, так как каждому хотелось увеличить свою долю, это заставляло нас со дня на день откладывать конец плавания. Решил дело один ничтожный случай, который стороннему человеку мог показаться обыденным при нашем образе жизни. Но я должен тут же объяснить: только на одном из абордированных нами судов, — на первом из двух, где мы нашли женщин, — мы встретили настоящее сопротивление. В этот раз у нас было двое убитых и несколько человек раненых. Если бы не отвага Баллантрэ, атака наша была бы, конечно, отбита. Во всех прочих случаях защита была (если только вообще это можно назвать Защитой!) такого рода, что над ней посмеялись бы самые никудышные солдаты Европы. Самым опасным во всем нашем деле было карабкаться на борт судна, и случалось, что эти простофили сами спускали нам канат, так спешили они изъявить свое желание завербоваться к нам вместо того, чтобы по доске отправиться в море. Эта постоянная безнаказанность очень изнежила нашу команду, и я теперь понимал, как мог Тийч подчинить ее себе, — ибо поистине этот полоумный и был для нас главной опасностью.

Случай, о котором я упомянул; был вот какой. Сквозь туман мы разглядели совсем близко от нас маленький трехмачтовый корабль, который шел почти так же быстро, — вернее сказать, так же медленно, как и наш. Мы изготовили носовую пушку, чтобы попытаться достать его с ходу. Но море было неспокойное, корабль сильно швыряло, и немудрено, что наши пушкари, выпалив трижды, так и не попали в цель. А тем временем преследуемые выпалили из кормовой

пушки, и, видно, наводчики у них были опытнее наших, потому что первое же их ядро ударило по носовой части, разнесло двух наших пушкарей в клочья, так что всех нас обрызгало кровью, и, пробив палубу, разорвалось в кубрике, где мы спали. Баллантрэ даже не обратил бы на все это внимания, — действительно, в этой неприятности не было ничего, что могло бы удручить душу солдата, — но он быстро улавливал желания команды, и было ясно, что этот шальной выстрел был каплей, переполнившей чашу. Мгновение спустя все они заговорили об одном: корабль от нас уходит, преследовать его бессмысленно, наша «Сара» чересчур отяжелела, чтобы нагнать даже бочку, продолжать на ней плавание невозможно, и в силу всех этих мнимых доводов руль был переложен и мы легли курсом на наш потаенный порт. Надо было видеть, какое веселье овладело всей командой, как они плясали на палубе и высчитывали, насколько увеличилась их собственная доля после смерти двух пушкарей.

Девять суток мы шли к порту, так слаб и изменчив был ветер и так отяжелела наша «Сара». На рассвете десятого дня, пробираясь сквозь легкий волнистый туман, мы вошли в устье. Но вскоре туман рассеялся, и, прежде чем он снова упал, мы увидели совсем близко какой-то фрегат. Его присутствие тут, рядом с нашим убежищем, было для нас тяжелым ударом. Начались оживленные споры о том, заметил ли он нас и если заметил, то узнал ли «Сару». Из предосторожности мы уничтожали на захваченных кораблях всех пленников до одного, чтобы не оставлять свидетелей наших злодейств; но скрыть нашу «Сару» было не так легко. В последнее время, когда она отяжелела и многие из преследуемых судов уходили от нас, были основания ожидать, что описания ее внешнего вида широко известны. Я думал, что, застигнутые фрегатом, мы сейчас же разойдемся в разные стороны. Но тут хитроумный Баллантрэ приготовил для меня новый сюрприз. С самого первого дня своего избрания квартирмистром он и Тийч (и это было самым замечательным достижением Баллантрэ) действовали рука об руку. Я часто расспрашивал его, как это случилось, и не получал ответа; только раз он намекнул мне, что у них с Тийчем заключено соглашение, «которое весьма удивило бы команду, узнай она его суть, удивило бы и его самого, будь оно до конца выполнено». Так вот и тут — они с Тийчем были единодушны, и, с их общего соизволения, не успели мы бросить якорь, как вся команда предалась неописуемому пьянству. К полудню корабль стал поистине сумасшедшим домом, все летело за борт, одна пьяная песня перекрывала другую, люди ссорились и сцеплялись в лютой свалке, а потом забывали о ссоре и обнимались в пьяном умилении. Мне Баллантрэ велел, если жизнь мне дорога, не пить ни капли, но прикидываться пьяным. Никогда еще не было у меня такого томительного дня; большую часть его я провел, валяясь на баке и разглядывая болота и заросли, простиравшиеся вокруг нашей маленькой бухты насколько хватал глаз.

Когда стало смеркаться, Баллантрэ сделал вид, что споткнулся и с пьяным смехом повалился рядом со мной. Прежде чем встать, он успел шепнуть мне, чтобы я сошел в каюту и для отвода глаз лег спать на лавку; я, мол, скоро ему понадоблюсь. Я выполнил его приказание, спустившись в каюту, где было совсем темно, и залег на первую же лавку. Там уже был кто-то. По тому, как он завозился и спихнул меня на пол, я понял, что он вовсе не так уж пьян, но когда я устроился на другой лавке, он сделал вид, будто снова заснул. Сердце у меня бешено билось, я понимал, что готовится отчаянное дело. Скоро в каюту сошел Баллантрэ, зажег лампу, осмотрелся, удовлетворенно кивнул головой и, не сказав ни слова, опять поднялся на палубу. Прикрывая рукой глаза, я украдкой огляделся и увидел, что в каюте на лавках спят или прикидываются спящими трое: сам я и двое матросов — Даттон и Грэди, оба люди смелые и решительные. На палубе беснование перепившихся достигло пределов, и я не подберу слов, которыми можно было бы определить звуки, ими издаваемые. На своем веку я был свидетелем многих кутежей и попоек, много раз на палубе той же «Сары», но никогда еще не видел ничего подобного, и это заставило меня тогда же предположить, что в ром было что-то подмешано. Очень нескоро крики и рев постепенно перешли в мучительные

стоны, а потом сменились молчанием, и еще очень нескоро к нам спустился Баллантрэ, на этот раз сопровождаемый Тийчем, который крепко выбранился, увидев нас троих на лавках.

— Зря, — сказал Баллантрэ, — можете хоть из пистолета палить у них над ухом. Вы же знаете, чего они наглотались.

В каюте был люк, а под ним в тайнике сложена большая часть нашей добычи, еще не поделенная. Люк был заперт тремя замками, и ключи от них (для большей верности) хранились один у Тийча, другой у Баллантрэ, а третий у помощника, которого звали Хаммонд. Каково же было мое изумление, когда я увидел все ключи в одних руках, и еще больше я изумился, обнаружив, что Баллантрэ и Тийч вытащили из люка несколько тюков — всего их было четыре, — тщательно упакованных и снабженных лямками.

— Ну, а теперь, — сказал Тийч, — пора в путь.

— Одно только слово, — сказал Баллантрэ. — Мне стало известно, что есть еще один человек, кроме вас, который знает тайную тропку через болото, и, как мне кажется, его дорога короче вашей.

Тийч завопил, что их предали и, значит, все пропало.

— Нет, почему же, — сказал Баллантрэ. — Есть еще кое-какие обстоятельства, с которыми я должен вас ознакомить. Во-первых, обратите внимание на то, что в ваших пистолетах, которые (как вы помните) я позаботился зарядить для вас сегодня утром, нет ни одной пули. Во-вторых, раз есть другой человек, знакомый с тропинкой, вы не станете требовать, чтобы я связался в этом деле с таким полоумным, как вы. Ну и, в-третьих, эти джентльмены (которым нет больше надобности прикидываться спящими) держат мою сторону и сейчас заткнут вам рот и привяжут вас к мачте. И когда ваши люди проснутся (если только вообще они проснутся после того, чем мы с вами их угостили), я уверен, что они будут настолько любезны, что освободят вас, и вам, я полагаю, нетрудно будет объяснить им всю историю с ключами.

Тийч не промолвил ни слова и, выпучив глаза, глядел на нас, пока мы засовывали ему в рот кляп и привязывали к мачте.

— Ну, а теперь, дурачина, — сказал Баллантрэ, — вы понимаете, почему мы увязали все в четыре тюка. Вы любили называть себя сатаной, вот и оставайтесь в пекле.

Это были его последние слова на борту «Сары». Нагрузившись тюками, мы четверо потихоньку спустились в шлюпку и отчалили от судна, молчаливого, как могила, из которой, словно голос заживо погребенных, раздавались временами только стоны одурманенных пьяниц.

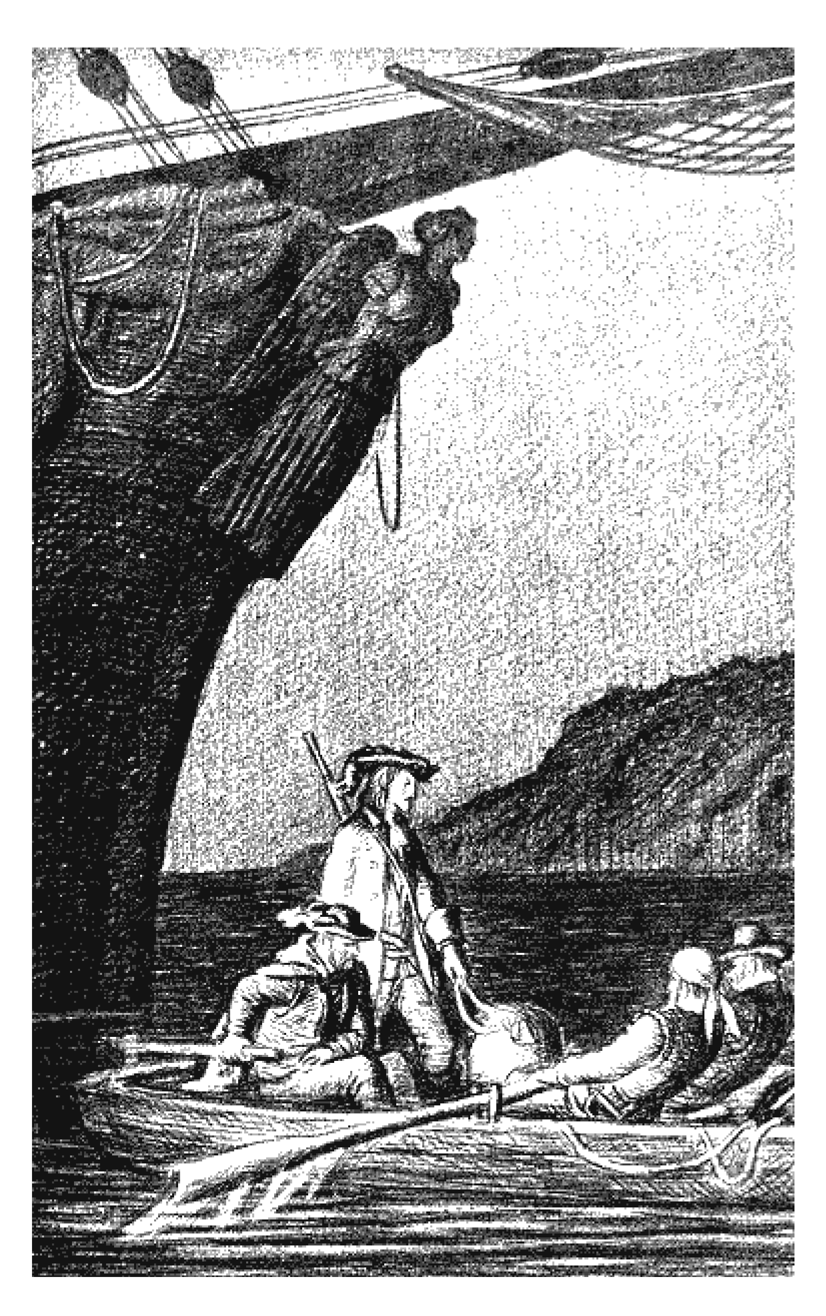
Туман стлался над водой ниже человеческого роста, так что Даттон, знавший дорогу, стоя указывал, куда нам плыть. Это вынуждало грести очень осторожно, что и спасло нас. Только что мы отошли от корабля, как стало светать, туман сгустился, и над нами с криками потянулись птицы. Вдруг Даттон быстро присел на дно лодки и шепнул нам, чтобы мы молчали, если жизнь нам дорога, и слушали. И в самом деле, с одной стороны послышался слабый скрип уключин, он повторился, а затем такой же скрип послышался и с другой стороны. Ясно было, что вчера утром фрегат нас выследил и теперь направил шлюпки, чтобы захватить корабль. Беззащитные, мы были в самой середине их флотилии. Трудно представить себе положение более гибельное, и мы сидели, склонившись над веслами, моля бога, чтобы туман продержался подольше. Пот крупными каплями стекал у меня со лба. Вдруг с одной из шлюпок, куда можно было бы перекинуть сухарь, послышался осторожный шепот офицера:

— Тише, ребята!

И я подивился тому, что они не слышат, как колотится сердце у меня в груди.

— Черт с ней, с тропинкой, — сказал Баллантрэ, — надо поскорее где-нибудь укрыться. Давайте причалим к берегу.

Так мы и сделали, подгребая с величайшей осторожностью и правя наугад прямо через туман, который был для нас единственным спасением. Но небо сжалилось над нами, мы пристали к самой заросли, выбрались на берег с нашим драгоценным грузом и, не зная другого способа скрыть свои следы (туман уже начинал рассеиваться), затопили шлюпку. Едва успели мы скрыться в зарослях, как взошло солнце и в то же самое время с середины бухты раздалось громкое «ура» моряков, и мы поняли, что «Сара» взята на абордаж. Позднее я слышал, что захвативший ее офицер был щедро награжден, но, хотя выслежен был наш корабль действительно мастерски, я полагаю, что самый захват его не потребовал особых трудов.[21]



Я еще возносил хвалы всем святым за свое спасение, когда понял, что из огня мы попали в полымя. Мы высадились наугад в огромном непролазном болоте, и найти тропу представлялось теперь делом неверным, утомительным и опасным. Даттон считал, что нам

надо дождаться отплытия судна и выловить со дна шлюпку. Любое промедление, говорил он, разумнее, чем попытка пробиваться вслепую по этой трясине. Итак, мы вернулись к берегу бухты и, вглядываясь сквозь частые заросли, увидели, что туман окончательно рассеялся, что на «Саре» поднят королевский флаг, но незаметно никаких приготовлений к отплытию. Положение наше было крайне рискованным. Задержка на болоте грозила болезнью: мы так стремились унести возможно больше добычи, что почти не захватили с собой провизии; к тому же, весьма желательно было как можно скорее уйти от опасного соседства и добраться до поселений раньше, чем туда дойдет известие о захвате нашего корабля. А против всех этих доводов можно было выставить только рискованность путешествия по болоту. Вполне естественно, что мы решили пробиваться.

Наступила уже нестерпимая жара, когда мы пустились в путь через болото, или, вернее, когда стали нащупывать этот путь по компасу. Даттон шел впереди с компасом, а кто-нибудь из нас троих нес его часть сокровищ. Надо ли говорить, как зорко он следил за своим тылом, — ведь ему пришлось доверить нам все свое достояние. Заросли были непролазные, почва топкая, так что мы то и дело увязали в ней и должны были обходить гиблое место, к тому же жара стояла нестерпимая, нечем было дышать, и тучи москитов окружали каждого из нас. Часто отмечалось, насколько лучше родовитые джентльмены выносят усталость, чем выходцы из черни. Известно, например, что офицеры, принужденные месить грязь наравне со своими солдатами, посрамляют их своей выдержкой. Так было и в этом случае: с одной стороны были Баллантрэ и я — джентльмены родовитейших семей, а с другой — простой моряк Грэди, человек богатырского телосложения. О Даттоне говорить не приходится этот, нужно признать, держался не хуже нас.[22] Что касается Грэди, то он вскоре принялся оплакивать свою судьбу, плелся все время в хвосте, отказался в свой черед нести добавочный тюк, все время клянчил рома (которого у нас оставалось слишком мало) и, наконец, даже стал грозить пистолетом, требуя, чтобы мы дали ему отдохнуть. Конечно, Баллантрэ справился бы с ним, но я убедил его дать поблажку; мы сделали привал и подкрепились едой. Но и это не помогло. Опять Грэди сразу же оказался в хвосте, стеная и оплакивая свой жребий… Наконец, по собственной небрежности, он, должно быть, уклонился от проложенных нами следов и попал в окно, затянутое травою. Прежде чем мы успели прийти к нему на помощь, он со страшным воплем погрузился в хлябь, и тут же она засосала его со всей его добычей. Его судьба и прежде всего этот вопль потрясли нас до глубины души, но, вообще говоря, это было к лучшему и способствовало нашему спасению, потому что Даттон после этого решил взобраться на дерево, чтобы осмотреть местность. Его радостный возглас заставил и меня подняться к нему, и он показал мне возвышенность, по которой, как он знал, проходила тропа. Теперь Даттон шел, отбросив всякую осторожность, и вскоре мы увидели, как у него увязла одна нога; он вытащил ее и снова увяз, уже обеими. Он повернул к нам побледневшее лицо.

— Дайте руку, — закричал он, — я попал в трясину!

— С чего это вы взяли, — сказал Баллантрэ, не двигаясь с места. Даттон разразился страшными проклятиями. Погрузившись уже почти до пояса и выхватив пистолет, он крикнул:

— Помогите мне! Или умрите, как собаки!

— Ну, что вы, — сказал Баллантрэ, — я просто пошутил. Иду. Иду! — И он скинул свои тюк и тюк Даттона, который нес в свой черед. — Не подходите, если мы не позовем вас, — сказал он мне и пошел один к увязнувшему Даттону. Тот стоял, не двигаясь и все еще сжимая пистолет. Страшно было смотреть на его искаженное ужасом лицо.

— Ради бога! — взмолился он. — Будьте осторожны!

Баллантрэ подошел к нему вплотную.

— Не двигайтесь, — сказал он и потом, подумав: — Протяните обе руки. Даттон отложил пистолет; вокруг него было так топко, что пистолет сейчас же погрузился и исчез. С проклятиями Даттон потянулся к нему, чтобы подхватить, и, воспользовавшись тем, что он

нагнулся, Баллантрэ вонзил ему кинжал между лопаток. Даттон взмахнул руками, то ли от боли, то ли защищаясь, и через мгновение, согнувшись, ткнулся лицом в тину.

Баллантрэ тоже увяз уже почти по колено, но ему удалось выбраться, и он вернулся ко мне. Видя, как я дрожу, он сказал:

— Однако, черт вас подери, Фрэнсис, вы, как я вижу, попросту малодушны. Ведь это лишь законное воздаяние пирату. Вот мы и стряхнули последние отрепья «Сары». Кто теперь может обличить нас в соучастии?

Я уверял его, что он неправильно судит обо мне, но мое чувство гуманности было настолько потрясено бесчеловечностью его поступка, что у меня дух перехватывало и я едва мог говорить.

— Право, надо быть решительнее, — сказал он. — Даттон показал, где проходит тропа, на что он нам больше нужен? Вы должны признать, что непростительно было бы упустить такой случай.

Я не мог отрицать, что в принципе он прав, однако не мог удержать слез, которых, по-моему, не должен стыдиться и самый храбрый человек. Только подкрепившись ромом, я смог двинуться дальше. Повторяю, что я не стыжусь этого благородного волнения: милосердие украшает воина. Все же я не могу безоговорочно порицать Баллантрэ: ведь он действительно спас нас обоих. Мы без дальнейших превратностей вышли на тропу и в тот же вечер еще до заката добрались до конца болота.

Мы были чересчур измучены, чтобы долго искать места для ночлега: на опушке соснового леса мы свалились на сухой песок, еще нагретый солнцем, и тотчас же уснули.

Наутро мы проснулись очень рано и в таком дурном расположении духа, что от разговоров чуть было не перешли к драке. Мы были теперь затеряны на побережье южных провинций, в тысячах миль от французских поселений, нам предстояло трудное путешествие и неисчислимые опасности, и как раз в такое время человек особенно нуждается в друге. А Баллантрэ как будто вовсе утерял даже вежливость обхождения. Правда, изумляться тут нечему, принимая во внимание долгий срок, проведенный нами среди морских разбойников. Но как бы то ни было, говорил он со мной очень резко, и ни один джентльмен не стерпел бы подобного обращения. Я высказал ему свое недовольство, но он молча отошел в сторону, а когда я последовал за ним, продолжая усовещивать его, он остановил меня движением руки.

— Фрэнсис, — сказал он, — вы помните, в чем мы поклялись друг другу, но никакие клятвы в мире не заставили бы меня выслушивать подобные речи, если бы не искреннее мое расположение к вам. Вы не должны в нем сомневаться. В самом деле, Даттона я должен был взять с собой, потому что он знал, как найти тропу, а Грэди — потому, что Даттон не желал идти без него. Но что мне за смысл было брать с собой вас? Уже один ваш проклятый ирландский говор для меня постоянная опасность. В сущности, вам следовало бы сидеть в кандалах, а вы еще вздумали ссориться со мной, как малое дитя из-за игрушки.

Мне никогда еще не приходилось слышать такой напраслины; все это у меня и до сих пор как-то не вяжется с джентльменским обликом моего друга. Я поставил ему на вид его собственный шотландский акцент, не такой резкий, как приходится иногда слышать, но все же в достаточной мере варварский и неприятный для слуха, как я ему напрямик и сказал. Не знаю, чем кончилось бы дело, если бы не внезапная угроза, которая всполошила нас.

Разговаривая, мы несколько отошли в сторону от леса, и место нашего ночлега с распакованными тюками и раскиданными монетами осталось между нами и опушкой, откуда и появился нежданный гость. По крайней мере сейчас он стоял там — рослый парень с топором на плече — и, широко разинув рот, глазел то на наши сокровища у своих ног, то на нас, в разгаре спора схватившихся за оружие. Но как только мы заметили его, он сейчас же пустился бежать и скрылся между сосен.

Все это не могло не обеспокоить нас: весть о встрече с двумя вооруженными моряками, ссорящимися над грудой денег неподалеку от того места, где был захвачен пиратский корабль, — такая весть могла поднять против нас всю округу. Ссора наша не то что прекратилась — мы попросту о ней забыли. В мгновение ока мы собрали свои тюки и пустились бежать, сколько хватало духу. Но беда была в том, что мы не знали, куда нам спасаться, и каждый раз возвращались к тем же местам. Правда, Баллантрэ выведал, что мог, у Даттона, но трудно находить путь с чужих слов, и куда бы мы ни поворачивали, в конце концов перед нами, пускай под новым углом, расстилалась все та же гладь широкого устья.

Мы выбились из сил и совсем было отчаялись, когда с вершины очередной дюны увидели, что снова отрезаны от суши еще одним ответвлением залива. Но на этот раз перед нами открылась бухточка, не похожая на прочие; она глубоко вдавалась в скалы, и берега ее были так круты, что маленькое судно пришлось накрепко пришвартовать к скале, а сходни перекинуть с борта прямо на берег. Тут команда развела костер и сидела у огня за едой. Корабль по виду напоминал торговые суда, которые строят на Бермудских островах.

Страсть к золоту и всеобщая ненависть к пиратам были, конечно, достаточным поводом для того, чтобы вся округа бросилась за нами в погоню. Кроме того, становилось очевидно, что мы находимся на каком-то полуострове со многими пальцеобразными выступами; а перемычка возле запястья, по которой нам сразу же следовало перебраться на материк, теперь, наверное, уже была под охраной. Все это побудило нас действовать смелее. Мы отлежались среди кустов на вершине дюны, беспрестанно озираясь, не появилась ли уже погоня, а немного отдышавшись и приведя в порядок платье, спустились вниз к костру, стараясь держаться как можно непринужденнее.

Оказалось, что здесь расположился купец из Олбени в провинции Нью-Йорк, — имени его я теперь не могу припомнить. Со своей командой из негров он вел корабль с ценным грузом домой из Вест-Индии. Мы были очень изумлены, узнав, что он укрылся здесь из страха перед «Сарой». Мы никак не ожидали, что так широко разнеслась молва о наших подвигах. Как только купец услышал, что «Сара» наша захвачена, он сейчас же вскочил, угостил нас ромом за хорошую весть и послал своих негров поднимать паруса. Со своей стороны, мы воспользовались удобным случаем, чтобы завести дружескую беседу, и в конце концов спросили, не возьмет ли он нас на корабль пассажирами. Он искоса поглядел на нашу запачканную дегтем одежду, на пистолеты и ответил все же довольно вежливо, что он и сам с командой едва размещается на корабле; ни просьбы наши, ни денежные посулы, на которые мы не скупились, не могли поколебать его упорства.

— Я вижу, вы о нас дурного мнения, — сказал Баллантрэ, — но я докажу, насколько мы вам доверяем, раскрыв всю правду. Оба мы изгнанники, якобиты,[23] и за нашу голову объявлена награда.

Это сообщение явно заинтересовало купца. Он стал расспрашивать нас о войне, и Баллантрэ терпеливо отвечал на все его вопросы. В конце концов купец подмигнул нам и заметил с грубоватой шутливостью:

— Да, видно, вы с вашим принцем Чарли получили свою порцию, да еще с добавкой.

— Вот именно, — сказал я. — Заплачено сполна и авансом. Точно так же, как и мы с вами хотели расплатиться.

Сказал я это ломаным ирландским говором, который почему-то всех так забавляет и трогает. Удивительное дело, как безошибочно действует это повсюду на любого доброго парня, — верное свидетельство в пользу того, какой повсеместной любовью пользуется наш народ. Сколько я знаю случаев, когда провинившийся солдат избегал плетей или нищий выпрашивал щедрое подаяние какой-нибудь ирландской шуточкой. И в самом деле, как только купец рассмеялся, услышав мои слова, я мигом успокоился. Но все же он выставил свои условия, и, прежде чем пустить нас на борт, отобрал у нас пистолеты. Это было сигналом к

отплытию, и спустя несколько минут мы, пользуясь попутным бризом, уже скользили по водам бухты, прославляя бога за свое спасение.

У выхода из устья реки мы миновали фрегат, а немного дальше виднелась бедная «Сара», на которой хозяйничала призовая команда. При виде их нас бросило в дрожь. Это напоминание о судьбе наших спутников заставляло еще больше ценить наше надежное убежище и благословлять удавшийся нам смелый маневр. А между тем мы только попали из огня да в полымя, сменили петлю на плаху, избежали открытого нападения военного корабля, чтобы сдаться на милость хитрому купцу и довериться его сомнительной порядочности.

И все же оказалось, что положение наше безопаснее, чем мы даже могли рассчитывать. Город Олбени в то время вел оживленную торговлю контрабандой с индейцами и французами. Занятие этим противозаконным делом объясняло сговорчивость обитателей Олбени, а постоянное общение с учтивейшим народом мира склоняло их к терпимости. Короче говоря, как и все контрабандисты, они были шпионы и агенты, готовые служить любой стороне. Наш купец был к тому же человек почтенный, но очень жадный и, к довершению удачи, находил большое удовольствие в нашем обществе. Еще до прибытия нашего в Нью-Йорк мы пришли с ним к соглашению, что он довезет нас до Олбени на своем корабле, а оттуда устроит нам переход французской границы. За все это ему следовало высокое вознаграждение; но нищим не приходится выбирать, а изгнанникам — торговаться.

Итак, мы поднялись по Гудзону, который мне показался прекрасной рекой, и остановились в Олбени в гостинице «Королевский герб». Город был битком набит собравшимися сюда отрядами народной милиции, жаждавшей крови французов. Губернатор Клинтон, человек страшно занятой и, насколько я мог судить, весьма озабоченный разногласиями среди членов законодательного собрания, был тут же. Индейцы с обеих сторон вышли на военную тропу; мы видели, как они пригоняли в город пленных и (что было много хуже) приносили скальпы как мужчин, так и женщин, за которые получали установленную правительством плату. Уверяю вас, зрелище это было не успокоительное.

Вообще говоря, попали мы сюда совсем в неподходящее время: наше пребывание в главной гостинице привлекло внимание, наш купец тянул, придумывая всякие отговорки, и, казалось, готов был отказаться от своих обязательств, — Бедным изгнанникам со всех сторон грозила гибель, и мы некоторое время разгоняли заботы весьма беспорядочным образом жизни.

Но это оказалось к лучшему; и вообще вся история нашего бегства изобилует примерами того, как провидение вело нас к предназначенной цели. Моя философия, необычайные способности Баллантрэ, наша храбрость, в которой я признаю нас равными, — все это было бы напрасно без божественного провидения, управляющего нами, и как справедливо учит нас церковь, что в конце концов истины нашей религии вполне приложимы и к повседневным делам! Так вот, в самый разгар нашего кутежа мы познакомились с одним разбитным молодым человеком по имени Чью.

Это был самый отважный из всех купцов, торговавших с индейцами; он прекрасно знал все потайные тропы через леса, был большой гуляка, всегда нуждался в деньгах и, к довершению удачи, заслужил немилость своих родителей. Его-то мы и убедили прийти к нам на помощь; он тайно заготовил все нужное для нашего побега, и в один прекрасный день, не сказав ни слова нашему бывшему другу, мы выбрались из Олбени и немного выше по течению погрузились в челнок.

Чтобы должным образом описать все трудности и напасти этого пути, потребовалось бы перо искуснее моего. Читатель должен сам представить себе ужасную глушь, через которую нам пришлось пробираться; непроходимые чащи, болота, крутые скалы, бурные реки и удивительные водопады. Среди всех этих диковинок нам весь день не было покоя: то мы

гребли, то перетаскивали челнок на плечах, а ночь проводили у костра, слушая вой волков и прочего лесного зверья.

Мы намеревались подняться к верховьям Гудзона, где неподалеку от Краун-Пойнта у французов был лесной блокгауз на озере Шамплэн. Но идти напрямик было слишком опасно, и поэтому мы пробирались таким лабиринтом всяких рек, озер и волоков, что у меня голова идет кругом при одной попытке припомнить их названия. В обычное время места эти были совершенно безлюдны, но теперь вся страна поднялась на ноги, племена вышли на тропу войны, леса кишели индейскими разведчиками. Мы снова и снова натыкались на их отряды там, где меньше всего этого ожидали. Особенно мне запомнился один день, когда на рассвете нас окружили пять тли шесть этих размалеванных дьяволов, издававших весьма мрачные вопли и потрясавших своими топориками.

Дело обошлось благополучно, как, впрочем, и все подобные встречи, потому что Чью был известен и весьма ценим всеми племенами. В самом деле, он был отважный и надежный человек, но даже и в его обществе встречи эти были далеко не безопасны. Чтобы доказать туземцам нашу дружбу, нам приходилось прибегать к запасам рома, потому что, чем бы это ни прикрывалось, истинная торговля с индейцами — это походный кабак в лесу. А как только эти герои получали свою бутылку «скаура» (так они называли этот горлодер), нам надлежало грести во всю мочь ради спасения своих скальпов. Чуть охмелев, они теряли всякое представление о порядочности и думали только об одном: как бы добыть еще «скаура». Им легко могло взбрести на ум поохотиться за нами, и, настигни они нас, эти строки никогда не были бы написаны.

Мы достигли самого опасного участка пути, где нам угрожала опасность как от французов, так и от англичан, — и тут с нами приключилась ужасная беда. Чью внезапно заболел — у него появились признаки отравления, — и спустя несколько часов он лежал мертвый на дне челнока. Мы лишились в нем одновременно проводника, переводчика, лодочника и поручителя — все эти качества он объединял в своем лице — и внезапно оказались в отчаянном и непоправимом положении. Правда, Чью, который гордился своими познаниями, часто читал нам настоящие лекции по географии, и Баллантрэ, как мне казалось, слушал очень внимательно. Я же всегда считал подобные сведения невыносимо скучными. Мне достаточно было знать, что мы находимся на земле адирондакских индейцев и недалеко от цели нашего путешествия, если только нам удастся найти к ней путь, — до остального мне не было дела. Правильность моего отношения вскоре подтвердилась: стало ясно, что, несмотря на все свои старания, Баллантрэ знает немногим больше меня. Он знал, что нам надо подняться вверх по одной реке, затем после волока спуститься по другой и снова подняться по третьей. Но вспомните, сколько потоков и рек течет со всех сторон в гористой местности. Ну как было джентльмену, никогда не бывавшему в этих местах, отличить одну реку от другой! И это было не единственное затруднение мы не умели управляться с челноком, перетаскивать его волоком было сверх наших сил, так что, случалось, мы сидели в полном отчаянии по получасу, не произнося ни слова. Появление хотя бы одного индейца теперь, когда мы не могли объясниться с ним, привело бы, по всей вероятности, к нашей гибели. Таким образом, у Баллантрэ были оправдания для его мрачного настроения. Однако его привычка винить во всем других была менее извинительна, язык его и вовсе невыносим. В самом деле, на борту пиратского судна он усвоил манеру обращения, нетерпимую среди джентльменов, а теперь это еще усугублялось постоянной раздражительностью, доходившей до исступления.

На третий день наших скитаний, перетаскивая челнок по скалам очередного волока, мы уронили его и проломили днище. Мы находились на перемычке меж двух больших озер, тропа с обеих сторон упиралась в водные преграды, а по бокам был сплошной лес, обойти же озера по берегу мешали болота. Таким образом, мы вынуждены были не только обходиться без челнока и бросить большую часть провианта, но и пуститься наугад в непроходимые дебри, покинув единственную нашу путеводную нить — русло реки.

Мы засунули за пояс пистолеты, вскинули на плечи по топору, взвалили на спину наши сокровища и сколько можно провизии и, бросив все прочее наше имущество и снаряжение, вплоть до шпаг, которые только мешали бы в лесу, пустились в дальнейший путь. Перед тем, что мы перенесли, бледнеют подвиги Геракла, так прекрасно описанные Гомером. Местами мы пробирались сплошной чащей, прогрызая себе дорогу, как мыши в сыре — местами мы увязали в топях, заваленных гниющими стволами. Прыгнув на большой поваленный ствол, я провалился в труху; выбираясь, я оперся на крепкий с виду пень, но и он рассыпался при одном прикосновении. Спотыкаясь, падая, увязая по колено в тине, прорубая себе путь, с трудом уберегая глаза от сучьев и колючек, которые раздирали в клочья последние остатки одежды, мы брели весь день и прошли едва две мили. И, что хуже всего, почти не встречая прогалин, где можно было бы осмотреться, поглощенные преодолением преград, мы не могли отдать себе отчет, куда же мы идем.

Незадолго до заката, остановившись на поляне у ручья, окруженной со всех сторон крутыми скалами, Баллантрэ скинул на землю свой тюк.

— Дальше я не пойду, — сказал он и велел мне развести костер, кляня меня при этом в выражениях, не поддающихся передаче.

Я сказал, что ему пора бы забыть, что он был пиратом, и вспомнить, что когда-то он был джентльменом.

— Вы что, в уме? — закричал он. — Не бесите меня! — И, потрясая кулаком, продолжал: — Подумать только, что мне придется подохнуть в этой проклятой дыре! Да лучше бы умереть на плахе, как дворянину!

После этой актерской тирады он сел, кусая себя ногти и уставившись в землю.

Мне он внушал ужас, потому что я полагал, что солдату и дворянину надлежит встречать смерть с большим мужеством и христианским смирением. Поэтому я ничего не ответил ему, а вечер был такой пронизывающе холодный, что я и сам рад был разжечь огонь, хотя, видит бог, поступок этот на таком открытом месте, в стране, кишевшей дикарями, был поистине безумием. Баллантрэ, казалось, меня не замечал. Наконец, когда я принялся подсушивать на огне горсть кукурузных зерен, он посмотрел на меня.

— Есть у вас брат? — спросил он.

— По милости божьей, не один, а целых пять, — ответил я.

— А у меня один, — сказал он каким-то странным тоном. — И брат мне за все это заплатит, — прибавил он.

Я спросил, какое отношение имеет его брат к нашим несчастьям.

— А такое, — закричал Баллантрэ, — что он сидит на моем месте, носит мое имя, волочится за моей невестой, а я пропадаю тут один с полоумным ирландцем! О, и какой же я был дурак!

Эта вспышка была так необычна для моего спутника, что даже погасила мое справедливое негодование. Правда, в таких обстоятельствах не приходилось обращать внимания на его слова, как бы они ни были обидны. Но вот что поразительно. До той минуты он только раз упомянул мне о леди, с которой был обручен. Случилось это, когда мы достигли окрестностей Нью-Йорка, где он сказал мне, что, если бы существовала на свете справедливость, он ступил бы сейчас на собственную землю, потому что у мисс Грэм были в этой провинции обширные владения. Естественно, что тогда это пришло ему в голову; но во второй раз, и это следует особо отметить, он вспомнил ее в ноябре 47 года, чуть ли не в тот самый день, когда брат его шел под венец с мисс Грэм. Я вовсе не суеверен, но рука провидения проявилась в этом особенно явно.[24]

Следующий день и еще один прошли без изменений. Несколько раз Баллантрэ выбирал направление, бросая монету, и однажды, когда я стал укорять его за такое ребячество, он

ответил мне замечанием, которое запомнилось мне навсегда: «Я не знаю лучшего способа выразить свое презрение к человеческому разуму».

Помнится, на третий день мы натолкнулись на труп белого; он лежал в луже крови, оскальпированный, и был страшно изуродован; над ним с карканьем и криком кружились птицы. Не могу передать, какое удручающее впечатление произвело на нас это страшное зрелище; оно лишило меня последних сил и всякой надежды на спасение. В тот же день мы пробирались по участку горелого леса, как вдруг Баллантрэ, который шел впереди, нырнул за поваленный ствол. Я последовал его примеру, и из нашего убежища мы незаметно следили за тем, как, пересекая наш путь, проходил большой отряд краснокожих. Числом их было — что солдат в поредевшем батальоне. Обнаженные до пояса, намазанные салом и сажей и раскрашенные, по своим варварским обычаям, белыми и красными узорами, они, растянувшись цепочкой, как стадо гусей, быстро скользили мимо нас и исчезали в лесу. Все это заняло несколько минут, но за это время мы пережили столько, что хватило бы на всю жизнь.

Чьи они союзники — французов или англичан? За чем они охотятся — за скальпами или за пленными; следует ли нам рискнуть и объявиться или дать им пройти и самим продолжать наше безнадежное путешествие, — эти вопросы нелегко было бы разрешить самому Аристотелю. Когда Баллантрэ обернулся ко мне, лицо у него было все в морщинах, кожа обтягивала челюсти, как у человека, близкого к голодной смерти. Он не говорил ни слова, но все в нем выражало один вопрос.

— Они могут быть на стороне англичан, — прошептал я, — а тогда, подумайте, ведь лучшее, что нас может ожидать, — это начать все сначала.

— Знаю, знаю, — сказал он. — Но в конце концов нужно же на что-нибудь решиться! — Внезапно он вытащил из кармана монету, потряс ее в ладонях, взглянул и повалился лицом в землю…

Добавление мистера Маккеллара. Здесь я прерываю рассказ кавалера, потому что в тот же день оба спутника поссорились и разошлись. То, как изображает эту ссору кавалер, кажется мне (скажу по совести) совершенно не соответствующим характеру обоих. С этих пор они скитались порознь, вынося невероятные мучения, пока сначала одного, а потом и другого не подобрали охотники с форта св. Фредерика. Следует отметить только два обстоятельства. Во-первых (и это важнее всего для дальнейшего), что Баллантрэ во время скитаний закопал свою часть сокровищ в месте, так и оставшемся неизвестным, но отмеченном им собственной кровью на подкладке его шляпы. И второе, что, попав без гроша в форт, он был по-братски встречен кавалером, который оплатил его переезд во Францию.

Простодушие кавалера заставляет его в этом месте неумеренно прославлять Баллантрэ, хотя для всякого разумного человека ясно, что похвалы здесь заслуживает только сам кавалер. Я с тем большим удовлетворением отмечаю эту поистине благородную черту характера моего уважаемого корреспондента, что опасаюсь, как бы его не обидели некоторые мои предыдущие суждения. Я воздержался от оценки многих его неподобающих и (на мой взгляд) безнравственных высказываний, так как знаю, что он очень чувствителен и обидчив. Но все-таки его толкование ссоры поистине превосходит все вероятия. Я лично знал Баллантрэ, и нельзя представить себе человека, менее подверженного чувству страха. Меня очень огорчает эта оплошность в рассказе кавалера, тем более что в целом его повествование (если не считать некоторых прикрас) кажется мне вполне правдивым.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ИСПЫТАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ МИСТЕРОМ ГЕНРИ

Вы можете сами догадаться, на каких из своих приключений по преимуществу останавливался полковник. В самом деле, если бы мы услышали от него все, дело, вероятно, приняло бы совсем другой оборот, но о пиратском судне он упомянул лишь вскользь. Да и то, что соизволил нам открыть полковник, я так и не дослушал до конца, потому что мистер Генри,

погрузившийся в мрачную задумчивость, скоро встал и (напомнив полковнику, что его ожидают неотложные дела) велел мне следовать за собой в контору.

Там он не стал больше скрывать свою озабоченность, с искаженным лицом он расхаживал взад и вперед по комнате, потирая рукой лоб.

— Вы мне нужны, Маккеллар, — начал он наконец, но тут же прервал себя, заявив, что нам надо выпить, и приказал подать бутылку лучшего вина. Это было совсем не в его обычае, и меня еще более изумило, когда он залпом выпил несколько стаканов один за другим. Вино его подкрепило.

— Вас едва ли удивит. Маккеллар, — сказал он, — если я сообщу вам, что брат мой, о спасении которого мы все с радостью услышали, сильно нуждается в деньгах.

Я сказал, что не сомневаюсь в этом, но что сейчас это нам весьма некстати, потому что ресурсы у нас невелики.

— Это я знаю, — возразил он. — Но ведь есть деньги на уплату закладной.

Я напомнил ему, что принадлежат они миссис Генри.

— Я отвечаю за имущество своей жены, — резко сказал он.

— Да, — возразил я. — Но как же быть с закладной?

— Вот в том-то и дело, — сказал он. — Об этом я и хотел с вами посоветоваться.

Я указал ему, как несвоевременно было бы сейчас тратить эти суммы не по прямому их назначению, как это свело бы на нет плоды нашей многолетней бережливости и снова завело бы наше хозяйство в тупик. Я даже позволил себе спорить с ним, и, когда он ответил на мои доводы отрицательным жестом и упрямой горькой усмешкой, я дошел до того, что совсем забыл свое положение.

— Это — сущее безумие! — закричал я. — И я, со своей стороны, не намерен участвовать в нем!

— Вы говорите так, как будто я делаю это ради своего удовольствия, — сказал он. — У меня ребенок, я люблю порядок в делах, и сказать вам по правде, Маккеллар, я уже начинал гордиться достигнутыми успехами в хозяйстве. — Он с минуту помолчал, о чем-то мрачно раздумывая. — Но что же мне делать? — про — должал он. — Здесь ничего не принадлежит мне, ровно ничего. Сегодняшние вести разбили всю мою жизнь. У меня осталось только имя, все остальное призрак, только призрак. Прав у меня нет никаких.

— Ну, положим, они совершенно достаточны для суда, — сказал я.

Он яростно поглядел на меня и, казалось, едва удержал то, что хотел мне сказать. Я раскаивался в своих словах, потому что видел, что, хотя он и говорил о поместье, думал он о жене. Вдруг он выхватил из кармана письмо, скомканное и измятое, порывисто расправил его на столе и дрожащим голосом прочитал мне следующие слова:

— «Дорогой мой Иаков», — вот как оно начинается! — воскликнул он. — «Дорогой мой Иаков! Помнишь, я однажды назвал тебя так, и ты теперь оправдал это имя и вышвырнул меня за дверь». Подумайте, Маккеллар: слышать это от родного, единственного брата! Скажу как перед богом, я искренне любил его; я всегда был верен ему, и вот как он обо мне пишет! Но я не стерплю этого поклепа, — говорил мистер Генри, расхаживая взад и вперед.

— Чем я хуже его? Свидетель бог, я лучше его! Я не могу сейчас же выслать ему ту чудовищную сумму, которую он требует. Он знает, что для нашего состояния это непосильно, но я ему отдам все, что имею, и даже больше, чем он может ожидать. Я слишком долго терпел все это. Смотрите, что он дальше пишет: «Я знаю, что ты скаредный пес». Скаредный пес! Скаредный! Неужели это правда, Маккеллар? Неужели и вы так думаете? — Мне показалось, что мистер Генри собирается меня ударить. — О, вы все так обо мне думаете! Ну, так вот вы все увидите, и он увидит, и праведный бог увидит. Даже если бы пришлось разорить поместье и пойти по миру, я насыщу этого кровопийцу! Пусть требует все, все, он все получит! Все здесь

принадлежит ему по праву! Ох! — закричал мистер Генри. — Я предвидел все это и еще худшее, когда он не позволил мне уехать! — Он налил себе еще стакан вина и поднес его к губам, но я осмелился удержать его руку. Он приостановился. — Вы правы. — Он швырнул стакан в камин. — Давайте лучше считать деньги.

Я не решился противиться ему дольше: меня очень расстроило такое смятение в человеке, обычно так хорошо владевшем собою. Мы уселись за стол, пересчитали наличные деньги и упаковали их в свертки, чтобы полковнику Бэрку легче было захватить их с собой. Покончив с этим делом, мистер Генри вернулся в залу, где они с милордом просидели всю ночь, разговаривая со своим гостем.

Перед самым рассветом меня вызвали проводить полковника. Ему не по душе пришелся бы менее значительный провожатый, но он не мог претендовать на более достойного, потому что мистеру Генри не приличествовало иметь дело с контрабандистами. Утро было очень холодное и ветреное, и, спускаясь к берегу через кустарник, полковник кутался в свой плащ.

— Сэр, — сказал я. — Ваш друг нуждается в очень значительной сумме денег. Надо полагать, что у него большие расходы?

— Надо полагать, что так, — сказал он, как мне показалось, очень сухо, но, возможно, это было вызвано тем, что он прикрывал рот плащом.

— Я лишь слуга этой семьи, — сказал я. — Со мной вы можете быть откровенны. Я думаю, что он, вероятно, не принесет нам добра.

— Почтеннейший, — сказал полковник. — Баллантрэ — джентльмен, наделенный исключительными природными достоинствами, и я им восхищаюсь и почитаю самую землю, по которой он ступает. — А затем он запнулся, как человек, не знающий, что сказать.

— Все это так, — сказал я, — но нам-то от этого будет мало доброго.

— Само собой, у вас на этот счет может быть свое мнение, почтеннейший.

К этому времени мы уже дошли до бухточки, где его ожидала шлюпка.

— Так вот, — сказал он. — Конечно, я перед вами в долгу за всю вашу любезность, мистер, как бишь вас там, и просто на прощание и потому, что вы проявляете в этом деле такую проницательность и заинтересованность, я укажу вам на одно обстоятельство, которое небезынтересно будет знать вашим господам. Мне сдается, что друг мой упустил из виду сообщить им, что из всех изгнанников в Париже он пользуется самым большим пособием из Шотландского фонда,[25] и это тем большее безобразие, сэр, — выкрикнул разгорячившийся полковник, — что для меня у них не нашлось ни одного пенни!

При этом он вызывающе сдвинул шляпу набекрень, как будто я был в ответе за эту, несправедливость; затем снова напустил на себя надменную любезность, пожал мне руку и пошел к шлюпке, неся под мышкой сверток с деньгами и насвистывая чувствительную песню «Shule Aroon».[26]

Тогда-то я в первый раз услышал эту песню; мне еще суждено было услышать и слова и напев, но уже тогда запомнился куплет из нее, который звучал у меня в голове и после того, как контрабандисты зашипели на полковника: «Тише вы, черт вас подери!» — и все заглушил скрип уключин, а я стоял, смотря, как занималась заря над морем и шлюпка приближалась к люггеру, поставившему паруса в ожидании отплытия.

Брешь, пробитая в наших финансах, принесла нам много затруднений и, между прочим, заставила меня отправиться в Эдинбург. Здесь, для того чтобы как-нибудь покрыть прежний заем, я должен был на очень невыгодных условиях переписать векселя и для этого на три недели отлучился из Дэррисдира.

Некому было рассказать мне, что происходило там в мое отсутствие, но по приезде я нашел, что поведение миссис Генри сильно изменилось. Описанные мною беседы с милордом

прекратились, к мужу она относилась мягче и подолгу нянчилась с мисс Кэтрин. Вы можете предположить, что перемена эта была приятна мистеру Генри. Ничуть не бывало! Наоборот, каждый знак ее внимания только уязвлял его и служил новым доказательством ее затаенных мечтаний. До тех пор, пока Баллантрэ считался умершим, она гордилась верностью его памяти, теперь, когда стало известно, что он жив, она должна была стыдиться этого, что и вызвало перемену в ее поведении. Мне незачем скрывать правду, и я скажу начистоту, что, может быть, никогда мистер Генри не показывал себя с такой плохой стороны, как в эти дни. На людях он сдерживался, но видно было, что внутри у него все кипит. Со мной, от которого ему не для чего было скрываться, он бывал часто несправедлив и резок и даже по отношению к жене позволял себе иногда колкое замечание: то, когда она задевала его какой-нибудь непрошеной нежностью, то без всякого видимого повода, просто давая выход скрытому и подавленному раздражению. Когда он так забывался (что совсем не было в его привычках), это сразу отражалось на всех нас, а оба они глядели друг на друга с какимто сокрушенным изумлением.

Вредя себе этими вспышками, он еще больше вредил себе молчаливостью, которую с одинаковым основанием можно было приписать как великодушию, так и гордости. Контрабандисты приводили все новых гонцов от Баллантрэ, и ни один из них не уходил с пустыми руками. Я не осмеливался спорить с мистером Генри: он давал все требуемое в припадке благородной ярости. Может быть, сознавая за собой природную склонность к бережливости, он находил особое наслаждение в безоглядной щедрости, с которой выполнял требования своего брата. Положение было настолько ложное, что, пожалуй, заставило бы действовать так и более скромного человека. Но хозяйство наше стонало (если можно так выразиться) под этим непосильным бременем, мы без конца урезывали наши текущие расходы, конюшни наши пустели, в них оставались только четыре верховые лошади; слуги были почти все рассчитаны, что вызвало сильное недовольство во всей округе и только подогревало старую неприязнь к мистеру Генри. Наконец была отменена и традиционная ежегодная поездка в Эдинбург.

Случилось это в 1756 году. Вы не должны забывать, что целых семь лет этот кровопийца тянул все соки из Дэррисдира и что все это время патрон мой хранил молчание. Баллантрэ с дьявольской хитростью все свои требования направлял к мистеру Генри и никогда не писал ни слова об этом милорду. Семья, ничего не понимая, дивилась нашей экономии. Без сомнения, они сетовали на то, что патрон мой стал таким скупцом — порок, во всяком достойный сожаления, но особенно отвратительный в молодом человеке, а ведь мистеру Генри не было еще и тридцати лет. Но он смолоду вел дела Дэррисдира, и домашние переносили непонятные перемены все с тем же горделивым и горьким молчанием, вплоть до случая с поездкой в Эдинбург.

К этому времени, как мне казалось, патрон мой и его жена вовсе перестали видеться, кроме как за столом. Непосредственно после извещения, привезенного полковником Бэрком, миссис Генри сильно изменилась к лучшему: можно сказать, что она пробовала робко ухаживать за своим супругом, отказавшись от прежнего равнодушия и невнимания. Я не мог порицать мистера Генри за его отпор всем этим авансам, не мог ставить супруге в вину то, что она была уязвлена замкнутостью мужа. Но в результате последовало полное отчуждение, так что (как я уже говорил) они редко разговаривали, кроме как за столом. Даже вопрос о поездке в Эдинбург впервые был поднят за обедом, и случилось, что в этот день миссис Генри была нездорова и раздражительна. Едва она поняла намерения супруга, как румянец залил ее щеки.

— Ну, нет! — закричала она. — Это уж слишком!

Видит бог, не много радости приносит мне жизнь, а теперь я должна еще лишать себя моего единственного утешения! Пора покончить с этой позорной скупостью, мы и так уже стали притчей во языцех и позорищем в глазах соседей. От этого впору с ума сойти, и я этого не потерплю!

— Это нам не по средствам, — сказал мистер Генри.

— Не по средствам! — закричала она — Стыдитесь! И потом у меня ведь есть свои средства!

— По брачному контракту они принадлежат мне, сударыня, — огрызнулся он и тотчас вышел из комнаты.

Старый лорд воздел руки к небу, и оба они с дочкой, уединившись у камина, ясно намекали мне, что я лишний. Я нашел мистера Генри в его обычном убежище — в конторе. Он сидел на краю стола и угрюмо тыкал в него перочинным ножом.

— Мистер Генри, — сказал я. — Вы слишком несправедливы по отношению к себе, и пора это кончить.

— А! — закричал он. — Кому я здесь нужен? Для них это в порядке вещей. У меня позорные наклонности. Я скаредный пес! — И он воткнул нож в дерево по самую рукоятку. — Но я покажу этому негодяю, — закричал он с проклятием, — я покажу ему, кто из нас великодушнее!

— Да это не великодушие, — сказал я. — Это просто гордыня.

— В поучениях ваших я не нуждаюсь! — отрезал он.

Я полагал, что он нуждается в помощи и что я должен оказать ее, хочет он того или не хочет, поэтому как только миссис Генри удалилась к себе в комнату, я постучался к ней и попросил принять меня.

Она не скрыла своего удивления.

— Что вам от меня нужно, мистер Маккеллар? — спросила она.

— Бог свидетель, сударыня, — сказал я, — что я никогда не докучал вам своими вольностями, но сейчас слишком велик груз на моей совести, чтобы я мог промолчать. Можно ли быть такими слепцами, какими показали себя вы с милордом? Жить все эти годы с таким благородным джентльменом, как мистер Генри, и так плохо разбираться в его характере!

— Что это значит? — вскричала она.

— Да знаете ли вы, куда идут все его деньги? Его, и ваши, и все те деньги, которые скоплены на вине, в котором он себе отказывает за столом? — продолжал я. — В Париж! Этому человеку! Восемь тысяч фунтов получил он от нас за эти семь лет, и мой патрон имеет глупость хранить это в тайне!

— Восемь тысяч фунтов! — повторила она. — Это невозможно! Наше поместье не может дать столько…

— Один бог знает, как выжимали мы каждый фартинг, чтобы сколотить эти деньги, — сказал я. — Но как бы то ни было, нами послано восемь тысяч шестьдесят фунтов и сколько-то шиллингов. И если после этого вы станете считать моего хозяина скупцом, я не скажу больше ни слова.

— Вам и не надо больше ничего говорить, мистер Маккеллар, — сказала она. — Вы поступили вполне правильно в том, что с присущей вам выдержкой вы назвали вольностью. Я достойна порицания, вы, должно быть, считаете меня весьма невнимательной супругой (она поглядела на меня со странной усмешкой), но я все это сейчас же исправлю. Баллантрэ всегда был очень беззаботного нрава, но сердце у него превосходное, он воплощенное великодушие. Я сама напишу ему. Вы представить себе не можете, как огорчили меня своим сообщением!

— А я надеялся угодить вам, сударыня, — сказал я, внутренне негодуя, что она не перестает думать о Баллантрэ.

— И угодили, — сказала она. — Конечно, вы угодили мне.

В тот же день (не буду скрывать, что я за ними следил) я с удовлетворением увидел, как мистер Генри выходит из комнаты своей жены на себя не похожий. Лицо его было заплакано,

и все же он словно не шел, а летел по воздуху. По этому я заключил, что жена с ним объяснилась. «Ну, — думал я, — сегодня я сделал доброе дело!»

На другое утро, когда я сидел за конторскими книгами, мистер Генри, неслышно войдя в комнату, взял меня за плечи и потряс с шутливой лаской.

— Да вам, я вижу, нельзя доверять, Маккеллар, — сказал он и больше не прибавил ни слова, но в тоне его было заключено как раз обратное.

И я добился большего. Когда от Баллантрэ явился следующий гонец (чего не пришлось долго ожидать), он увез с собой только письмо. С некоторых пор все эти сношения были возложены на меня. Мистер Генри не писал ни слова, а я ограничивался самыми сухими и формальными выражениями. Но этого письма я даже не видел. Едва ли оно доставило владетелю Баллантрэ удовольствие, потому что теперь мистер Генри сознавал поддержку жены и в день отправки письма был в очень хорошем расположении духа.

Семейные дела шли лучше, хотя нельзя было сказать, что они идут хорошо. Теперь по крайней мере не было непонимания, и со всех сторон восстановилось доброжелательство. Я думаю, что мой патрон и его жена могли бы вполне примириться, если бы он мог спрятать в карман свою гордыню, а она могла бы забыть (в этом было основное) свои мечты о другом. Удивительное дело, как сказываются во всем самые затаенные мысли; для меня и посейчас удивительно, как покорно мы следовали за изменениями ее чувств. Хотя теперь она была спокойна и обращалась со всеми ровно, мы всегда чувствовали, когда мыслью она была в Париже. Как будто разоблачения мои не должны были опрокинуть этого идола! Но что поделаешь! Каждой женщиной владеет дьявол: столько прошло лет, ни одной встречи, ни даже воспоминаний о его чувстве, которого не было, уверенность, что он умер, а потом раскрывшаяся ей бессердечная его алчность, — все это не помогало, и то, что она лелеяла в своем сердце именно этого негодяя, способно было взбесить всякого порядочного человека. Я никогда не питал особой склонности к любовным чувствам, а эта безрассудная страсть жены моего хозяина вконец отвратила меня от подобных дел. Помнится, я разбранил служанку за то, что она распевала, когда я был погружен в свои размышления. Моя суровость восстановила против меня всех вертихвосток в доме, что меня мало трогало, но весьма забавляло мистера Генри, который потешался над тем, что мы товарищи по несчастью.

Странное дело (ведь моя мать была тем, что называют солью земли, а тетка моя Диксон, платившая за мое обучение в университете, — достойнейшая женщина), но я никогда не питал склонности к особам женского пола, да и понимал их, должно быть, плохо. А будучи далеко не развязным мужчиной, я к тому же и сторонился их общества. У меня тем менее оснований раскаиваться в этом, что я неоднократно замечал, к каким гибельным последствиям приводила неосмотрительность других людей. Все это я счел нужным изложить для того, чтобы не казаться несправедливым по отношению к одной миссис Генри. И, кроме того, замечание это само собой пришло мне в голову при перечитывании письма, которое было следующим звеном этого запутанного дела и, к моему искреннему удивлению, было доставлено мне частным образом через неделю или две после отбытия последнего гонца.

Письмо полковника Бэрка (позднее кавалера)
мистеру Маккcллару:
Труа в Шампани 12 июля 1756 года.

Дорогой сэр, вы, без сомнения, будете изумлены, по лучив это письмо от человека, столь мало вам известного. Но в тот день, когда я имел счастье повстречать вас в Дэррисдире, я отметил в вас, несмотря на вашу молодость, надежную твердость характера — качество, которым я восхищаюсь почти так же, как природной одаренностью и рыцарским духом смелого солдата. К тому же я принял живейшее участие в судьбе благородной семьи, которой вы имеете честь служить с такой преданностью, или, вернее, быть ее скромным, но уважаемым другом, разговор с которым в утро моего отъезда доставил мне искреннее удовольствие и произвел на меня глубокое впечатление. На днях, отлучившись на побывку в

Париж из этого достославного города, где я несу гарнизонную службу, я осведомился о вашем имени (которое, сознаюсь, позабыл) у моего друга Б, и, пользуясь благоприятной оказией, пишу вам, чтобы сообщить новости.

Когда мы последний раз беседовали с вами о моем друге, он, как я, кажется, говорил вам, пользовался весьма щедрым пособием из Шотландского фонда. Вскоре он получил роту, а затем не замедлил стать полковником. Мой дорогой сэр, не стану объяснять вам обстоятельств этого дела, ни того, почему я сам, бывший правой рукой принца, был отослан в провинцию гнить в этой дыре. Как ни привычен я ко двору, но не могу не признать, что не место там простому солдату, и сам я никогда не надеялся возвыситься подобным путем, если бы даже сделал эту попытку. Но наш друг обладает особой способностью преуспевать, пользуясь покровительством женщин, и если правда то, что я слышал, на этот раз у него была весьма высокая покровительница. Именно это и обернулось против него, потому что, когда я имел честь в последний раз пожимать его руку, он только что был выпущен из Бастилии, куда был заточен по секретному приказу; и сейчас, хотя и освобожденный, лишился и своего полка и пенсии. Мой дорогой сэр, верность честного ирландца в конце концов восторжествует над всеми уловками и хитростями, в чем джентльмен вашего образа мыслей, вероятно, со мной согласится.

Так вот, сэр Баллантрэ — человек, талантами которого я восторгаюсь, и к тому же он мой друг, и я считаю нелишним сообщить вам о постигших его превратностях судьбы, так как, на мой взгляд, он сейчас в полном отчаянии. Когда я его видел, он говорил о поездке в Индию (куда и сам я надеюсь сопровождать своего знаменитого соотечественника мистера Лалли[27]); но для этого, насколько я понимаю, он нуждается в сумме, намного превышающей ту, которая находится в его распоряжении. Вы, должно быть, слышали военную поговорку: полезно мостить золотом путь отступающему врагу? Так вот, уверенный в том, что вы поймете смысл этого напоминания, остаюсь с должным почтением к лорду Дэррисдиру, его сыну и прелестнейшей миссис Дьюри, мой дорогой сэр,

ваш покорный слуга *Фрэнсис Бэрк.*

Письмо это я тотчас отнес мистеру Генри; и я думаю, что обоими нами в эту минуту владела одна мысль: что письмо запоздало на неделю. Я поспешил послать полковнику Бэрку ответ, в котором просил его уведомить Баллантрэ при первой же возможности, что следующий его гонец будет снабжен всем необходимым. Но, как я ни спешил, я не мог предотвратить неизбежное; лук был натянут, стрела уже вылетела. В пору было усомниться в способности провидения (и его желании) остановить ход событий; и странно сейчас вспоминать, как усердно, как долго и слепо подготовляли все мы надвигавшуюся катастрофу.

С этого дня я держал у себя в комнате подзорную трубу и стал при случае расспрашивать арендаторов, и так как контрабанда в нашей округе велась почти что в открытую, вскоре я уже знал все их сигналы и мог с точностью до одного часа определить возможное появление очередного гонца. Повторяю, расспрашивал я арендаторов потому, что сами контрабандисты были отчаянные головорезы, всегда вооруженные, и я с большой неохотой вступал с ними в какие-либо сношения. Более того (и это впоследствии повредило делу), я вызывал особую неприязнь кое у кого из этих разбойников. Они не только окрестили меня недостойной кличкой, но, поймав как-то ночью в глухом закоулке и будучи (как сами сказали бы) навеселе, они потехи ради заставили меня плясать. Они тыкали мне в ноги тесаками, распевая при этом на все лады: «Квакер, квакер,[28] попляши». Хотя они и не причинили мне телесных повреждений, я был до того потрясен, что на несколько дней слег в постель от этого поношения, настолько позорного для Шотландии, что оно не нуждается в комментариях.

К вечеру седьмого ноября того же злосчастного года, прогуливаясь по берегу, я заметил дымок маячного костра на Мэкклроссе. Пора было возвращаться, но в тот день мною владело

такое беспокойство, что я пробрался сквозь заросли к мысу Крэг. Солнце уже село, но на западе небо еще было светлое, и я мог разглядеть контрабандистов, затаптывающих свой сигнальный костер на Россе, а в бухте — люггер с убранными парусами. Он явно только что бросил якорь, но уже спущена была шлюпка, которая приближалась к причалу возле густого кустарника. Все это, как я знал, могло означать только одно — прибытие гонца в Дэррисдир.

Я отбросил все свои страхи, спустился по крутому обрыву, на что раньше никогда не отваживался, и спрятался в кустарнике, как раз в ту минуту, когда шлюпка причалила к берегу. За рулем сидел сам капитан Крэйл — вещь необычная; рядом с ним сидел пассажир; а гребцам приходилось трудно: так завалена была шлюпка саквояжами и сумками, большими и малыми. Но выгрузку провели быстро и умело, багаж сложили на берегу, шлюпка повернула к люггеру, а пассажир остался один на прибрежной скале. Это был высокий стройный мужчина, одетый во все черное, при шпаге и с тростью в руке. Ею он помахал капитану Крэйлу жестом грациозным, но и насмешливым, который запомнился мне навсегда.

Лишь только отчалила шлюпка с моими заклятыми врагами, я, собравшись с духом, выбрался из кустарника и тут вновь остановился, разрываясь между естественным недоверием и смутным предчувствием истины. Так я, должно быть, и простоял бы в нерешимости всю ночь, если бы, обернувшись, приезжий не разглядел меня в дымке сгущавшегося тумана. Он помахал мне рукой и крикнул, чтобы я приблизился. Я повиновался ему с тяжелым сердцем.

— Послушайте, милейший, — сказал он чистым английским говором, — вот тут кое-какая кладь для Дэррисдира.

Я приблизился настолько, что мог теперь рассмотреть его: хорошо сложен и красив, смугл, худощав и высок, с быстрым, живым взглядом черных глаз, с осанкой человека, привыкшего сражаться и командовать; на щеке у него была родинка, нисколько его не безобразившая, на пальце сверкал перстень с крупным бриллиантом. Черное его платье было модного французского покроя; кружева у запястья несколько длиннее обычного и превосходной работы, и тем удивительнее было видеть такой наряд у человека, только что высадившегося с грязного люггера контрабандистов. К этому времени и он пригляделся ко мне, пронизывая меня своим острым взглядом, потом улыбнулся.

— Бьюсь об заклад, мой друг, — сказал он, — что я знаю и ваше имя и даже прозвище. По вашему почерку, мистер Маккеллар, я предвидел именно такое платье.

Услышав это, я весь задрожал.

— О, — сказал он, — вам нечего меня бояться. Я не в претензии за ваши скучные письма и намереваюсь нагрузить вас рядом поручений. Называйте меня мистером Балли, я принял это имя, или, вернее (поскольку я имею дело с таким педантом, как вы), сократил мое собственное. Теперь возьмите это и вот это, — он указал на два саквояжа, — их-то вы, я надеюсь, донесете, а остальное может подождать. Ну же, не теряйте времени даром!

Тон его был так резок и повелителен, что я инстинктивно повиновался, не в силах собраться с мыслями. Не успел я поднять его саквояжей, как он повернулся ко мне спиной и зашагал по дорожке, уже погруженной в полутьму густой тени вечнозеленого кустарника. Я следовал за ним, сгибаясь под тяжестью своей ноши и почти не сознавая ее, — так ужасала меня чудовищность этого возвращения и так беспорядочно неслись мои мысли.

Внезапно я остановился и опустил на землю саквояжи. Он обернулся и посмотрел на меня.

— Ну? — спросил он.

— Вы владетель Баллантрэ?

— Вы должны по чести признать, — сказал он, — что я не играл в прятки с проницательным мистером Маккелларом.

— Во имя бога! — закричал я. — Что привело вас сюда? Уходите, пока еще не поздно.

— Благодарю вас, — отозвался он. — Выбор сделан вашим хозяином, а не мной, ну, а коли так, то, значит, он (и вы тоже) должны отвечать за последствия. А теперь поднимите-ка мои вещи, которые вы опустили в самую лужу, и впредь занимайтесь тем делом, на которое я вас поставил.

Но теперь я уже не думал о послушании, я подошел к нему вплотную.

— Если ничто не может побудить вас повернуть назад, — сказал я, — хотя, принимая во внимание все обстоятельства, каждый христианин или хотя бы джентльмен не решился бы идти вперед.

— Какие восхитительные обороты! — прервал он меня.

— Если ничто не может побудить вас повернуть назад, — продолжал я, — то все же должно соблюдать приличия. Подождите здесь с вашим багажом, а я пойду вперед и подготовлю вашу семью. Отец ваш в преклонных летах, и… — тут я запнулся — …должно же соблюдать приличия.

— Ого, — сказал он. — Ай да Маккеллар! Он выигрывает при ближайшем знакомстве. Но только имейте в виду, милейший, раз навсегда зарубите себе на носу: не тратьте на меня своего красноречия, меня вы с дороги не своротите!

— Вот как? — сказал я. — Ну, это мы посмотрим!

И, круто повернувшись, я направился по дороге в Дэррисдир. Он пытался меня задержать и что-то сердито кричал, а потом, как мне показалось, засмеялся. Он даже пробовал догнать меня, но, должно быть, сейчас же отказался от этого намерения. Во всяком случае, через несколько минут я добежал до дверей дома, полузадохшийся, но без спутника. Я взбежал прямо по лестнице в залу и, очутившись перед всей семьей, не мог произнести ни слова. Но, должно быть, вид мой сказал им достаточно, потому что все они поднялись с мест и уставились на меня, как на привидение.

— Он приехал, — выговорил я наконец.

— Он? — спросил мистер Генри.

— Он самый, — сказал я.

— Мой сын? — воскликнул милорд. — Безрассудный! Безрассудный мальчик! Как мог он покинуть места, где был в безопасности?!

Ни слова не сказала мисс Генри, и я не взглянул на нее, сам не знаю почему.

— Так, — произнес мистер Генри, едва переводя дыхание. — И где же он?

— Я оставил его на дорожке в кустах.

— Проведите меня к нему, — сказал он.

Мы пошли, он и я, не говоря ни слова, и на мощеной дорожке повстречали Баллантрэ. Он шел, насвистывая и помахивая тростью. Было еще достаточно светло, чтобы узнать его, хотя и трудно разглядеть выражение его лица.

— Ба! Да это Иаков! — воскликнул Баллантрэ. — А Исав-то вернулся.

— Джемс, — сказал мистер Генри, — ради бога, называй меня по имени. Я не буду прикидываться, что рад тебе, но по мере сил постараюсь обеспечить тебе гостеприимство в доме отцов.

— Почему не в моем доме? Или, может быть, в твоем? — сказал Баллантрэ. — Ты как предпочел бы выразиться? Но это старая рана, и лучше ее не касаться. Раз ты не пожелал содержать меня в Париже, то, надеюсь, не лишишь своего старшего брата его места у родимого очага в Дэррисдире?

— К чему все это? — ответил мистер Генри. — Ты прекрасно понимаешь все выгоды твоего положения.

— Что ж, не буду этого отрицать, — сказал тот с легким смешком.

И этим (они так и не протянули друг другу руки), можно сказать, и кончилась встреча братьев, потому что вслед за тем Баллантрэ обернулся ко мне и приказал принести его вещи.

Я, со своей стороны, — возможно, несколько вызывающе — обернулся к мистеру Генри, ожидая подтверждения этого приказа.

— На время пребывания у нас моего брата, мистер Маккеллар, вы меня очень обяжете, выполняя его желания, как мои собственные, — сказал мистер Генри. — Мы все время обременяем вас поручениями; но не будете ли вы добры послать за вещами кого-нибудь из слуг? — Он подчеркнул последнее слово.

Смысл этого обращения явно заключал заслуженный упрек пришельцу, но таково было его дьявольское бесстыдство, что он обернул его по-своему.

— А выражаясь без прикрас, проваливайте! — сказал он елейным тоном и поглядывая на меня искоса.

Никакие блага в мире не принудили бы меня заговорить, даже позвать слугу было свыше моих сил. Я предпочитал сам служить этому человеку, лишь бы только не открывать рта. Поэтому я молча повернулся и пошел по дорожке к кустарнику с сердцем, исполненным гнева и отчаяния. Под деревьями было уже темно, и я шел, совсем позабыв зачем, пока чуть было не сломал себе шею, споткнувшись о саквояжи. И странное дело. До того я, не замечая тяжести, тащил оба саквояжа, теперь же едва мог управиться с одним. И это обстоятельство, заставив меня сделать два конца, отсрочило мое возвращение в залу.

Когда я вошел туда, с приветствиями было уже покончено, семья сидела за ужином и по недосмотру, уязвившему меня до глубины души, мне на столе не было поставлено прибора. До сих пор я видел одну сторону характера Баллантрэ, теперь мне предстояло увидеть и другую. Именно Баллантрэ первым заметил мое появление и некоторое замешательство. Он вскочил со стула.

— Так это я занял место добрейшего Маккеллара! — вскричал он. — Джон, поставь прибор мистеру Балли! Клянусь, я никого не потревожу, а стол достаточно велик для всех нас.

Я не верил ушам, — до того дружелюбно звучал его голос, — и счел обманом чувств, когда он взял меня за плечи и, смеясь, усадил на мое место. И пока Джон ставил ему новый прибор, он подошел к креслу отца и наклонился над стариком, а тот поднял взор на сына, и они поглядели друг на друга с такой спокойной нежностью, что я невольно протер глаза вне себя от изумления.

Но и дальше все шло в том же духе. Ни одного резкого слова, ни одной кривой усмешки. Он отбросил даже свой резкий английский говор и стал говорить на родном шотландском наречии, что придавало особую прелесть его почтительным речам; и хотя манеры его отличались изысканностью, чуждой простым нравам Дэррисдира, все же это была не навязчивая учтивость, которая унижала бы нас, — напротив, она была нам приятна. В продолжение всего ужина он с большим почтением чокался со мною, оборачивался, чтобы сказать милостивое слово Джону, нежно поглаживая руку отца, рассказывал забавные случаи из своих приключений, с умилением вспоминал старые дни в Дэррисдире — словом, поведение его было так чарующе, а сам он так обаятелен и красив, что я не удивлялся тому, что милорд и миссис Генри сидели за столом с сияющими лицами, а Джон прислуживал нам, роняя слезы из глаз.

Как только ужин окончился, миссис Генри поднялась, чтобы уйти.

— Это не было у вас в обычае, Алисой, — сказал он.

— Теперь я всегда так делаю, — ответила она, что было неправдой, — и я желаю вам доброй ночи. Джемс, и приветствую вас — воскресшего… — сказала она, и голос ее пресекся и задрожал.

Бедный мистер Генри, которому и так несладко пришлось за столом, был теперь в полном смятении: его радовало, что жена уходит, огорчала сама причина этого, наконец, ошеломила горячность ее слов.

Со своей стороны, я подумал, что я здесь лишний, и собирался последовать за миссис Генри, но Баллантрэ заметил мое намерение.

— Что вы, мистер Маккеллар, — сказал он. — Я сочту это за прямую неприязнь. Я не могу допустить, чтобы вы ушли, это значило бы, что вы считаете меня не просто блудным сыном, но и чужаком, и позвольте напомнить вам, где — в собственном отчем доме! Нет, садитесь и выпейте еще стаканчик с мистером Балли.

— Да! Да, мистер Маккеллар, — сказал милорд, — не надо считать чужим ни его, ни вас. Я уже говорил моему сыну, — прибавил он, и лицо его просветлело, что бывало каждый раз при этом слове, — как высоко ценим мы ваши дружеские услуги.

Я уселся на свое место и просидел молча до своего обычного часа. Возможно, меня обмануло бы поведение этого человека, если бы не одно обстоятельство, обнаружившее коварство его натуры. Вот это обстоятельство, на основании которого каждый прочитавший вышеизложенное может делать собственные заключения. Мистер Генри сидел угрюмый, несмотря на все свои старания не выдавать себя в присутствии милорда, как вдруг Баллантрэ вскочил с места, обошел вокруг стола и хлопнул брата по плечу.

— Ну, полно, Гарри, Малыш, — сказал он, должно быть, применяя прозвище их детских лет, — тебя не должно печалить то, что брат твой воротился домой. Здесь все твое, и безо всякого спору, так что я вовсе на тебя не в обиде. Но и ты не должен сердиться на то, что я занял свое место у отцовского очага.

— Он правду говорит, Генри, — сказал старый лорд, слегка нахмурившись, что с ним редко бывало. — Ты оказался в положении старшего брата из притчи, и будь великодушен, не таи зла на брата своего.

— Мне так легко приписать все худое, — сказал мистер Генри.

— Да кто собирается приписывать тебе худое? — закричал милорд довольно резко для такого обходительного человека. — Ты тысячу раз заслужил мою благодарность и благодарность брата и можешь полагаться на нее крепко. И довольно об этом!

— Да, Гарри, на постоянство моих чувств к тебе ты вполне можешь положиться, — сказал Баллантрэ, и мне показалось, что в глазах мистера Генри сверкнула ярость, когда он взглянул на брата.

Вспоминая о прискорбных событиях, которые за этим последовали, я до сих пор повторяю четыре вопроса, волновавшие меня тогда: была ли у этого человека сознательная вражда к мистеру Генри? Или, может быть, им руководил корыстный расчет? Или просто наслаждение собственной жестокостью, которое мы наблюдаем в кошке и которое богословы приписывают дьяволу? Или, может быть, то, что он назвал бы любовью? По моему крайнему разумению, дело было в трех первых причинах, но может быть, в его поведении сказывались и все четыре. Тогда враждебностью к мистеру Генри можно было бы объяснить ту ненависть, которая проявлялась в нем, когда они были одни; расчет объяснял бы совершенно иное поведение в присутствии милорда; надежда на взаимность побуждала его оказывать внимание миссис Генри; а наслаждение, доставляемое коварством, — тратить столько усилий на эту сложную и своенравную игру.

Отчасти потому, чти я открыто держал сторону моего патрона, отчасти же и потому, что в своих письмах в Париж часто допускал упреки, я также был включен в число жертв его дьявольской забавы. Когда мы оставались наедине, он осыпал меня насмешками; при хозяевах он обращался со мной с дружелюбной снисходительностью. Это было не только само по себе

тягостно, не только ставило меня постоянно в ложное положение, но заключало в себе неописуемую обиду. То; что он так пренебрегал мной в этой игре, как бы считая меня недостойным иметь о ней собственное мнение, бесило меня чрезвычайно. Но дело тут вовсе не во мне. Я упоминаю об этом только потому, что это принесло свою пользу, дав мне представление о муках, переживаемых мистером Генри.

Именно на него легло основное бремя. Как было ему любезничать на людях с тем, кто наедине не пропускал случая уязвить его? Как мог он отвечать улыбкой обманщику и обидчику? Он был обречен на роль неблагодарного. Он был обречен на молчание. Даже будь он не так горд, не храни он молчание, кто поверил бы правде? Расчетливое коварство принесло свои плоды: милорд и миссис Генри были ежедневно свидетелями происходящего; они и на суде могли бы поклясться, что Баллантрэ был образцом терпения и благожелательности, а мистер Генри — ходячей завистью и неблагодарностью. И как ни отвратительно было бы это в каждом, в мистере Генри это было вдесятеро отвратительнее: кто мог забыть, что Баллантрэ рискует на родине жизнью и что он уже потерял и невесту, и титул, и состояние.

— Генри, не прокатиться ли нам верхом? — спросит, например, Баллантрэ.

И мистер Генри, которого тот, не переставая, бесил все утро, буркнет:

— Нет, не хочу.

— Мне кажется, ты мог бы говорить со мной поласковей, — грустно заметит лукавец.

Я привожу это лишь к примеру, такие сцены разыгрывались непрестанно. Неудивительно, что мистера Генри осуждали, неудивительно и то, что я был близок к разлитию желчи. Да при одном воспоминании об этом у меня становится горько во рту!

Никогда еще на свете не было подобного дьявольского измышления; такого коварного, такого простого, такого неуязвимого. Но все же я думаю сейчас, как думал и всегда, что миссис Генри могла бы читать между строк, могла бы лучше разбираться в характере своего мужа; после стольких лет замужества могла бы завоевать или вынудить его доверие. Да и милорд тоже — такой наблюдательный джентльмен, — где была вся его проницательность? Но, во-первых, обман осуществлялся мастерски и мог усыпить самого ангела-хранителя. Во-вторых (и это касается миссис Генри), я давно замечал, что нет людей более далеких, чем те, кто охладел в супружестве, — они словно глухи друг к другу, и нет у них общего языка. В-третьих (и это касается обоих наблюдателей), оба они — и отец и жена — были слишком ослеплены своей давнишней, неискоренимой привязанностью к Баллантрэ. И, в-четвертых, опасность, которой, как полагали, подвергался Баллантрэ (как полагали, говорю я, и вы скоро узнаете, почему), заставляла их считать тем более невеликодушной всякую критику его поступков и, поддерживая в них постоянную нежную заботу о его жизни, делала слепыми к его порокам.

Именно тогда я до конца понял все значение хороших манер и горько оплакивал собственную неотесанность. Мистер Генри был истый джентльмен; в минуты подъема и когда этого требовали обстоятельства, он мог держать себя с достоинством и воодушевлением, но в каждодневном обиходе (напрасно было бы отрицать это) он пренебрегал светскими приличиями. Баллантрэ (с другой стороны) не делал ни одного необдуманного движения. И вот каждый шаг и каждый жест обоих как бы подтверждали мнение об утонченности одного и грубости другого. И более того: чем крепче мистер Генри запутывался в сетях брата, тем связаннее становилось его поведение, и чем больше Баллантрэ наслаждался злобной забавой, тем обаятельней, тем радушней он выглядел! Так замысел его укреплялся самым ходом своего развития.

Человек этот с большим искусством использовал тот риск, которому (как я уже говорил) он якобы подвергался. Он говорил о нем тем, кто его любил, с веселой небрежностью, которая делала положение его еще трогательней. А по отношению к мистеру Генри он применял то же как оружие жестоких оскорблений. Помню, как однажды, когда мы втроем были одни в зале, он указал пальцем на простое стекло в цветном витраже.

— Его вышибла твоя счастливая гинея, Иаков, — сказал он. И когда мистер Генри только угрюмо взглянул на него в ответ, прибавил: — О, не гляди на меня с такой бессильной злобой, милая мушка! Ты можешь в любой момент избавиться от своего паука. Доколе, о господи? Когда же наконец ты скатишься до предательства, мой совестливый братец? Уже это одно удерживает меня в нашей дыре. Я всегда любил эксперименты.

И так как мистер Генри, нахмурившись и весь побледнев, продолжал глядеть на него, Баллантрэ в Конце концов захохотал и хлопнул его по плечу, обозвав цепным псом. Мой патрон отскочил с жестом, который мне показался угрожающим, и, по-видимому, Баллантрэ был того же мнения, потому что он как-то смутился, и я уж не помню, чтобы он еще когда-либо прикасался к мистеру Генри.

Но хотя грозившая ему опасность не сходила у него с уст, поведение его казалось мне до странности неосторожным, и я начал думать, что правительство, назначившее награду за его голову, крепко уснуло. Не стану отрицать, что не раз меня подмывало донести на него, но два соображения меня удерживали: первое, что, если он окончит свою жизнь, как подобает дворянину — на почетном эшафоте, он в памяти отца и жены моего патрона навсегда останется в ореоле мученика; и второе, что если я хотя бы стороною буду замешан в этом деле, то не избежать подозрений и мистеру Генри.

А тем временем наш враг появлялся всюду с непостижимой для меня беззаботностью. То, что он возвратился домой, было известно по всей округе, и тем не менее его никто не беспокоил. Из столь многочисленных и столь разных свидетелей его возвращения не находилось ни одного, достаточно верного престолу или хотя бы достаточно алчного, как твердил я в своей бессильной злобе; и Баллантрэ свободно разъезжал повсюду, встречаемый в силу давнишней нелюбви к мистеру Генри гораздо радушнее своего брата и пользуясь гораздо большей безопасностью, чем даже я, вечно дрожавший перед контрабандистами.

Не то чтобы и у него не было своих забот; о них я теперь и поведу речь, так как это имело свои серьезные последствия. Надеюсь, читатель не забыл Джесси Браун. Она якшалась с контрабандистами, среди ее приятелей был сам капитан Крэйл, и она одна из первых узнала о пребывании в Дэррисдире мистера Балли. По-моему, она давно уже была совершенно безразлична к Баллантрэ, но у нее вошло в привычку постоянно связывать свои горести с его именем. На этом было основано все ее ломанье, и вот теперь, когда он вернулся, она сочла за долг околачиваться по соседству с Дэррисдиром. Не успевал Баллантрэ выехать за ворота, как она уж тут как тут: в растерзанном виде, чаще всего нетрезвая, она исступленно приветствовала своего «милого дружка», выкрикивала чувствительные стишки и, как мне передавали, даже пыталась поплакать на его груди. Признаюсь, что я умыл руки и даже был рад этим домогательствам, но Баллантрэ, который других подвергал таким испытаниям, сам менее кого-либо был способен их выносить. И вокруг замка разыгрывались престранные сцены. Говорили, что он прибегал к трости, а Джесси обращалась к своему излюбленному оружию — камням. Вполне достоверно, что он предложил капитану Крэйлу избавить его от этой женщины — предложение, которое капитан Крэйл отверг с несвойственной ему горячностью. И в конце концов победа осталась за Джесси. Собраны были деньги, состоялось свидание, при котором мой гордый джентльмен вынужден был подвергнуться лобызаниям и оплакиванию, после чего женщина эта открыла собственный кабак где-то близ Солуэя (точно не помню, где) и, по тем сведениям, которые однажды дошли до меня, обзавелась самой низкопробной клиентурой.

Но это значит забегать много вперед. А тогда, когда Джесси только начала преследовать Баллантрэ, он однажды явился в контору и сказал тоном гораздо более вежливым, чем обычно:

— Маккеллар, одна полоумная девка не дает мне проходу. Самому мне ввязываться в это дело неудобно, поэтому я обращаюсь к вам. Будьте добры, займитесь этим: слуги должны получить строгое приказание гнать ее прочь.

— Сэр, — сказал я не без внутренней дрожи, — ваши грязные делишки вы можете распутывать сами.

Не говоря ни слова, он покинул комнату.

Вскоре появился мистер Генри.

— Вот еще новости! — закричал он. — Мало мне унижений, так вы еще подбавляете? Вы что же это — оскорбили мистера Балли?

— С вашего соизволения, мистер Генри, осмелюсь возразить, что это он оскорбил меня, и притом весьма грубо, — сказал я. — Но возможно, что, отвечая, я упустил из виду ваше положение. И когда вы узнаете обстоятельства дела, дорогой патрон, вам достаточно сказать лишь слово. Ради вас я готов повиноваться ему во всем и даже, да простит мне бог, взять грех на душу, — и затем я рассказал ему, как было дело.

Мистер Генри усмехнулся, и более сумрачной усмешки я еще не видывал.

— Вы поступили правильно, — сказал он. — Пусть пьет свою Джесси Браун до дна. — И, заметив брата на дворе, он открыл окно и, окликнув его, пригласил зайти в комнату переговорить.

— Джемс, — сказал он, когда наш мучитель вошел и затворил за собой дверь, глядя на меня с торжествующей улыбкой в ожидании, что я буду унижен. — Джемс, ты пришел ко мне с жалобой на мистера Маккеллара, которую я расследовал. Надо ли говорить, что его словам я всегда поверю больше, чем твоим; мы тут одни, и я могу брать пример с твоей собственной откровенности. Мистер Маккеллар — джентльмен, которым я дорожу; и потрудись, пока живешь под этой кровлей, не вступать более в ссору с тем, кого я буду поддерживать, чего бы это ни стоило мне и моей семье. А что касается поручения, с которым ты к нему обратился, ты сам должен разделываться с последствиями своей жестокости, и ни один из моих слуг ни в коем случае не должен быть помощником в этом деле.

— Слуг моего отца, не так ли? — сказал Баллантрэ.

— Иди к нему с этим сам, — сказал мистер Генри.

Баллантрэ весь побелел. Он указал на меня пальцем.

— Я требую, чтобы этот человек был уволен.

— Этого не будет! — сказал мистер Генри.

— Ты за это дорого заплатишь! — прошипел Баллантрэ.

— Я уже так много заплатил за преступления брата, — сказал мистер Генри, — что я полный банкрот, даже по части страха. Да на мне живого места нет, по которому ты мог бы ударить!

— Ну, об этом ты скоро узнаешь, — сказал Баллантрэ и выскользнул из комнаты.

— Что он теперь затеет, Маккеллар! — воскликнул мистер Генри.

— Отпустите меня, — сказал я. — Дорогой мой патрон, отпустите меня; я послужу причиной новых несчастий.

— Вы хотите оставить меня совсем одного? — сказал он.

Нам скоро стало ясно, какой новый подкоп готовит Баллантрэ. Вплоть до этого дня он вел по отношению к миссис Генри очень сдержанную игру. Он явно избегал оставаться с ней наедине, что в то время казалось мне соблюдением приличий, а теперь представляется коварным маневром; он встречался с ней, по-видимому, только за столом и вел себя при встречах, как подобает любящему брату. Вплоть до этого дня он, можно сказать, не становился открыто между мистером Генри и его женой, если не считать того, что выставлял перед ней мужа в самом неприглядном свете. Теперь все изменилось; но потому ли, что он действительно мстил, или же, скучая в Дэррисдире, просто искал развлечения, про то один дьявол ведает.

Во всяком случае, с этого дня началась осада миссис Генри, и притом столь искусная, что едва ли она сама что-либо замечала, а супруг ее принужден был оставаться молчаливым свидетелем. Первая линия апрошей[29] была заложена как бы невзначай. Однажды разговор, Как это часто бывало, зашел об изгнанниках во Франции, а затем коснулся их песен.

— Если вас это интересует, — сказал Баллантрэ, — я расскажу вам про одну песню, которая меня всегда трогала. Слова ее грубоваты, но меня, может быть, именно в моем положении, она задевала за самое сердце. Должен вам сказать, что поется она от лица возлюбленной изгнанника, и выражена в ней, может быть, не столько правда о том, что она думает, сколько надежда и вера бедняги там, в далеком изгнании.

Тут Баллантрэ вздохнул:

— И какое же это трогательное зрелище, когда десяток грубых ирландцев в караульной затянут ее и по слезам, катящимся из их глаз, видно, как она их пробирает! А поется она вот как, милорд, — сказал он, весьма искусно втягивая в разговор отца. — Но если я не смогу допеть ее, то знайте, что это часто бывает у нас, изгнанников. — И он запел на тот же мотив, который насвистывал в свое время полковник.

Слова песни, действительно непритязательные, очень трогательно передавали тоску бедной девушки по своему далекому возлюбленному; один куплет до сих пор звучит у меня в ушах:

На красную юбку сменю я тартан[30]

И с малюткой моим по дорогам цыган

Буду бродить, пока из тех стран

Не воротится Вилли мой!

Он пел искусно, но еще искуснее играл. Я видел знаменитых актеров, которые заставляли плакать весь Эдинбургский театр, — на это стоило поглядеть; но надо было видеть Баллантрэ, когда, исполняя эту неприхотливую балладу, он как бы играл душами своих слушателей, то делая вид, что близок к обмороку, то как бы подавляя свои чувства. Слова и музыка будто сами лились из его сердца, порожденные его собственным прошлым, и обращены они были прямо к миссис Генри. Искусство его этим не ограничивалось: намек был так тонок, что никто не смог бы упрекнуть его в предумышленности, — он не только не выставлял напоказ своих чувств, но можно было поклясться, что он всеми силами их сдерживает.

Когда он кончил, все мы с минуту сидели в молчании; время он выбрал вечернее, так что в сумерках никто из нас не видел лица даже своего соседа, по казалось, что все затаили дыхание, только старый милорд откашлялся. Первым пошевелился сам певец: он внезапно, но мягко поднялся с места и, отойдя в дальний конец залы, стал неслышно расхаживать там взад и вперед, как это, бывало, делал мистер Генри. Нам предоставлялось предполагать, что он успокаивает последний порыв чувства, потому что вскоре он присоединился к нам и своим обычным тоном начал обсуждать характер ирландцев (о которых так часто неверно судят и которых он защищал); так что когда внесли свечи, мы уже заняты были обычным разговором. Но даже и тогда как мне показалось, лицо миссис Генри было бледно, и к тому же она почти тотчас покинула нас.

Другим маневром была дружба, которую этот злой дух завел с невинным младенцем, мисс Кэтрин. Они теперь всегда были вместе, гуляли рука об руку, как двое ребят, или же она взбиралась к нему на колени. Как и все его дьявольские затеи, это преследовало сразу несколько целей. Это был последний удар для мистера Генри, сознававшего, что его единственное дитя восстанавливают против него; это заставляло его быть резким с ребенком и еще пуще роняло в глазах жены; это, наконец, служило каким-то связующим звеном между миледи и Баллантрэ. Былая сдержанность их с каждым днем таяла. Вскоре последовали долгие прогулки по аллеям, беседы на балконе и бог весть какие еще нежности. Несомненно, миссис Генри была, как и многие другие, порядочной женщиной, она знала свой долг, но позволяла

себе кое-какие поблажки. И даже такому недогадливому наблюдателю, как я, было ясно, что нежность ее не просто родственное чувство. Интонации ее голоса сделались богаче и гибче, глаза светились ярче и нежнее; она стала мягче в обращении со всеми, даже с мистером Генри, даже со мной; казалось, что она упивается тихим, меланхолическим счастьем.

И какое, должно быть, мучение было мистеру Генри смотреть на все это! А между тем, как я сейчас расскажу, именно это и принесло нам избавление.

Баллантрэ жил у нас с единственной целью (как бы он ее ни прикрашивал) выкачать побольше денег. Он задумал искать счастья во Французской Ост-Индии, как об этом писал мне кавалер; и он явился к нам для того, чтобы получить потребные для путешествия средства. Для остальных членов семьи это означало полное разорение, но милорд в своем невероятном ослеплении шел на все. Семья теперь так поредела (в самом деле, она ведь состояла всего из отца и двух сыновей), что представлялось возможным нарушить майорат[31] и выделить часть поместья для продажи. Сначала намеками, а потом и прямым давлением у мистера Генри вынудили согласие на это. Я уверен, что он никогда бы не дал его, если бы не постоянная подавленность, в которой он находился. Если бы не страстное желание избавиться от присутствия брата, он никогда бы не поступился собственными убеждениями и фамильными традициями. И все-таки он продал им свое согласие за дорогую цену: поставил вопрос в открытую и назвал вещи своими позорными именами.

— Имейте в виду, — сказал он, — что это нарушает интересы моего сына, если он у меня будет.

— Ну, едва ли будет, — сказал милорд.

— На то божья воля! — сказал мистер Генри. — Но, принимая во внимание невыносимое и ложное положение, в котором я нахожусь по отношению к брату, и то, что вы, милорд, мой отец и имеете право приказывать мне, я подпишу эту бумагу, но прежде скажу вот что: я действую по бессердечному принуждению, и если когда-нибудь, милорд, вам захочется сравнить ваших сыновей, тогда вспомните, что сделал я и что сделал он. Судите нас по нашим делам.

Милорду было очень не по себе, даже его бескровное лицо окрасилось румянцем.

— А не думаешь ли ты, Генри, что сейчас совсем не время для упреков? — сказал он. — Ведь это обесценивает самое твое великодушие.

— Не обманывайтесь, милорд, — сказал мистер Генри. — Я иду на эту несправедливость не из великодушного чувства к нему, а из послушания к вам.

— Хоть перед посторонними… — начал было милорд, еще более уязвленный.

— Здесь нет никого, кроме Маккеллара, — сказал мистер Генри, — а он мой друг. И поскольку, милорд, вы не считали его посторонним, когда унижали меня, было бы несправедливо устранять его от столь редкой для меня попытки защититься.

Мне показалось, что милорд готов изменить свое решение, но Баллантрэ был начеку.

— Ах, Генри, Генри, — сказал он. — Ты лучше всех нас. Суров и прямодушен! Да, мой милый, хотел бы я быть похожим на тебя!

И при этом проявлении великодушия его любимца все колебания милорда рассеялись, и документ был подписан.

При первой же возможности земли Охтерхолла были проданы много дешевле их настоящей цены, деньги вручены нашему вымогателю и переправлены им во Францию. По крайней мере, так он говорил; хотя позднее я стал подозревать, что они были помещены гораздо ближе. Теперь все его предприятие было успешно завершено и карманы, его вновь наполнились нашим золотом, но условие, при котором мы согласились на эту жертву, было все еще не выполнено, и он по-прежнему сидел в Дэррисдире. Проистекало ли это из его

коварства, или же не наступил еще срок для его отбытия в Индию, или он рассчитывал добиться успеха у миссис Генри, или таковы были указания правительства — кто знает? — но только он задерживался, и так проходили недели.

Вы, должно быть, заметили, что я сказал: указания правительства; и действительно, примерно в то же время раскрылся позорный секрет этого человека.

Первым намеком послужили для меня слова одного арендатора, обсуждавшего со мной пребывание у нас Баллантрэ и его безопасность. Арендатор этот был ярым якобитом и потерял сына под Куллоденом, что делало его особенно придирчивым и непримиримым.

— Не могу я одного понять, — говорил он, — как он мог попасть в Коккермаус?

— В Коккермаус? — переспросил я и тут же вспомнил, как поразил меня щегольской вид этого человека при высадке после столь длительного плавания.

— Ну да, — сказал арендатор. — Ведь это там его подобрал капитан Крэйл. А вы думали, что он морем приплыл из Франции? Сперва мы и сами так думали.

Поразмыслив об этих новостях, я сообщил их мистеру Генри.

— Странную я узнал подробность. — И я передал ему то, что слышал.

— Не все ли равно, как он приехал, Маккеллар, — простонал мистер Генри, важно то, что он еще здесь.

— Все это так, сэр, — сказал я, — но обратите внимание вот на что: все это очень похоже на потворство со стороны правительства. Вспомните, как мы удивлялись тому, что его оставляют в покое.

— Так! — сказал мистер Генри. — Об этом стоит подумать. — И по мере того как он размышлял, на лице его появилась мрачная усмешка, напомнившая мне Баллантрэ. — Дайте мне бумаги, — попросил он, тут же сел за стол и, не говоря ни слова, написал письмо одному своему знакомому (я не стану называть здесь ненужных имен, скажу только, что тот занимал высокое положение). Письмо это я переслал с единственным человеком, на которого мог положиться в таком деле, и старик Макконнэхи, как видно, спешил изо всех сил, потому что вернулся с ответом много раньше того, на что могло рассчитывать даже мое нетерпение. Прочитав ответ, мистер Генри усмехнулся той же мрачной усмешкой.

— Лучшей услуги вы мне еще не оказывали, Маккеллар, — сказал он. — С этим оружием в руках я могу нанести ему удар. Следите за нами во время обеда.

И вот за обедом мистер Генри предложил Баллантрэ прогулку в город, а милорд, как он и надеялся, указал на рискованность этого.

— О! — небрежно заметил мистер Генри. — Зачем вам скрываться от меня? Я так же, как и вы, посвящен в этот секрет.

— Секрет? — сказал милорд. — О чем ты говоришь, Генри? Даю тебе слово, что у меня нет от тебя секретов.

Баллантрэ изменился в лице, и я понял, что удар попал в незащищенное место.

— Как же так? — спросил мистер Генри, поворачиваясь к нему с видом крайнего изумления. — Я вижу, ты верно служишь своим господам, но я думал, что у тебя хватит сердца не мучить так родного отца.

— О чем ты толкуешь? Я протестую против публичного обсуждения моих дел. Я требую, чтобы ты замолчал! — с жаром воскликнул Баллантрэ, и эта глупая ребяческая вспышка была совсем на него не похожа.

— От тебя вовсе не требовали такой скрытности, — продолжал мистер Генри, — слушайте, что пишет мне об этом мой знакомый, — и он развернул письмо — «Конечно, хранить этот уговор в тайне в интересах как правительства, так и джентльмена, которого, быть может, нам следует по-прежнему именовать мистером Балли, но никому не нужно томительное

ожидание, в котором, как вы пишете, пребывает его семья, и я рад, что своим письмом могу рассеять их беспочвенные страхи. Мистер Балли находится в Великобритании не в большей опасности, чем вы сами».

— Возможно ли это?! — вскричал милорд, глядя на старшего сына: и на лице его было столько же удивления, сколько и подозрений.

— Дорогой отец, — сказал Баллантрэ, уже в значительной мере обретший присутствие духа. — Я очень рад, что все объяснилось. В полученных мною из Лондона указаниях говорилось совсем обратное, и мне вменялось в обязанность хранить тайну помилования от всех, и от вас в том числе. Вы даже были особо оговорены; это было написано черным по белому, и я мог бы доказать это неопровержимо, да жаль, что уничтожил письмо. Они, должно быть, пересмотрели свое решение, и совсем на днях, потому что это дело недавнее, или же корреспондент Генри что-нибудь напутал, как исказил он и все остальное. Сказать по правде, сэр, — продолжал он, видимо, овладевая собою, — я предполагал, что эта необъяснимая милость по отношению к мятежнику объясняется вашей просьбой и что предписанная мне скрытность в моей семье вызвана была вашим желанием молчать о своем добром деле. Тем неуклоннее я повиновался приказам. Теперь остается только гадать, какими путями излилась милость на такого важного преступника, как я. А защищаться от намеков, содержащихся в письме к Генри, вашему сыну, я полагаю, не приходится. Я еще не слыхал, чтобы кто-нибудь из Дэррисдиров становился отступником или шпионом! — гордо закончил он.

Казалось, что Баллантрэ без ущерба для себя избежал опасности, но он допустил промах, которым сейчас же воспользовался мистер Генри, обнаруживший при этом, что и он кое в чем не уступает брату.

— Ты говоришь, что это дело недавнее? — спросил мистер Генри.

— Совсем недавнее, — с притворной твердостью сказал Баллантрэ, но голос у него срывался.

— Такое ли недавнее? — заметил мистер Генри и, словно это его озадачило, стал снова разворачивать письмо.

В письме об этом не было ни слова, но Баллантрэ ведь этого не знал.

— Я так долго ждал, что для меня все недавно, — сказал он смеясь. Смех его прозвучал так фальшиво, словно надтреснутый колокол, что милорд опять взглянул на него и крепко сжал бледные губы.

— Ах, так, — сказал мистер Генри, все еще глядя в свое письмо. — Но я точно помню твои слова. Ты говорил, что это дело недавнее.

Мы одержали победу, но убедились и в невероятном потворстве милорда, — он и тут вмешался, чтобы спасти своего любимца от разоблачения и позора.

— Я думаю, Генри, — сказал он с какой-то жалкой поспешностью, — я думаю, что нам нечего сейчас спорить. Все мы рады, что наконец-то брат твой находится в безопасности, в этом мы все единодушны и, как благодарные подданные короля, должны выпить за его здоровье.

Так Баллантрэ избегнул беды; но, по крайней мере, он был вынужден перейти к обороне и сделал это не без ущерба для себя, а кроме того, лишился ореола преследуемого изгнанника. Сам милорд в тайниках души сознавал теперь, что его любимец — правительственный шпион, а миссис Генри (как бы она ни толковала происшедшее) стала заметно холоднее в своем обращении с развенчанным героем. Таким образом, в самой тонкой паутине коварства всегда найдется слабое место, и стоит его задеть, как рушится все хитросплетение. Если бы этим счастливым ударом мы не опрокинули идола, кто знает, каково было бы наше положение в разразившейся катастрофе?

Но в то время нам казалось, что мы не добились ничего. Не прошло и двух-трех дней, как он совершенно загладил неприятное впечатление от своего конфуза и, по всей видимости, вполне восстановил свое положение. А милорд Дэррисдир в своей родительской любви ничего не хотел видеть. Это была даже не столько любовь — чувство деятельное, сколько апатия и отмирание всех прочих чувств; и всепрощение (если применимо тут это благородное слово) изливалось у него подобно непроизвольным старческим слезам.

С миссис Генри дело обстояло совсем иначе, и один бог знает, какие у него нашлись перед нею оправдания и как он рассеял в ней чувство презрения. В подобном чувстве плохо то, что голос становится важнее слов, а говорящий заслоняет то, что он говорит. Но, должно быть, какие-то оправдания Баллантрэ нашел, а может быть, даже своей изворотливостью обратил все это в свою пользу, потому что после недолгого охлаждения дела его с миссис Генри пошли в дальнейшем как нельзя хуже. Теперь они вечно были вместе. Не подумайте, что я хочу чем-нибудь сгустить тень, которую навлекла на себя эта несчастная леди, упорствуя в своем ослеплении; но я думаю, что в те решающие дни она играла с огнем. Ошибаюсь я или нет, но ясно одно (и этого вполне достаточно): мистер Генри опасался того же.

Несчастный целыми днями сидел в конторе с таким видом крайнего отчаяния, что я не осмеливался обратиться к нему. Хочу надеяться, что самое мое присутствие и молчаливое участие доставляли ему некоторое облегчение. Бывало так, что мы говорили, и странная это была беседа: мы никогда не называли никого по имени и не упоминали определенных фактов или событий, но каждый из нас думал о том же, и мы прекрасно это знали. Странное это искусство — часами говорить о каком-нибудь предмете, не только не называя, но даже не намекая на него. Помнится, я даже подумал тогда, что, может быть, именно таким образом Баллантрэ целыми днями ухаживал за миссис Генри, делая это совершенно открыто и вместе с тем ни разу не спугнув ее. Чтобы дать представление, как обстояли дела у мистера Генри, я приведу здесь несколько слов, произнесенных им (я имел основания запомнить дату) двадцать шестого февраля 1757 года. Погода стояла не по времени резкая, казалось, что это возврат зимы: безветренный жгучий холод, все бело от инея, небо низкое и серое, море черное и мрачное, как пещера.

Мистер Генри сидел у самого камина и размышлял вслух (как это у него теперь вошло в привычку) о том, «должен ли мужчина принимать решения» и «разумно ли вмешательство». Эти и тому подобные отвлеченные рассуждения каждый из нас понимал с полуслова. Я глядел в окно, как вдруг внизу прошли Баллантрэ, миссис Генри и мисс Кэтрин — неразлучное трио. Девочка прыгала, радуясь инею, Баллантрэ что-то шептал на ухо леди с улыбкой, которая (даже на таком расстоянии) казалась дьявольской усмешкой искусителя, а она шла, опустив глаза, всецело поглощенная услышанным. Я не вытерпел.

— На вашем месте, мистер Генри, я поговорил бы с милордом начистоту, — сказал я.

— Маккеллар, Маккеллар, — отозвался он, — вы не сознаете шаткости моего положения. Ни к кому я не могу пойти со своими подозрениями, меньше всего к отцу. Это вызвало бы у него только гнев. Беда моя, — продолжал он, — во — мне самом, в том, что я не из тех, кто способен вызывать к себе любовь. Они все мне признательны, они все твердят мне об этом; с меня этой признательности хватит до смерти. Но не мной заняты их мысли, они и не потрудятся подумать вместе со мной, подумать за меня. Вот в чем горе! — Он вскочил и затоптал огонь в очаге. — Но что-то надо придумать, Маккеллар, — сказал он и поглядел на меня через плечо, — что-то надо придумать. Я человек терпеливый… даже чересчур… даже чересчур! Я начинаю презирать себя. И все же нес ли когда-нибудь человек такое бремя?! Ио Он снова погрузился в размышления.

— Мужайтесь, — сказал я. — Все это разрешится само собой.

— Даже злоба у меня отболела, — сказал он, и в этом было так мало связи с моим замечанием, что я не продолжил разговора.

ГЛАВА ПЯТАЯ
РАССКАЗ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В НОЧЬ НА 28 ФЕВРАЛЯ 1757 ГОДА

Вечером того дня, когда имел место этот разговор, Баллантрэ куда-то уехал, не было его и большую часть следующего дня, злополучного 27-го; но о том, куда он ездил и что делал, мы задумались только позднее. А спохватись мы раньше, мы, может быть, разгадали бы его планы и все обернулось бы иначе. Но так как мы действовали в полном неведении, то и поступки наши надо оценивать соответственно, и поэтому я буду рассказывать обо всем так, как это представлялось нам в то время, и приберегу все наши открытия до того момента, когда они были сделаны. Это особенно важно потому, что я дошел до самой мрачной страницы моего рассказа и должен просить у читателя снисхождения для своего патрона.

Весь день двадцать седьмого февраля было по-прежнему морозно; дух захватывало от холода. У прохожих пар валил изо рта, большой камин в зале был доверху загружен дровами, ранние птицы, которые уже добрались и до наших суровых краев, теперь жались к окнам или прыгали, как потерянные, по замерзшей земле. К полудню проглянуло солнце и осветило по-зимнему красивые, покрытые снегом холмы и леса, люггер Крэйла, ожидавший ветра за мысом Крэг, и столбы дыма, поднимавшиеся прямо к небу из каждой трубы. К ночи сгустился туман, стало темно и тихо и неимоверно холодно: ночь не по-февральски беззвездная, ночь для невероятных событий.

Миссис Генри покинула нас, как это теперь вошло у нее в обыкновение, очень рано. С некоторых пор мы проводили вечера за картами, — еще одно свидетельство того, как скучал в Дэррисдире наш приезжий. Вскоре милорд оставил свое место у камина и, не сказав ни слова, пошел согреваться в постели. Прочих оставшихся не связывали ни любовь, ни учтивость, и ни один из нас минуты не просидел бы ради другого, но в силу привычки и так как карты были только что сданы, мы от нечего делать стали доигрывать партию. Нужно отметить, что засиделись мы допоздна и хотя милорд ушел к себе раньше обычного, но уже пробило полночь и слуги давно спали. И скажу еще, что хотя я никогда не замечал в Баллантрэ приверженности к вину, на этот раз он пил неумеренно и был, вероятно (хотя и не показывал этого), немного пьян.

Во всяком случае, он разыграл одну из своих метаморфоз: не успела дверь затвориться за милордом, как он без малейшего изменения голоса перешел от обычного вежливого разговора к потоку оскорблений.

— Мой дорогой Генри, тебе играть, — только что говорил он, а теперь продолжал: — Удивительное дело, как даже в такой мелочи, как карты, ты обнаруживаешь свою неотесанность. Ты играешь, Иаков, как какая-нибудь деревенщина или матрос в таверне. Та же тупость, та же мелкая жадность, cette lenteur d'hebete qui me fait rager![32] — привел меня бог иметь такого брата! Даже почтенный квакер и тот слегка оживляется, когда опасность угрожает его ставке, но играть с тобой — это невыразимая скука.

Мистер Генри продолжал смотреть в карты, как бы обдумывая ход, но на самом деле мысли его были далеко.

— Боже правый, да когда же этому придет конец? — закричал Баллантрэ.

— Quel lourdeau! Но к чему я расточаю перед тобой французские выражения, которые все равно непонятны такому невежде. Un lourdeau, мой дорогой братец, означает увалень, олух, деревенщина, человек, лишенный грации, легкости, живости, умения нравиться, природного блеска, — словом, именно такой, какого ты при желании увидишь, поглядевшись в зеркало. Я говорю тебе все это ради твоей же пользы, ну, а кроме того, милейший квакер (при этом он поглядел на меня, подавляя зевок), одно из моих развлечений в этой скучной дыре — поджаривать вас с вашим хозяином на медленном огне. Вы, например, неизменно доставляете мне удовольствие, потому что всякий раз корчитесь, когда слышите свое прозвище (как оно ни безобидно). Иное дело — мой бесценный братец, который вот-вот заснет над своими картами.

А эпитет, который я тебе только что объяснил, дорогой Генри, может быть применен гораздо шире. Я это тебе сейчас растолкую. Вот, например, при всех твоих великих достоинствах, — их я рад в тебе признать, — я все же не знал женщины, которая не предпочла бы меня и, как я полагаю, — закончил он вкрадчиво и словно обдумывая свои слова, — как я полагаю, не продолжала бы оказывать мне предпочтение.

Мистер Генри отложил карты. Он медленно поднялся на ноги, и все время казалось, что он погружен в раздумье.

— Трус! — сказал он негромко, как будто самому себе. И потом не спеша и без особого ожесточения ударил Баллантрэ по лицу.

Баллантрэ вскочил, весь преобразившись, я никогда не видел его красивее.

— Пощечина! — закричал он. — Я не снес бы пощечины от самого господа бога!

— Потише, — сказал мистер Генри. — Ты что же, хочешь, чтобы отец снова за тебя вступился?

— Господа, господа! — кричал я, стараясь их разнять.

Баллантрэ схватил меня за плечо и, не отпуская, снова обратился к брату:

— Ты знаешь, что это значит?

— Это был самый обдуманный поступок в моей жизни, — отвечал мистер Генри.

— Ты кровью, кровью смоешь это! — сказал Баллантрэ.

— Дай бог, чтобы твоей, — сказал мистер Генри.

Он подошел к стене и снял две обнаженные рапиры, которые висели там среди прочего оружия. Держа за концы, он протянул их Баллантрэ.

— Маккеллар, присмотрите, чтобы все было по правилам, — обратился ко мне мистер Генри. — Я считаю, что это необходимо.

— Тебе незачем продолжать оскорбления. — Баллантрэ, не глядя, взял одну из рапир. — Я ненавидел тебя всю жизнь!

— Отец только что лег, — напомнил мистер Генри. — Нам надо уйти куда-нибудь подальше от дома.

— В длинной аллее, чего же лучше, — сказал Баллантрэ.

— Господа! — сказал я. — Постыдитесь! Вы сыновья одной матери. Неужели вы станете отнимать друг у друга жизнь, которую она вам дала?

— Вот именно, Маккеллар, — сказал мистер Генри с тем же невозмутимым спокойствием, которое он все время обнаруживал.

— Я этого не допущу, — сказал я.

И тут пятно легло на всю мою жизнь. Не успел я сказать этих слов, как Баллантрэ приставил острие своей рапиры к моей груди. Я видел, как свет струился по лезвию, и, всплеснув руками, повалился перед ним на колени.

— Нет, нет! — закричал я, словно малое дитя.

— Ну, он нам теперь не помеха, — сказал Баллантрэ. — Хорошо иметь в доме труса!

— Нам нужен будет свет, — сказал мистер Генри, как будто ничто не прерывало их разговора.

— Вот этот храбрец и принесет нам парочку свечей, — сказал Баллантрэ. К стыду своему должен признаться, что я был еще так ослеплен этим блеском обнаженного клинка, что предложил принести фонарь.

— Нам нужен не ф-ф-оонарь, — передразнивая меня, сказал Баллантрэ. — Сейчас в воздухе ни дуновения. Поднимайтесь и берите две свечи. Идите вперед, а это вас подгонит, — и он помахал рапирой.

Я взял подсвечники и пошел впереди. Я отдал бы руку, лишь бы только всего этого не было, но трус — в лучшем случае невольник, и, идя с ними, я чувствовал, как зубы стучат у меня во рту. Все было как он сказал: в воздухе ни дуновения, оковы безветренного мороза сковали воздух, и при свете свечей чернота неба казалась крышей над нашими головами. Не было сказано ни слова; не слышно было ни звука, кроме поскрипывания наших шагов по замерзшей дорожке. Холод этой ночи охватил меня, словно ледяная вода; и чем дальше, тем сильнее я дрожал не от одного лишь страха. Но спутники мои — хотя и шли, как я, с непокрытой головой и прямо из теплой комнаты, — казалось, не замечали перемены.

— Вот здесь, — сказал Баллантрэ. — Ставьте подсвечники на землю.

Я выполнил приказание, и пламя свечей поднялось ровно, как будто это было не среди заиндевевших деревьев, а в комнате. Я увидел, как братья заняли свои места.

— Свечи слепят меня, — сказал Баллантрэ.

— Я предоставляю тебе любое преимущество, — ответил мистер Генри, меняясь местами, — потому что я думаю, что ты скоро умрешь. — Он говорил скорее всего с грустью, но голос его был тверд и звенел.

— Генри Дьюри, — сказал Баллантрэ. — Два слова, прежде чем я начну. Ты фехтовальщик и умеешь управляться со шпагой. Но ты не представляешь себе, что значит держать боевую рапиру. И поэтому я уверен, что ты должен пасть. Взвесь, как выгодно мое положение. Если ты будешь убит, я уезжаю из этой страны туда, где ждут меня твои же деньги. Если убит буду я, каково будет твое положение? Мой отец, твоя жена, которая меня любит, ты это хорошо знаешь, даже твой ребенок, который привязан ко мне больше, чем к тебе, — все они будут мстить за меня! Подумал ты об этом, мой дорогой Генри? — Он с улыбкой посмотрел на брата и стал в позицию.

Мистер Генри не сказал ни слова, но тоже сделал приветственный выпад, и рапиры скрестились.

Я не судья в таком деле, да к тому же голова у меня шла кругом от холода, страха и ужаса, но кажется мне, что мистер Генри сразу же взял верх, тесня своего врага со сдержанной, но неукротимой яростью. Все ближе и ближе наступал он, пока Баллантрэ не отпрыгнул с проклятием, похожим на всхлип, и кажется, что это снова поставило его лицом к свету. В этом новом положении они опять схватились, на этот раз в ближнем бою. Мистер Генри наседал все упорнее, Баллантрэ защищался с поколебленной уверенностью. Он, без сомнения, понял, что погиб, и поддался леденящему сердце страху, иначе он никогда не пошел бы на недозволенный прием. Не могу утверждать, что я уследил за ним (мой неопытный глаз не мог уловить всех подробностей), но, по-видимому, он схватил клинок брата левой рукой, что запрещено правилами поединка. Мистер Генри спасся, конечно, только потому, что успел отскочить в сторону, а Баллантрэ, нанеся удар в воздух, упал на колено, и, прежде чем он поднялся, клинок брата пронзил его.

С подавленным воплем я бросился к нему, но он уже повалился на землю, где еще с минуту корчился, как раздавленный червяк, а потом замер.

— Посмотрите его левую руку, — сказал мистер Генри.

— Она вся в крови, — сказал я.

— А ладонь?

— Ладонь порезана.

— Я так и знал, — сказал он и повернулся спиной.

Я разорвал рубашку мистера Джемса. Сердце не билось.

— Да простит нас бог, мистер Генри! — сказал я. — Он мертв.

— Мертв? — повторил он как-то бессмысленно, потом все громче: — Мертв? Мертв? — и вдруг отшвырнул окровавленный клинок.

— Что нам делать? Возьмите себя в руки, сэр. Теперь уже поздно: надо взять себя в руки.

Он повернулся и взглянул на меня.

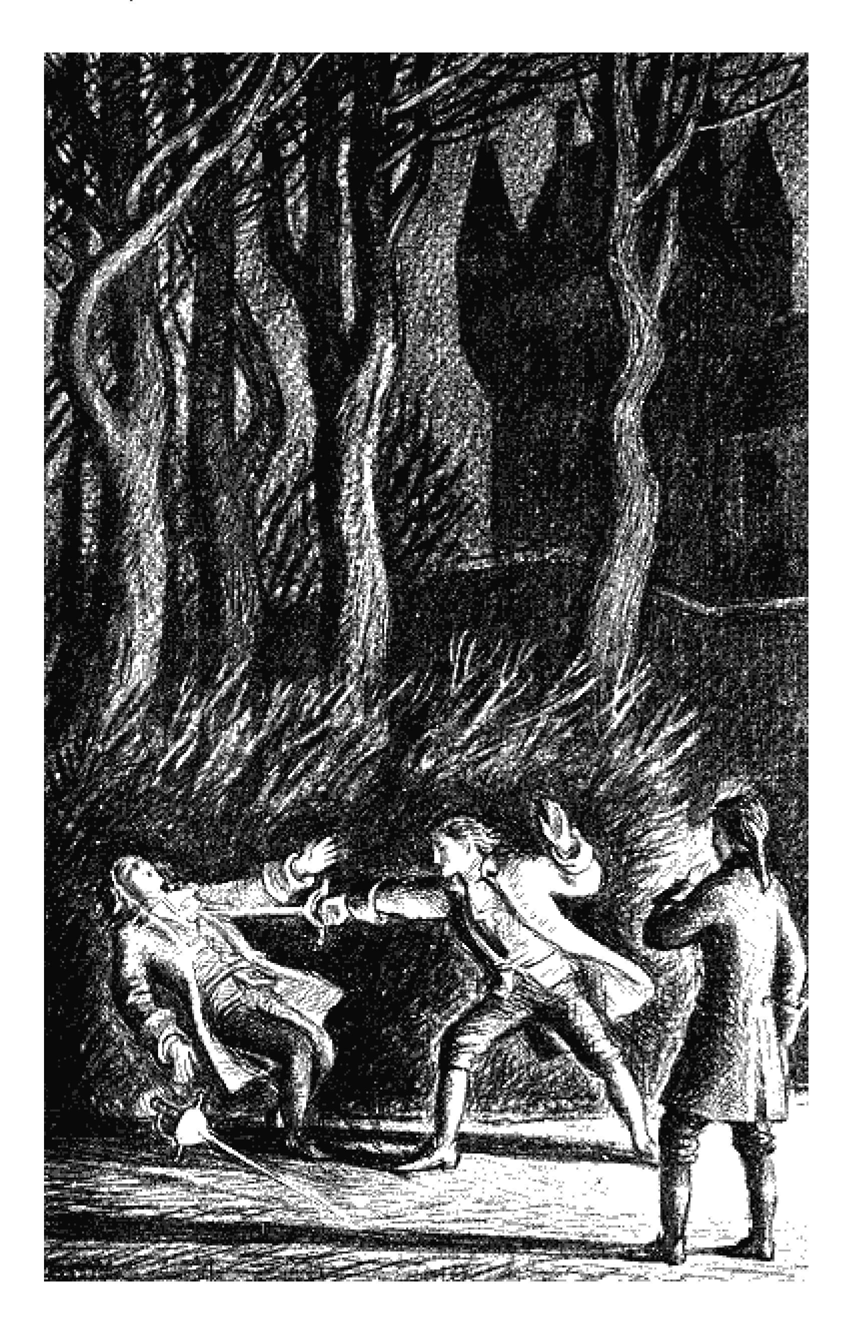
— О Маккеллар! — сказал он и закрыл лицо ладонями.

Я тряхнул его за полу:

— Ради бога, ради всех нас, мужайтесь! Что нам делать?

Он посмотрел на меня все с тем же бессмысленным видом.

— Делать? — сказал он. Взгляд его при этом упал на тело; как будто что-то вспомнив, он вскрикнул и схватился за голову. Потом, повернувшись ко мне спиной, быстро пошел к дому — странным, спотыкающимся шагом.



С минуту я стоял в раздумье, потом, решив, что долг мой — подумать о живом, побежал за ним, оставив свечи на мерзлой земле и освещенное ими тело под деревьями. Но, как я ни бежал, он намного опередил меня, вошел в дом и поднялся в залу, где я и нашел его у камина. Он стоял, закрыв лицо руками, и плечи его вздрагивали.

— Мистер Генри, мистер Генри! — сказал я. — Это погубит всех нас!

— Что́ я сделал! — воскликнул он и потом, с выражением, которого я никогда не забуду, спросил меня: — Кто скажет об этом старику?

Слова эти поразили меня до глубины души, но теперь было не до сантиментов. Я налил ему стакан бренди.

— Выпейте, — сказал я, — выпейте все до дна.

Я заставил его, словно ребенка, проглотить бренди и, все еще пронизанный холодом этой ночи, сам выпил вслед за ним.

— Надо ему сказать, Маккеллар, — простонал он. — Надо! — И вдруг, опустившись в кресло (кресло милорда у камина), весь затрясся от беззвучных рыданий.

Уныние ухватило мою душу, — ясно было, что нечего ждать помощи от мистера Генри.

— Хорошо, — сказал я, — сидите здесь и предоставьте все мне! — И, взяв в руки свечу, я пошел по темному дому.

Кругом было тихо, я мог предположить, что все прошло незамеченным, и надо было сразу позаботиться, чтобы и остальное совершилось так же в тайне. Теперь неуместны были колебания, и я, даже не постучавшись, открыл дверь к миледи и смело вошел в комнату.

— Стряслась какая-нибудь беда! — воскликнула она, привставая с постели.

— Сударыня, — сказал я. — Я выйду в коридор, а вы оденьтесь как можно скорее. Нам надо действовать.

Она не задавала вопросов и не заставила себя ждать. Не успел я еще обдумать того, что я ей скажу, как она уже была на пороге и сделала мне знак войти.

— Сударыня, — сказал я, — если вы не поможете мне, я должен буду обратиться еще к кому-нибудь, а если никто не поможет мне, то придет конец всему дому Дэррисдиров.

— Я не боюсь, — сказала она с улыбкой, на которую больно было глядеть, но не теряя самообладания.

— Дело дошло до дуэли!

— Дуэль? — повторила она. — Дуэль! Генри…

— С владетелем Баллантрэ, — сказал я. — К этому шло давно, очень давно, и привели к этому обстоятельства, о которых вы ничего не знаете, да и не поверили бы, если б я вам о них рассказал. Но сегодня дело зашло слишком далеко, и когда он оскорбил вас…

— Постойте, — сказала она. — *Он*? Кто он?

— Сударыня, — воскликнул я с прорвавшейся горечью. — И это вы спрашиваете меня? Ну, тогда и в самом деле мне надо искать помощи у других; у вас я ее не найду.

— Не понимаю, чем я так обидела вас? — сказала она. — Простите меня и не длите этой муки.

Но я все не решался сказать ей, я не был в ней уверен, и это сознание беспомощности заставило меня обратиться к ней с досадой и гневом.

— Сударыня, мы говорим об известных вам людях: один из них оскорбил вас, и вы еще спрашиваете — который! Я помогу вам ответить. С одним из них вы просиживали часами, разве другой упрекал вас в этом? С одним вы всегда были ласковы; с другим — да рассудит нас в этом всевышний, — как мне кажется, далеко не всегда; и разве уменьшилась от этого его любовь к вам? Сегодня один из них сказал другому в моем присутствии (в присутствии наемного слуги), что вы влюблены в него. И прежде чем я скажу хоть одно слово, ответьте на

свой собственный вопрос: который из них? Да, сударыня, и вы ответите мне и на другой: кто виноват, что дело дошло до ужасного конца?

Она смотрела на меня в оцепенении.

— Боже правый! — вдруг вырвалось у нее, и потом еще раз, полушепотом, как будто самой себе: — Боже милостивый! Не томите вы меня, Маккеллар, что случилось? — крикнула она. — Говорите! Я готова ко всему!

— Вы не заслуживаете этого, — сказал я. — Вы должны сначала признать, что это вы были причиной всего.

— О! — закричала она, ломая руки. — Этот человек сведет меня с ума! Неужели вы и сейчас не можете позабыть обо мне?

— Я не о вас сейчас думаю. Я думаю о моем дорогом, несчастном хозяине.

— Что? — воскликнула она, прижав руку к сердцу. — Что? Разве Генри убит?

— Тише. Убит другой.

Я увидел, как она пошатнулась, словно ветер согнул ее, и то ли от малодушия, то ли из жалости я отвел глаза и смотрел в землю.

— Это ужасные вести, — сказал я наконец, когда ее молчание уже стало пугать меня, — но вам и мне надлежит собраться с силами, чтобы спасти дом Дэррисдиров. — Она молчала. — К тому же, не забудьте мисс Кэтрин, — добавил я. — Если нам не удастся замять это дело, она унаследует опозоренное имя.

Не знаю, мысль о ребенке или мои слова о позоре вывели ее из оцепенения, но не успел я договорить, как не то вздох, не то стон сорвался с ее губ, словно заживо погребенный старался стряхнуть с себя тяжесть могильного холма. А уже в следующую минуту к ней вернулся голос.

— Это была дуэль? — прошептала она. — Это не было… — Она запнулась.

— Они дрались на дуэли, и хозяин мой бился честно, — сказал я. — А тот, другой, был убит как раз, когда он наносил предательский удар.

— Не надо! — воскликнула она.

— Сударыня, — сказал я. — Ненависть к этому человеку жжет мое сердце даже и сейчас, когда он мертв. Видит бог, я остановил бы дуэль, если бы осмелился. Я буду вечно стыдиться того, что не решился на это. Но когда этот человек упал, я, если бы мог думать о чем-нибудь, кроме жалости к моему хозяину, порадовался бы нашему избавлению.

Не знаю, слышала ли она меня, и следующие ее слова были:

— А милорд?

— Это я беру на себя, — сказал я.

— Вы не будете говорить с ним так же, как со мной? — спросила она.

— Сударыня! Неужели вам не о ком больше думать? О милорде позабочусь я.

— Не о ком думать? — повторила она.

— Ну да, о вашем супруге, — сказал я. Она посмотрела на меня с непроницаемым выражением. — Вы что же, отвернетесь от него? — спросил я.

Она все еще глядела на меня, потом снова схватилась за сердце.

— Нет! — сказала она.

— Да благословит вас бог за это слово! Идите к нему, он сидит в зале, поговорите с ним, все равно о чем, протяните ему руку, скажите: «Я все знаю», и если бог сподобит вас, скажите: «Прости меня».

— Да укрепит вас бог и да смягчит ваше сердце, — сказала она. — Я пойду к мужу.

— Позвольте я посвечу вам. — И я взялся за подсвечник.

— Не надо, я найду дорогу и в темноте. — Она вся передернулась, и я понял, что я ей сейчас страшнее темноты.

Так мы расстались. Она пошла вниз, где тусклый свет мерцал в зале, а я по коридору — к комнате милорда. Не знаю почему, но я не мог ворваться к старику, так же как к миссис Генри; с большой неохотой, но я постучал. Старый сон чуток, а может, милорд вовсе не спал, и при первом же стуке он крикнул: «Войдите!»

Он тоже привстал с подушек мне навстречу, такой старый и бескровный. Сохраняя известную представительность в дневном наряде, сейчас он выглядел хрупким и маленьким, а лицо его теперь, когда парик был снят, казалось совсем крошечным. Это смутило меня; а еще больше — растерянная догадка о несчастье, мелькнувшая в его глазах. Я поставил свечу на стол, оперся на кровать в ногах у милорда и посмотрел на него.

— Лорд Дэррисдир, — сказал я. — Вам хорошо известно, что в вашей семье я не ваш сторонник.

— Ну, какие же тут могут быть стороны, — сказал он. — А то, что вы искренне любите моего сына, это я всегда рад был признать.

— Милорд, сейчас не время для учтивостей, — ответил я. — Если мы хотим что-то спасти, вы должны глядеть фактам в лицо. Я сторонник вашего сына, но в семье были враждующие стороны, и представителем одной из сторон я явился к вам среди ночи. Выслушайте меня, и, прежде чем я уйду, вы поймете, почему я прошу вас об этом.

— Да я всегда готов вас слушать, мистер Маккеллар, — сказал он, — в любое время дня и ночи, потому что я всегда уверен в разумности ваших суждений. Однажды вы очень здраво дали совет, и по важному делу; я не забыл этого.

— Я здесь, чтобы выступить в защиту моего хозяина, — сказал я. — Надо ли говорить вам о том, как он обычно держит себя? Вы знаете, в какое положение он поставлен. Вы знаете, с каким великодушием он всегда относился к вашему другому… к вашим желаниям, — поправился я, запнувшись и не в силах выговорить слово «сын». — Вы знаете… вы должны знать… сколько он вынес… сколько он вытерпел из-за своей жены.

— Мистер Маккеллар! — закричал милорд, грозный, словно лев в своем логове.

— Вы обещали выслушать меня, — продолжал я. — Чего вы не знаете, что вы должны знать и о чем я вам сейчас расскажу, — это те испытания, которые он должен был переносить втайне. Не успевали вы отвернуться: как тот, чье имя я не смею произнести, сейчас же принимался издеваться, колоть его вашим — да простит меня милорд — вашим предпочтением, называть его Иаковом, деревенщиной, преследовать недостойными насмешками, нестерпимыми для мужчины. А стоило кому-нибудь из вас появиться, как он тот же час менялся; и моему хозяину приходилось улыбаться и угождать человеку, который только что осыпал его оскорблениями. Я знаю все это потому, что кое-что испытал и на себе, и говорю вам: жизнь наша стала невыносимой. И это продолжалось все время с самого прибытия этого человека, — он в первый же вечер окрестил моего хозяина Иаковом.

Милорд сделал движение, как бы собираясь откинуть одеяло и встать.

— Если во всем этом есть хоть крупица правды… — начал он.

— А разве я похож на лжеца? — прервал его я.

— Вы должны были сказать мне раньше, — проговорил он.

— Да, милорд! Должен был, и вы вправе корить нерадивого слугу.

— Но я приму меры, и сейчас же, — и он снова сделал движение, чтобы подняться.

Опять я удержал его.

— Это не все, — сказал я. — О, если бы это было все! Моему несчастному хозяину пришлось нести это бремя без чьей-либо помощи или хотя бы сочувствия. Даже вы, милорд, не находили для него ничего, кроме благодарности. А ведь он тоже ваш сын! Другого отца у

него не было. Соседи все его ненавидели, и, видит бог, несправедливо. Он не нашел любви и в супружестве. И ни от кого он не видел искреннего чувства и поддержки — великодушное, многострадальное, благородное сердце!

— Ваши слезы делают вам честь, а мне служат укором, — сказал милорд, трясясь, как паралитик. — Но все же вы не совсем справедливы. Генри всегда был мне дорог, очень дорог. Джемс (я не стану этого отрицать, мистер Маккеллар), Джемс мне, может быть, еще дороже, вы всегда были предубеждены против моего Джемса; ведь он перенес столько злоключений; и нам не следует забывать, как они были жестоки и незаслуженны. И даже сейчас из них двоих он проявляет больше чувства. Но не будем говорить о нем. Все то, что вы сказали о Генри, вполне справедливо, я этому не удивляюсь, я знаю его благородство. Вы скажете, что я им злоупотребляю? Может быть; есть опасные добродетели, добродетели, которыми так и тянет злоупотребить. Мистер Маккеллар, я искуплю свою вину, я все это улажу. Я был слаб, и, что хуже, я был туп.

— Я не смею слушать, как вы обвиняете себя, милорд, пока вы не узнали всего, — сказал я. — Не слабы вы были, а обмануты, введены в заблуждение дьявольскими кознями обманщика. Вы сами видели, как он обманывал вас, говоря о риске, которому якобы подвергается; он обманывал вас все время, на каждом шагу своего пути. Я хотел бы вырвать его из вашего сердца; я хотел бы, чтобы вы пригляделись к другому вашему сыну, — а у вас есть сын.

— Нет, нет, — сказал он. — У меня два, у меня два сына!

Мой жест отчаяния поразил его; он поглядел на меня, изменившись в лице.

— Есть и еще дурные вести? — спросил он, и голос его, едва окрепнув, снова сорвался.

— Очень дурные, — ответил я. — Вот что он сказал сегодня вечером мистеру Генри: «Я не знал женщины, которая не предпочла бы меня тебе и которая не продолжала бы оказывать мне предпочтение».

— Я не хочу слышать ничего плохого о моей дочери! — закричал он, и по той поспешности, с которой он прервал меня, я понял, что глаза его были далеко не так слепы, как я предполагал, и что он не без тревоги взирал на осаду, которой подвергалась миссис Генри.

— Я и не думаю оскорблять ее! — воскликнул я. — Не в этом дело. Эти слова были обращены в моем присутствии к мистеру Генри; и если вам этого недостаточно, — вскоре были сказаны и другие: «Ваша жена, которая в меня влюблена».

— Они поссорились? — спросил он.

Я кивнул.

— Надо скорей пойти к ним, — сказал он, снова приподнимаясь в постели.

— Нет, нет! — вскричал я, простирая руки.

— Мне лучше знать, — сказал он. — Это опасные слова.

— Неужели вы и теперь не понимаете, милорд? — спросил я.

Он взглядом вопрошал меня о правде.

Я бросился на колени перед его кроватью.

— О милорд! Подумайте о том, кто у вас остался; подумайте о бедном грешнике, которого вы зачали и которого жена ваша родила вам, которого ни один из нас не поддержал в трудную минуту; подумайте о нем, а не о себе; он ведь выносит все один — подумайте о нем! Это врата печали, Христовы врата, господни врата, и они отверсты. Подумайте о нем, как он о вас подумал: «Кто скажет об этом старику?» — вот его слова. Вот для чего я пришел, вот почему я здесь и на коленях вас умоляю!

— Пустите, дайте мне встать! — крикнул он, оттолкнув меня, и раньше моего уже был на ногах. Его голос дрожал, как полощущийся парус, но говорил он внятно, лицо его было бело как снег, но взгляд тверд и глаза сухи.

— Слишком много слов! — сказал он. — Где это произошло?

— В аллее.

— И мистер Генри?.. — спросил он.

Когда я ответил, старое лицо его покрылось морщинами раздумья.

— А мистер Джемс?

— Я оставил его тело на поляне со свечами.

— Со свечами? — закричал он, быстро подбежал к окну, распахнул его и стал вглядываться в темноту. — Их могут увидеть с дороги.

— Но кто же ходит там в такой час? — возразил я.

— Все равно, — сказал он. — Чего не бывает! Слушайте! — воскликнул он. — Что это?

С бухты слышны были осторожные всплески весел, и я сказал ему об этом.

— Контрабандисты, — сказал милорд. — Бегите сейчас же, Маккеллар, и потушите эти свечи. Тем временем я оденусь, и когда вы вернетесь, мы обсудим, что делать дальше.

Ощупью я спустился вниз и вышел. Свет в аллее виден был издалека, в такую темную ночь его можно было заметить за много миль, и я горько сетовал на себя за такую неосторожность, особенно когда достиг цели. Один из подсвечников был опрокинут, и свечка погасла. Но другая горела ярко, освещая широкий круг мерзлой земли. Среди окружающей черноты все в освещенном кругу выделялось резче, чем даже днем. Посредине было кровавое пятно; немного дальше — рапира мистера Генри с серебряной рукояткой, но нигде никаких следов тела. Я стоял как вкопанный, и сердце у меня колотилось, а волосы встали на голове, — так необычно было то, что я видел, так грозны были страхи и предчувствия. Напрасно я озирался: почва так заледенела, что на ней не осталось следов. Я стоял и смотрел, пока в ушах у меня не зашумело, а ночь вокруг меня была безмолвна, как пустая церковь, — ни одного всплеска на берегу; казалось, что упади сейчас лист, это слышно было бы во всем графстве.

Я задул свечу, и вокруг сгустилась тьма; словно толпы врагов обступили меня, и я пошел обратно к дому, то и дело оглядываясь и дрожа от мнимых страхов. В дверях навстречу мне двинулась какая-то тень, и я чуть не вскрикнул от ужаса, не узнав миссис Генри.

— Вы сказали ему? — спросила она.

— Он и послал меня, — ответил я. — Но его нет. Почему вы здесь?

— Кого нет? Кого это нет?

— Тела, — сказал я. — Почему вы не с вашим супругом?

— Нет? — повторила она. — Да вы не нашли его! Пойдемте туда.

— Там теперь темно. Я боюсь.

— Я хорошо вижу в темноте. Я стояла тут долго, очень долго. Дайте мне руку.

Рука об руку мы вернулись по аллее к роковому месту.

— Берегитесь! Здесь кровь! — предупредил я.

— Кровь! — воскликнула она и отпрянула от меня.

— По крайней мере, должна быть, — сказал я. — Но я ничего не вижу.

— Нет, — сказала она. — Ничего нет. А вам все это не приснилось?

— О, если бы это было так! — воскликнул я.

Она заметила рапиру, подняла ее, потом, почувствовав кровь, выпустила из рук.

— Ах! — воскликнула она. — Но потом, с новым приливом мужества, во второй раз подняла ее и по самую рукоять воткнула в землю. — Я возьму ее и очищу, — сказала она и снова стала озираться по сторонам. — Но, может быть, он не мертв? — спросила она.

— Сердце не билось, — сказал я и, вспомнив, добавил: — Но почему вы не с вашим супругом?

— Это бесполезно. Он не хочет говорить со мной.

— Не хочет? Вы просто не пробовали!

— Вы имеете право не доверять мне, — сказала она мягко, но с достоинством.

Тут в первый раз я почувствовал к ней жалость.

— Свидетель бог, сударыня, — воскликнул я, — свидетель бог, что я вовсе не так несправедлив, как вам кажется! Но в эту ужасную ночь кто может выбирать свои слова? Поверьте, я друг всякому, кто не враг хозяину моему.

— Но разве справедливо, что вы сомневаетесь в его жене? — сказала она.

Тут словно занавес разорвался, и я вдруг понял, как благородно переносила она это неслыханное несчастье и как терпеливо выслушивала мои упреки.

— Надо вернуться и сказать об этом милорду, — напомнил я.

— Его я не могу видеть! — воскликнула она.

— Он больше всех нас сохранил самообладание.

— Все равно, я не могу его видеть.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда возвращайтесь к мистеру Генри, а я пойду к милорду.

Мы повернули к дому, я нес подсвечник, она — рапиру (странная ноша для женщины). Вдруг она спросила:

— А говорить ли нам об этом Генри?

— Пусть это решает милорд, — сказал я.

Милорд был уже одет, когда я вошел в его комнату. Он выслушал меня нахмурившись.

— Контрабандисты, — сказал он. — Но живого или мертвого, вот в чем дело.

— Я считал его за… — начал я и запнулся, не решаясь произнести это слово.

— Я знаю, но вы могли и ошибиться. К чему бы им увозить его мертвым? — спросил он. — О, в этом единственная надежда. Пусть считают, что он уехал без предупреждения, как и приехал. Это поможет нам избежать огласки.

Я видел, что, как и все мы, он больше всего думал о чести дома. Теперь, когда все члены семьи были погружены в неизбывную печаль, особенно странно было, что мы обратились к этой абстракции — фамильной чести — и старались всячески ее оградить; и не только сами Дьюри, но даже их наемный слуга.

— Надо ли говорить об этом мистеру Генри? — спросил я.

— Я посмотрю, — сказал он. — Сначала я должен его видеть, потом я сойду к вам, чтобы осмотреть аллею и принять решение.

Он сошел вниз в залу. Мистер Генри сидел за столом, словно каменное изваяние, опустив голову на руки. Жена стояла за его спиной, прижав руку ко рту, — ясно было, что ей не удалось привести его в себя. Старый лорд твердым шагом двинулся к сыну, держась спокойно, но по-моему, несколько холодновато. Подойдя к столу, он протянул обе руки и сказал:

— Сын мой!

С прерывистым, сдавленным воплем мистер Генри вскочил и бросился на шею отцу, рыдая и всхлипывая.

— Отец! — твердил он. — Вы знаете, я любил его, вы знаете, я сначала любил его, я готов был умереть за него, вы знаете это. Я отдал бы свою жизнь за него и за вас. Скажите, что вы

знаете это. Скажите, что вы можете простить меня. Отец, отец, что я сделал? А мы ведь росли вместе! — И он плакал, и рыдал, и обнимал старика, прижимаясь к нему, как дитя, объятое страхом.

Потом он увидел жену (можно было подумать, что он только что заметил ее), со слезами смотревшую на него, и в то же мгновение упал перед ней на колени.

— Любимая моя! — воскликнул он. — Ты тоже должна простить меня! Не муж я тебе, а бремя всей твоей жизни. Но ведь ты знала меня юношей, разве желал тебе зла Генри Дьюри? Он хотел только быть тебе другом. Его, его — прежнего товарища твоих игр, — его, неужели и его ты не можешь простить?

Все это время милорд оставался хладнокровным, но благожелательным наблюдателем, не терявшим присутствия духа. При первом же возгласе, который действительно способен был пробудить всех в доме, он сказал мне через плечо:

— Затворите дверь. — А потом слушал, покачивая головой. — Теперь мы можем оставить его с женой, — сказал он. — Посветите мне, Маккеллар.

Когда я снова пошел, сопровождая милорда, я заметил странное явление: хотя было еще совсем темно и ночь далеко не кончилась, мне почудилось, что уже наступает утро. По ветвям прошел ветерок, и они зашелестели, как тихо набегающие волны, временами лицо нам обдувало свежестью, и пламя свечи колебалось. И под этот шелест и шорох мы еще прибавили шагу, осмотрели место дуэли, причем милорд с величайшим самообладанием глядел на лужу крови; потом прошли дальше к причалу и здесь обнаружили наконец некоторые следы. Во-первых, лед на замерзшей луже был продавлен, и, очевидно, не одним человеком; во-вторых, немного дальше сломано было молодое деревце, а внизу на отмели, где обыкновенно причаливали контрабандисты, еще одно пятно крови указывало на то место, где, отдыхая, они, очевидно, положили тело на землю.

Мы принялись смывать это пятно морской водой, зачерпывая ее шляпой милорда, но вдруг с каким-то стонущим звуком налетел новый порыв ветра и задул свечу.

— Пойдет снег, — сказал милорд, — и это лучшее, чего можно пожелать. Идем обратно; в темноте ничего нельзя сделать.

Идя к дому в снова наступившем затишье, мы услышали нараставший шум и, выйдя из-под густой сени деревьев, поняли, что пошел проливной дождь.

Все это время я не переставал удивляться ясности мысли милорда и его неутомимости. Но это чувство еще усилилось во время совета, который мы держали по возвращении. Ясно было, говорил он, что контрабандисты подобрали Баллантрэ, но живого или мертвого, об этом мы могли только гадать. Дождь еще до рассвета смоет все следы, и этим мы должны воспользоваться. Баллантрэ неожиданно появился под покровом ночи; теперь надо было представить дело так, что он столь же внезапно уехал до наступления дня. Чтобы придать всему этому больше вероятия, мне следовало подняться к нему в комнату, собрать и спрятать его вещи. Правда, мы всецело зависели от молчания контрабандистов, и в этом была неизбежная уязвимость нашего обмана.

Я выслушал милорда, как уже сказал, удивляясь его спокойствию, и поспешил исполнить его приказание. Мистер и миссис Генри ушли из залы, милорд поспешил в постель, чтобы согреться; слуги все еще не подавали признаков жизни, и, когда я поднялся по лестнице в башню и вошел в комнату умершего, мною овладел трепет. К величайшему моему изумлению, в комнате все говорило о спешных сборах. Из трех его саквояжей два были уже увязаны, а третий раскрыт и почти полонИ сразу у меня промелькнула догадка. Так, значит, он готовился к отъезду, он только ждал Крэйла, а Крэйл ждал ветра. Ночью капитан заметил, что погода меняется, и послал шлюпку предупредить, а то и взять пассажира, которого команда шлюпки нашла по дороге в луже крови. Да, но за этим крылось и другое. Эти приготовления к отъезду бросали свет и на страшное оскорбление, брошенное им брату накануне вечером; это был

прощальный удар, взрыв ненависти, уже не подавляемый расчетом. И, с другой стороны, характер его выходки, как и поведение миссис Генри, наводили на догадку, которую я не проверил и теперь уж никогда не проверю до страшного суда, — догадку, что он все-таки забылся, зашел слишком далеко в своих домогательствах и получил отпор. Это, как я сказал, не может быть проверено; но, когда я в то утро стоя, среди его вещей, мысль эта была мне слаще меда.

Прежде чем запереть раскрытый саквояж, я заглянул в него. Там были превосходные кружева и белье, несколько смен изысканного платья, в котором Баллантрэ так любил появляться; десяток книг, притом отборных: «Комментарии» Цезаря, том Гоббса, «Генриада» Вольтера, работа об Индии, какой-то математический труд, недоступный для моего понимания, — вот что увидел я с весьма смешанным чувством. Но в открытом саквояже не было ни следа каких-либо бумаг. Это заставило меня призадуматься. Возможно, что он мертв, но, судя по тому, что контрабандисты подобрали его, это не очень вероятно. Возможно, что он умрет от раны, но и это вовсе не обязательно. А в таком случае приходилось заручиться средствами защиты.

Один за другим я перетащил все саквояжи на чердак, который всегда был на запоре; потом сходил к себе за связкой ключей и, к радости своей, обнаружил, что два из них подошли к замкам саквояжей. В одном я нашел шагреневый бювар, который и вскрыл ножом, и отныне (поскольку дело касалось доброго имени) человек этот был в моей власти. Там оказалась обширная коллекция любовных писем, по преимуществу парижского периода его жизни, и, что более меня интересовало, там были черновики его собственных донесений английскому министру по делам Шотландии и оригиналы ответных писем министра; убийственные документы, опубликование которых опозорило бы Баллантрэ и действительно подвергло бы опасности самую его жизнь. Читая эти бумаги, я смеялся от радости, я потирал руки и напевал себе под нос. Рассвет застал меня за этим приятным занятием, но я не оторвался от бумаг; подойдя к окну, я только удостоверился, что снег весь сошел, все кругом черно, а дождь и ветер свирепствуют в заливе, где и следа не было люггера, на котором Баллантрэ (живой или мертвый) мотался теперь по Ирландскому морю.

Быть может, уместнее всего именно здесь рассказать то немногое, что я позднее узнал о событиях этой ночи. На это потребовалось немало времени, потому что мы не осмеливались расспрашивать прямо, а контрабандисты питали ко мне неприязнь, если не вражду. Только через полгода мы вообще узнали о том, что Баллантрэ выжил, и только много лет спустя я узнал от одного из команды Крэйла, который на свои неправедно нажитые деньги открыл трактир, о некоторых подробностях, показавшихся мне достоверными. Оказывается, что, когда контрабандисты нашли Баллантрэ, он полулежал, опершись на локоть, и то озирался по сторонам, то ошалело глядел на свечу и на свою окровавленную руку. При их появлении он будто бы пришел в себя, попросил отнести его на корабль и держать все дело в тайне, а на вопрос капитана, как это он оказался в таком положении, ответил потоком отчаянной брани и тут же потерял сознание. Они было заспорили, но, боясь пропустить попутный ветер и в ожидании большого куша за переправу его во Францию, не стали медлить. К тому же он пользовался любовью этих презренных негодяев; они считали его приговоренным к смерти, не знали, какое коварство навлекло на него беду, и, по-своему великодушные, сочли своей обязанностью укрыть его от новых напастей. Они погрузили его на корабль, по пути он оправился и уже выздоравливающим был спущен на берег в Гавр-де-Грасе. И что действительно знаменательно: он никому ни словом не обмолвился о дуэли, и до сего дня ни один контрабандист не знает, в какой ссоре и от чьей руки он получил свою рану. У всякого другого я приписал бы это естественной порядочности, у него же — только гордыне. Он не мог признаться, быть может, даже себе самому, что был побежден тем, кому нанес столько оскорблений и кого так жестоко презирал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОБЗОР СОБЫТИЙ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ ОТЛУЧКИ БАЛЛАНТРЭ

О тяжкой болезни, которая на другое же утро открылась у мистера Генри, я могу вспоминать спокойно, уже как о последней напасти, постигшей моего хозяина; она, собственно, была для него скрытым благом, потому что какой телесный недуг может сравняться с терзаниями ума? Ухаживали за ним миссис Генри и я. Милорд время от времени наведывался узнать о состоянии больного, но обычно не переступал порога. Только однажды, когда почти не оставалось надежды, он подошел к кровати, вгляделся в лицо сына и пошел прочь, вскинув голову и простирая вверх руку — жест, который навсегда запомнился мне своей трагичностью: такую печаль и горечь он выражал. Но большую часть времени больной был на попечении миссис Генри и моем; ночью мы сменялись, а днем обычно составляли друг другу компанию, потому что дежурства наши были тоскливы. Мистер Генри, с выбритой головой, обвязанной платком, не переставая, метался, колотя руками о кровать. Он говорил без умолку, и голос его журчал, как речная вода, так что сердце мое устало от этого звука. Интересно отметить (и для меня это было особенно тягостно), что он все время говорил о всяких незначащих вещах: о каких-то приездах и отъездах, о лошадях, — их он приказывал седлать, должно быть, думая (бедняга!), что сможет уехать от своих напастей; или распоряжался по саду, приказывал готовить сети и (что меня особенно бесило) все время распространялся о хозяйственных делах, подсчитывая какие-то суммы и препираясь с арендаторами. Никогда ни слова об отце, жене или о Баллантрэ, — только два-три дня ум его был всецело поглощен воспоминаниями прошлого. Он воображал себя мальчиком и вспоминал, как играл в детстве с братом. И что было особенно трогательно: оказывается, Баллантрэ в детстве едва избежал гибели, и, вспоминая об этом, мистер Генри снова и снова тревожно кричал: «Джемми тонет! Спасите Джемми!»

Это, как я говорил, очень трогало и миссис Генри и меня, но в остальном бред этот был не в пользу моего хозяина. Он, казалось, взялся подкрепить все наветы брата, словно стараясь представить себя человеком черствым, всецело поглощенным стяжанием. Будь я один, я бы и ухом не повел, но, слушая его, я все время прикидывал, какое впечатление это должно производить на его жену, и говорил себе, что он все ниже падает в ее глазах. На всем земном шаре один я по-настоящему понимал его, и я считал своим долгом раскрыть это хотя бы еще одному человеку. Суждено ли ему было умереть и унести с собой свои добродетели, или он должен был выжить и принять на свои плечи печальный груз воспоминаний, я считал своим долгом сделать так, чтобы он был должным образом оплакан в первом случае, а во втором — от всего сердца обласкан человеком, которого он больше всего любил, — женою.

Не находя возможности объясниться на словах, я остановился наконец на, так сказать, документальном разоблачении и в течение ряда ночей, свободных от дежурства, за счет сна подготовил то, что можно было назвать нашим бюджетом. Но это оказалось самой легкой частью дела, а то, что оставалось, — то есть вручение всего подготовленного миледи, — было мне почти что не по силам; Несколько дней я носил под мышкой целую связку документов и все выжидал удобного стечения обстоятельств, которое помогло бы мне начать разговор. Не стану отрицать, что удобные случаи были, но каждый раз язык у меня прилипал к гортани; и, мне кажется, я и по сей день носил бы с собой сверток, если бы счастливый случай не избавил меня от всех колебаний. Это случилось ночью, когда я покидал комнату, так и не выполнив задуманного и кляня себя за трусость.

— Что это вы носите с собою? — спросила она. — Все эти дни я вижу вас все с тем же свертком.

Не говоря ни слова, я вернулся в комнату, положил сверток на стол перед нею и оставил ее одну с моими документами. Теперь я должен дать вам представление о том, что в них заключалось. А для этого, может быть, лучше всего воспроизвести письмо, которое было предпослано моему отчету и черновик которого, следуя своей привычке, я сохранил. Это

покажет также, какую скромную роль играл я во всем этом деле, как бы ни старались некоторые люди представить все по-другому.

Дэррисдир, 1757 г.

Милостивая государыня!

Смею вас уверить, что без уважительной причины я бы никогда не осмелился выйти из рамок своего положения; но я был свидетелем того, сколь много зла проистекло в прошлом для всего вашего благородного дома из-за злополучной скрытности, и бумаги, которые я осмеливаюсь предложить вашему вниманию, являются фамильными документами, с коими вам следует непременно ознакомиться.

При сем прилагаю опись с необходимыми пояснениями и остаюсь, милостивая государыня, готовый к услугам, покорный слуга вашей милости

Эфраим Маккеллар.

Опись документов

А. Черновики десяти писем Эфраима Маккеллара к достопочтенному Джемсу Дьюри, эсквайру, именуемому также владетелем Баллантрэ, за время пребывания последнего в Париже от… (следуют даты).

Примечание. Читать, сопоставляя с В, и С.

В. Три подлинных письма вышеупомянутого Баллантрэ к вышеупомянутому Э. Маккеллару от… (следуют даты).

С. Три подлинных письма вышеупомянутого Баллантрэ к достопочтенному Генри Дьюри, эсквайру от… (следуют даты).

Примечание. Письма были вручены мне мистером Генри для ответа. Копии с моих ответов А4, А5 и А9 прилагаются. Смысл ответов мистера Генри, черновика которых у меня не сохранилось, ясен из последующих писем его бессердечного брата.

О. Переписка (в подлинниках и копиях) за последние три года, кончая текущим январем, между вышеупомянутым Баллантрэ и мистером… помощником министра… всего 37.

Примечание. Найдены среди бумаг Баллантрэ.

Как ни был я измучен бессонницей и унынием, я все же не мог сомкнуть глаз. Всю ночь напролет я ходил взад и вперед по комнате, раздумывая, какой будет результат моей затеи, и временами раскаиваясь, что так безрассудно вмешался в столь интимное дело, и как только начало светать, я уже был у дверей комнаты больного.

Миссис Генри распахнула ставни и даже окна, потому что было тепло. Она сидела, глядя прямо перед собой, туда, где не было ничего, кроме рассветного неба над лесами. Она даже не обернулась на звук моих шагов, и это мне показалось плохим предзнаменованием.

— Сударыня, — начал я, — сударыня! — Но дальше продолжать не смог.

А миссис Генри не пришла мне на помощь ни словом. Тем временем я стал собирать бумаги, раскиданные по столу, и с первого взгляда меня поразило, что их стало меньше. Я просмотрел их раз и другой; переписки с министром, на которую я возлагал такие надежды, нигде не было. Я посмотрел на камин: между тлеющим жаром еще извивались клочки обуглившейся бумаги. И тут всю мою робость как рукой сняло.

— Боже правый! — вскричал я голосом, совсем не уместным в комнате больного. — Боже правый, что сделали вы, сударыня, с моими бумагами?!

— Я сожгла их, — сказала, оборачиваясь, миссис Генри. — Достаточно, даже слишком достаточно и того, что их видели мы с вами.

— Хорошо же вы потрудились сегодня ночью! — кричал я. — И все это, чтобы спасти репутацию человека, который ел хлеб измены, проливая кровь товарищей с той же легкостью, с какой я извожу чернила!

— Чтобы спасти репутацию семьи, которой вы служите, мистер Маккеллар, — возразила она, — и для которой вы уже сделали так много.

— Семьи, которой я не хочу больше служить, — кричал я, — потому что сил моих нет! Вы сами вышибли меч из моих рук и оставили нас беззащитными. Имея эти письма, я мог бы поразить его, а теперь что делать? Мы в таком ложном положении, что не можем даже показать этому человеку на дверь: вся округа поднимется против нас. У меня была единственная острастка — и теперь нет ее; теперь он завтра же может вернуться, и мы все должны будем сидеть с ним за одним столом, гулять с ним по террасе, играть с ним в карты и всячески развлекать его. Нет, сударыня! Пусть господь прощает вас по своему великому милосердию, но нет для вас прощения в моем сердце.

— Удивляюсь, как вы простодушны, мистер Маккеллар! — сказала миссис Генри. — Что значит репутация для этого человека? Зато он знает, как дорога она для нас; он знает, что мы скорей умрем, чем предадим эти письма гласности; и вы думаете, что он этим не воспользуется? То, что вы назвали своим мечом, мистер Маккеллар, и что действительно было бы верным оружием против человека, сохранившего хоть крупицу порядочности, лишь картонный меч в борьбе с ним. Да пригрози вы ему этим, он только рассмеется вам в лицо! Он утвердился в своем позоре, он обратил его в свою силу, бороться с такими людьми бесполезно! — Последние слова она почти выкрикнула и потом продолжала уже спокойнее: — Нет, мистер Маккеллар, я всю ночь обдумывала это и не вижу никакого выхода. Есть бумаги, нет их — все равно дверь этого дома открыта для него, здесь он бесспорный, законный наследник! Попробуй мы только устранить его, и все обратится против бедного Генри, и, я уверена, его побьют камнями на улицах. Конечно, если Генри умрет, тогда другое дело! Они очень кстати отменили майорат, поместье перейдет к моей дочери, и тогда посмотрим, кто осмелится отнять его. Но, мой бедный мистер Маккеллар, если Генри выживет и этот человек вернется, тогда нам придется терпеть… только на этот раз всем вместе.

В общем, я был скорее доволен рассуждениями миссис Генри и даже не мог отрицать резонности ее доводов против использования бумаг.

— Не будем больше говорить об этом, — сказал я. — Могу лишь сожалеть, что доверил женщине подлинники; это было по меньшей мере опрометчиво для делового человека. А то, что я оставлю службу вашей семье, это, конечно, только слова, и вы можете на этот счет не тревожиться. Я принадлежу Дэррисдиру, миссис Генри, как если бы я в нем родился.

Должен отдать ей справедливость, она отнеслась к моим словам разумно и благожелательно, и это утро началось в духе взаимного уважения и уступок, который с тех пор много лет господствовал в наших отношениях.

В тот же день, как видно, предопределенный для радости, мы отметили первые признаки выздоровления мистера Генри, а еще через три дня он пришел в сознание и, узнав меня, назвал по имени и оказал другие знаки своего ко мне расположения. Миссис Генри была при этом. Она стояла в ногах кровати, но он, казалось, не заметил ее. В самом деле, теперь, когда горячка прошла, он был так слаб, что, сделав одно усилие, сейчас же вновь погрузился в забытье. Но после этого он стал неуклонно (хоть и медленно) поправляться, с каждым днем аппетит его улучшался, с каждой неделей мы отмечали, как он крепнет и прибывает в теле, а еще до окончания месяца он уже поднимался с кровати, и мы даже начали выносить его в кресле на террасу.

Может быть, именно в это время мы с миссис Генри пребывали в наибольшей тревоге. Теперь, когда рассеялись опасения за его жизнь, их сменили еще горшие опасения. С каждым днем мы приближались к решающему разговору, но время шло, а все оставалось по-прежнему.

Здоровье мистера Генри крепло, он вел с нами беседы на разные темы, отец приходил к нему, сидел и уходил; и ни разу не была упомянута происшедшая трагедия и все, что привело к ней. Помнил он и лелеял эти ужасные переживания? Или они целиком изгладились из его памяти? Этот вопрос заставлял нас, трепеща, наблюдать за мистером Генри, когда мы целыми днями находились с ним, этот вопрос преследовал каждого из нас и в часы бессонницы. Мы не знали даже, чего нам желать, — так противоестественны были оба допущения, так ясно они указывали на повредившийся рассудок. Как только возникли наши страхи, я стал прилежно наблюдать за его поведением. В нем появилось что-то детское: веселость, ранее ему несвойственная, а также быстро возникавший и надолго сохранявшийся интерес ко всяким мелочам, которыми он раньше пренебрегал. В годы унижения я был его единственным наперсником, могу сказать, единственным другом, а между ним и его женой было известное отчуждение; после болезни все изменилось, прошлое было забыто, и жена безраздельно завладела его мыслями. Он тянулся к ней всем своим существом, как дитя к матери, и, казалось, не сомневался в ответном чувстве. Он по всякому поводу обращался к ней с той капризной ворчливостью, которая означает полную уверенность в снисхождении, и я могу отдать должное этой женщине: он не обманывался в своих надеждах. Ее эта перемена как-то особенно трогала; я думаю, что она ощущала ее втайне как упрек; и я не раз видел, как первое время она ускользала из комнаты, чтобы выплакаться вволю. Но мне эта перемена не представлялась естественной, и, сопоставляя ее со всем прочим, я только покачивал головой и начинал уже подумывать, не поколебался ли его рассудок.

Так как эти сомнения продолжались много лет, до самой смерти моего хозяина, и омрачали наши отношения, я считаю себя вправе остановиться на этом вопросе подробнее. Когда он, окрепнув, вернулся до известной степени к своим хозяйственным делам, я имел много случаев испытать его. Я не замечал в нем ослабления остроты мысли или воли, но былая сосредоточенность и упорство совершенно исчезли, он скоро уставал и принимался зевать, и теперь вносил в денежные дела ту легкость, которая граничила с легкомыслием и была совершенно неуместна. Правда, что с тех пор, как отпала необходимость удовлетворять домогательства Баллантрэ, у нас было меньше оснований возводить в принцип строжайшую точность и бороться за каждый фартинг. Правда и то, что во всех этих послаблениях не было ничего чрезмерного, иначе я никогда не принял бы в них участия. Однако все это означало перемену, небольшую, но заметную; и хотя никто не сказал бы, что хозяин мой сошел с ума, однако никто не мог бы отрицать, что характер у него изменился. Такая же перемена сохранилась до конца в его наружности и манерах. Казалось, что в жилах его все еще оставались следы горячки, движения стали порывистей, речь заметно более многословной, хоть и не бессвязной. Его разум теперь охотнее принимал светлые впечатления, он радостно отзывался на них и очень ими дорожил, но при малейшем намеке на заботу или осложнение выказывал явную раздражительность и с облегчением отстранял их от себя. Именно этому он и обязан был безмятежностью своих последних лет, но в этом-то и таилась его ненормальность. Значительная часть нашей жизни проходит в созерцании неизбежного и непоправимого, но мистер Генри в тех случаях, когда не мог усилием мысли отогнать заботу, стремился сейчас же и любой ценой устранить ее причину, разыгрывая попеременно то страуса, то быка. Этому неотвязному страху перед болью я приписываю все необдуманные и злополучные поступки следующих лет. Именно этим и объясняется то, что он избил конюха Макмануса — поступок, столь не вязавшийся с прежним поведением мистера Генри и вызвавший так много толков. Именно этому обязаны были мы потерей свыше двухсот фунтов: половину этих денег я мог бы спасти, если бы он в своем нетерпении не помешал мне. Но он предпочитал потерю или какую-нибудь крайнюю меру всякому длительному напряжению мысли.

Однако все это увело меня от непосредственной нашей заботы тех дней: вопроса — помнит он, что сделал, или забыл, и если помнит, как к этому относится. Обнаружилось это внезапно, и так, что я был поражен до глубины души. Он уже несколько раз выходил на воздух

и прогуливался по террасе, опираясь на мою руку. И вот однажды он обернулся ко мне и, словно провинившийся школьник, со странной, беглой улыбкой спросил меня таинственным шепотом и без всякого предупреждения:

— Где вы его похоронили?

Я не мог выговорить ни слова.

— Где вы его похоронили? — повторил он. — Я хочу видеть его могилу.

Я понял, что лучше всего рубить сплеча.

— Мистер Генри, — сказал я. — У меня для вас есть новости, которые вас порадуют. Судя по всему, руки ваши не обагрены его кровью. Я сужу по ряду указаний, и все они говорят о том, что брат ваш не умер, но был перенесен в обмороке на борт люггера. И теперь он, должно быть, вполне здоров.

Я не мог разобраться в выражении его лица.

— Джемс? — спросил он.

— Да, ваш брат Джемс, — ответил я. — Я не стал бы высказывать необоснованной надежды, но я считаю весьма вероятным, что он жив.

— Ах! — сказал мистер Генри и, внезапно поднявшись с еще непривычной для меня порывистостью, приложил палец к моей груди и прокричал мне каким-то визгливым шепотом: — Маккеллар, — вот его собственные слова, — Маккеллар, ничто не может убить этого человека. Он не подвержен смерти. Он прикован ко мне навеки, до скончания веков! — И, опустившись в кресло, мистер Генри погрузился в угрюмое молчание.

Через два-три дня он сказал мне, все с той же виноватой улыбкой и озираясь по сторонам, чтобы увериться, что мы одни:

— Маккеллар, если будут у вас сведения о нем, непременно скажите мне. Не надо упускать его из виду, а не то он застигнет нас врасплох.

— Он сюда больше не покажется, — сказал я.

— Нет, покажется. Где буду я, там будет и он. — И мистер Генри снова оглянулся.

— Не надо внушать себе эти мысли, мистер Генри, — сказал я.

— Да, — отозвался он. — Это хороший совет. Не будем думать об этом, по крайней мере до новых вестей. Да мы и не знаем, — добавил он, — все-таки, быть может, он умер.

То, как он это сказал, окончательно подтвердило догадку, на которую я до сих пор едва отваживался. Он не только не терзался содеянным, но сожалел о неудаче. Это открытие я держал про себя, боясь, что оно восстановит против него жену. Но я мог бы не беспокоиться: она и сама догадалась о том же и сочла это чувство вполне естественным. И я могу смело утверждать, что теперь мы трое были одного мнения, и не было бы в Дэррисдире вести желаннее, чем весть о смерти Баллантрэ.

Однако не все так думали, исключением был милорд. Едва моя тревога за хозяина начала ослабевать, как я заметил перемены в старом лорде — его отце, перемены, которые грозили смертельным исходом. Лицо у него было бледное и оплывшее; сидя у камина со своей латинской книгой, он, случалось, засыпал и ронял книгу в золу; бывали дни, когда он волочил ногу, в другие — запинался в разговоре. Мягкость его обхождения дошла до крайности; он беспрестанно извинялся по всякому поводу, все время заботился, как бы кого не потревожить, даже со мной обращался с вкрадчивой учтивостью. Однажды, после того как он вызвал к себе своего поверенного и долго просидел с ним наедине, он повстречал меня в зале, которую пересекал неуверенным, заплетающимся шагом, и ласково взял за руку.

— Мистер Маккеллар, — сказал он, — я имел много случаев высоко оценить ваши заслуги; а сегодня, переделывая свое завещание, я взял на себя смелость назначить вас одним из своих

душеприказчиков. Я надеюсь, что из любви к нашему дому вы не откажетесь оказать мне и эту услугу.

Большую часть дня он теперь проводил в полудремоте, из которой его подчас было трудно вывести. Он, казалось, потерял всякий счет годам и несколько раз (особенно при пробуждении) принимался звать жену и старого слугу, самый памятник которого давно уже порос мхом. Под присягой я показал бы тогда, что он невменяем; и тем не менее я еще не видывал завещания, настолько продуманного во всех мелочах и обнаруживающего такое превосходное знание людей и дел.

Угасание его, хотя и заняло немного времени, совершалось постепенно и почти неуловимо. Все его способности как бы отмирали; он уже почти не владел конечностями и был почти совершенно глух, речь его перешла в бормотание, и, однако, до самого конца он проявлял крайнюю учтивость и мягкость, пожимал руку каждого, кто помогал ему, подарил мне одну из своих латинских книг, на которой с трудом нацарапал мое имя, — словом, тысячью способов напоминал нам об огромности потери, которую мы, собственно говоря, уже понесли. В самом конце к нему временами возвращался дар речи, — казалось, что он просто забыл все слова, как ребенок забывает свой урок и время от времени частями вспоминает его. В последний вечер он вдруг прервал молчание цитатой из Вергилия: «Gnatique patrisque, alma, precor miserere»,[33] — произнесенной ясно и с выражением. При неожиданном звуке его голоса мы бросили свои занятия, но напрасно собрались мы вокруг него: он сидел молча и, судя по всему, уже ничего не сознавал. Вскоре после этого его уложили в постель, хотя и с большим трудом, чем обычно; и в ту же ночь он тихо скончался.

Гораздо позже мне довелось говорить об этом с одним врачом, человеком настолько известным, что я не решаюсь приводить его имя по такому мелкому поводу. Он считал, что и отец и сын оба были поражены одинаковым недугом: отец под бременем неслыханных огорчений, сын, вероятно, после перенесенной горячки. У обоих произошел разрыв сосудов мозга, к чему (по мнению доктора) у них, очевидно, было наследственное предрасположение. Отец скончался, сын, судя по внешним признакам, выздоровел, но, по-видимому, произошло разрушение в тех тончайших тканях, в которых пребывает душа, выполняя через них свое земное предназначение (а духовное ее существование, хочу надеяться, не зависит от столь материальных причин). Но, по зрелому обсуждению, и это не было бы противоречиво, ибо тот, кто рассудит нас на последнем суде, в то же время и создатель нашей бренной плоти.

Поведение его наследника дало нам, наблюдавшим за ним, новый повод к изумлению. Для всякого здравомыслящего человека было ясно: братоубийственная распря насмерть поразила отца, и тот, кто поднял меч, можно сказать, своей рукой убил его. Но, казалось, мысли этого рода не тревожили нового лорда. Он стал степенней, не скажу чтобы печальней, разве что благодушной печалью. Он говорил о покойном с улыбкой сожаления, вспоминая привычки отца и всякие случаи из его жизни. Все погребальные церемонии он выполнял с требуемой торжественностью. Кроме того, я заметил, что он весьма дорожил своим новым титулом и неукоснительно требовал соответствующего обращения.

И вот наступило время, когда на сцене появилось новое лицо, которому также предстояло сыграть свою роль в этой истории: я разумею нынешнего лорда Александера, чье рождение (17 июля 1757 года) до краев наполнило чашу благополучия бедного моего хозяина. Ему больше ничего не оставалось желать, не оставалось даже времени для этого. В самом деле, не было на свете более любящего и заботливого отца. В отсутствие сына он не находил себе места. Когда он гулял, отец беспокоился, не собираются ли тучи. Ночью он не один раз вставал, чтобы убедиться, что сон ребенка безмятежен. Для посторонних разговор его стал утомителен, потому что он не говорил ни о чем, кроме сына. В делах поместья все рассматривалось им под тем же углом: «Займемся этим сейчас же, чтобы к совершеннолетию Санди роща подросла»

или: «Вот это как раз подоспеет ко времени женитьбы Санди». С каждым днем эта полная поглощенность сыном сказывалась все резче, когда трогательно, а когда и прискорбно. Скоро сын уже мог гулять с ним — сначала за руку по террасе, а потом и по всему поместью. И это стало основным занятием милорда. Их голоса (слышные издалека, потому что говорили они громко) скоро стали так же привычны, как голоса птиц (только много приятнее). Отрадно было видеть, как они возвращались все в шипах, и отец такой же раскрасневшийся и, случалось, такой же перепачканный, как и сын. Они наперебой предавались всяким детским забавам, копаясь на берегу, запруживая всякие ручейки. И не раз я видел, как оба они смотрели через забор на стадо с одинаковым ребяческим увлечением.

Упоминание об этих прогулках приводит мне на память странную сцену, свидетелем которой я оказался. Была одна дорога, на которую я всякий раз вступал с неизменным трепетом, так часто шел я по ней с плачевными поручениями, так много случилось на ней пагубного для дома Дэррисдиров. Но это была кратчайшая дорога через Мэкклросс, и скрепя сердце я вынужден был пользоваться ею хоть раз в два месяца. Случилось это, когда мистеру Александеру было лет семь или восемь. Ясным солнечным утром я возвращался домой около девяти часов и вошел в аллею сквозь заросли. Было то время года, когда леса и рощи одеты в яркие весенние краски, терновник в цвету, а птицы в самом разгаре певчей поры. Среди всего этого веселья чаща кустарников была мрачнее обычного и вызывала во мне гнетущие воспоминания. В таком состоянии духа мне особенно неприятно было услышать впереди себя голоса, по которым я узнал милорда и мистера Александера. Я прибавил шагу и скоро увидел их. Они стояли на лужайке, где произошла дуэль; милорд, положив руку на плечо сына, о чем-то серьезно ему рассказывал. При моем приближении он поднял голову, и мне показалось, что лицо его прояснилось.

— А, — сказал он, — вот и добрейший Маккеллар. Я только что рассказывал Санди историю этого места и о том, как дьявол чуть было не убил здесь человека, но как вместо этого человек чуть было не убил дьявола.

Мне показалось странным, что он привел сюда ребенка, но то, что он распространялся о своем поступке, было уже чересчур. Однако худшее было впереди, потому что, обратясь к сыну, он сказал:

— Вот можешь спросить Маккеллара, он был тут и все видел.

— Это правда, мистер Маккеллар? — спросил ребенок. — Вы правда видели дьявола?

— Я не слышал рассказа и очень тороплюсь по делам.

Я сказал это довольно угрюмо, преодолевая чувство неловкости, и внезапно вся горечь прошлого и весь ужас этой сцены при зажженных свечах нахлынули на меня. Мне представилось, что мгновенное промедление в выпаде — и ребенок этот не увидел бы отца. Волнение, которое всегда овладевало мною в этих мрачных зарослях, прорвалось неудержимо.

— Правда одно, — воскликнул я, — что я действительно встретил дьявола в этих местах и видел его тут побежденным! Благодарение богу, что мы сохранили жизнь, благодарение богу, что до сих пор не поколеблены стены Дэррисдира! И заклинаю вас, мистер Александер: если придется вам быть на этом месте, хоть через сотню лет и в самом веселом, самом знатном обществе, — все равно отойдите в сторонку и сотворите молитву.

Милорд важно кивнул головой.

— Да, — сказал он, — Маккеллар, как всегда, прав. Ну-ка, сын мой, обнажи голову! — И с этими словами он снял шляпу и простер вперед руку.

— Господи! — сказал он. — Благодарю тебя, и сын мой благодарит тебя за твои великие, неизреченные милости. Ниспошли нам мир, огради нас от злого человека. Порази его, господи, в его лживые уста! — Последние слова вырвались у него криком, и то ли пробудившийся гнев перехватил ему глотку, то ли он понял, насколько неуместна такая молитва, но только он вдруг замолчал и минуту спустя надел шляпу.

— Мне кажется, вы не кончили, милорд, — сказал я. — И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. Яко твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь!

— Ах! Легко это сказать, — отозвался милорд. — Это очень легко сказать, Маккеллар. Но мне простить! Хорош бы я был, если бы прикидывался всепрощающим!

— Ребенок, милорд! — заметил я с некоторой суровостью, потому что считал слова его вовсе не подходящими для детского слуха.

— Да, да, верно, — сказал он. — Скучная это материя для ребят. А ну-ка, пойдем искать птичьи гнезда.

Не помню уже, в тот ли день или несколько позже, но только милорд, застав меня одного, высказался по этому поводу еще определеннее.

— Маккеллар, — сказал он. — Я теперь очень счастливый человек.

— Я тоже так полагаю, милорд, и меня это очень радует.

— У счастья есть свои обязательства, вы не считаете? — сказал он в раздумье.

— Бесспорно, — ответил я, — как и у горя есть свои. И если мы живем не для того, чтобы делать лучшее, на что способны, то, по моему крайнему разумению, чем скорее мы уйдем, тем лучше будет для всех.

— Да, но будь вы на моем месте, неужели вы простили бы его? — спросил милорд.

Внезапность атаки несколько ошеломила меня.

— Это долг, который надо беспрекословно исполнять, — сказал я.

— Бросьте! Без уверток! Скажите, сами вы простили бы этого человека?

— Нет! Да простит мне бог, нет!

— Вашу руку, мой друг! — воскликнул милорд с явной радостью.

— Не подобает христианам радоваться подобным чувствам, — сказал я. — Надеюсь, мы порадуемся по другому, более приличному поводу.

Говоря это, я улыбнулся, а милорд, громко смеясь, вышел из комнаты.

Нет у меня слов, чтобы рассказать о том рабском обожании, которое питал милорд к ребенку. Это было поистине наваждение: дела, друзья и жена были равно позабыты или вспоминались только с трудом, как у человека, борющегося с опьянением. Всего яснее было это по отношению к жене. С тех пор как я знал Дэррисдиров, она всецело занимала его мысли и приковывала его глаза; теперь же ее словно не существовало. Я был свидетелем того, как, войдя в комнату, ни окидывал ее взором и потом проходил мимо, словно она была собакой у камина. Он хотел видеть только мальчика, и миледи прекрасно это сознавала. Случалось, милорд говорил с ней так грубо, что меня тянуло вмешаться; и всегда причина этому была одна: ему казалось, что она так или иначе обижает сына. Без сомнения, это было для нее своего рода возмездием. Без сомнения, роли теперь переменились, как это может случиться лишь по воле провидения. Столько лет она пренебрегала любыми проявлениями нежности и внимания, теперь пришел ее черед испытать пренебрежение; тем похвальнее то, что она выносила его с достоинством.

Все это привело к странным последствиям: снова дом разделился на две партии, и на этот раз я был на стороне миледи. Не то чтобы любовь моя к милорду ослабела. Но, с одной стороны, теперь он меньше нуждался в моем обществе; с другой стороны, я не мог не сравнивать его отношения к мистеру Александеру и к мисс Кэтрин, к которой милорд был совершенно равнодушен. Наконец, я был уязвлен его переменой по отношению к жене, что, казалось мне, граничило с неверностью. К тому же я не мог не восхищаться выдержкой и мягкостью, которые она проявляла. Может быть, чувство ее к милорду, коренившееся с самого начала в жалости, было скорее материнским, чем супружеским; может быть, ей нравилось, что

двое ее детей (если можно так выразиться) столь нежны друг к другу, тем более, что один из них так много и незаслуженно претерпел в прошлом. И, не выказывая признаков ревности, она много внимания уделяла бедняжке мисс Кэтрин. Что касается меня, то я свои свободные часы все чаще проводил в обществе матери и дочери. Не следует преувеличивать этой розни, ведь в общем это была далеко не самая недружная семья; но закрывать глаза на положение не приходилось, независимо от того, сознавал это милорд или нет. Полагаю, что нет, — он был слишком поглощен мыслями о сыне, но все остальные прекрасно сознавали и мучились от этого.

Больше всего, однако, нас тревожила серьезная и все возрастающая угроза для самого ребенка. Милорд повторял ошибки своего отца, и можно было опасаться, что из его сына выйдет второй Баллантрэ. Время показало, что страхи эти были излишни. В самом деле, мало найдется в теперешней Шотландии джентльменов достойнее десятого лорда Дэррисдира. Не мне говорить о том, как кончилась моя служба у него, тем более в записке, цель которой лишь в том, чтобы отдать должное его отцу…

Примечание издателя. Здесь опущено пять страниц из рукописи мистера Маккеллара. По ним у меня создалось впечатление, что в старости мистер Маккеллар был довольно-таки требовательным слугою. Однако ничего существенного он не ставит в вину десятому лорду Дэррисдиру (который к тому же нас сейчас мало интересует). — Р. Л. С.

… Но в то время нас обуревал страх, что он сделает из сына копию своего брата. Миледи пыталась было установить разумную строгость, но из этого ничего не вышло; и, отказавшись от своих попыток, она теперь наблюдала за всем со скрытым беспокойством. Иногда она даже пыталась высказывать его, а изредка, когда до нее доходило какое-нибудь чудовищное попустительство милорда, позволяла себе неодобрительный жест или восклицание. Что касается меня, то я думал об этом неотступно и днем и ночью, причем не столько о ребенке, сколько об отце. Видно было, что человек уснул, что ему грезятся сны, что всякое резкое пробуждение неминуемо окажется роковым. Я был убежден, что такой удар убьет его, а страх нового бесчестья заставлял меня содрогаться.

Эта постоянная озабоченность довела меня наконец до попытки вмешаться — случай, о котором стоит рассказать подробнее. Как-то раз мы с милордом сидели за столом, обсуждая какие-то скучные хозяйственные дела. Я уже говорил, что он потерял всякий интерес к подобным занятиям. Он явно стремился поскорее уйти, вид у него был недовольный, усталый, и я вдруг заметил, как он за это время постарел. Мне кажется, что именно его расстроенное лицо заставило меня заговорить.

— Милорд, — начал я, не поднимая головы от бумаг, которыми для виду не переставал заниматься, — или, если позволите, мистер Генри, потому что я боюсь прогневить вас и хотел бы, чтобы вы вспомнили о старом…

— Мой добрый Маккеллар, — сказал он, и так мягко, что я чуть было не отказался от своей затеи.

Но я подумал, что говорю ради его же пользы, и продолжал:

— Вам никогда не приходилось задумываться над тем, что вы делаете?

— Над тем, что я делаю? — спросил он. — Я не мастер разгадывать загадки.

— Что вы делаете со своим сыном?

— Ах, вот что, — сказал он с оттенком вызова. — Так что же я делаю со своим сыном?

— Ваш батюшка был превосходный человек, — уклонился я от прямого ответа, — но считаете ли вы его разумным отцом?

Он помолчал немного, а потом ответил:

— Я его не порицаю. Я мог бы по этому поводу сказать больше, чем кто бы то ни было, но я его не порицаю.

— Вот именно, — сказал я. — Вы-то можете об этом судить. Конечно, ваш батюшка был превосходный человек, я не знавал другого такого, и умнейший во всем, кроме одного. И там, где он спотыкался, там другому впору упасть. У него было два сына…

Тут милорд с размаху хлопнул рукой по столу.

— В чем дело?! — крикнул он. — Да говорите вы!

— Ну и скажу, — продолжал я, хотя мне казалось, что стук сердца заглушает самые мои слова. — Если вы не перестанете потакать мистеру Александеру, вы пойдете по стопам вашего отца. Только берегитесь, милорд, чтобы сын ваш, когда подрастет, не пошел по стопам Баллантрэ…

Я никак не думал ставить вопрос так круто, но в состоянии крайнего страха человека охватывает самая грубая отвага. И я сжег свои корабли, произнеся это резкое слово. Ответа я так и не получил. Подняв голову, я увидел, что милорд вскочил на ноги и сейчас же тяжело рухнул на пол. Припадок, или обморок, скоро прошел, он вяло провел рукой по голове, которую я поддерживал, и оказал тусклым голосом:

— Мне было нехорошо… — И немного погодя: — Помогите мне.

Я поставил его на ноги, и он стоял, опираясь на стол.

— Мне было нехорошо, Маккеллар, — опять сказал он. — Что-то оборвалось, Маккеллар, или только хотело оборваться, а потом все от меня поплыло. Я, должно быть, очень рассердился. Но не бойтесь, Маккеллар, не бойтесь, мой милый. Я и волоса не тронул бы на вашей голове. Слишком много мы с вами пережили вместе; и этого теперь ничем не зачеркнешь. Но знаете что, Маккеллар, я сейчас пойду к миссис Генри, лучше я пойду к миссис Генри… — повторил он и довольно твердыми шагами вышел из комнаты, оставив меня горько раскаиваться в содеянном.

Вскоре дверь распахнулась, и вбежала миледи; глаза ее сверкали от гнева.

— Что это значит? — воскликнула она. — Что вы сделали с моим мужем? Неужели вы никогда не научитесь знать свое место? Неужели вы никогда не перестанете вмешиваться в дела, которые вас не касаются?

— Миледи, — сказал я. — С тех пор, как я живу в этом доме, я слышал много упреков. Было время, когда они были моей каждодневной пищей, и я привык глотать их. Но сегодня обзывайте меня как хотите, вы никак не подберете достойного слова для моей глупости. Однако поверьте, что я сделал это с наилучшими намерениями!

Я чистосердечно рассказал ей обо всем так, как это здесь записано. Выслушав меня, она задумалась, и мне ясно стало, что ее раздражение прошло.

— Да, — сказала она, — вы сделали это с наилучшими намерениями. Я и сама намеревалась или, вернее, хотела это сделать, и я не могу сердиться на вас. Но, боже мой, неужели вы не понимаете, что он больше не может, не может больше терпеть? Струна натянута до отказа. Что думать о будущем, если он может урвать у судьбы два-три счастливых дня?

— Аминь! — сказал я. — Больше я не буду вмешиваться. Я удовлетворен тем, что вы признали чистоту моих намерений.

— Да, конечно, — отозвалась миледи, — но когда дошло до дела, мужество вам, должно быть, изменило, потому что сказанное вами было сказано жестоко. — Она помолчала, вглядываясь в меня, потом слегка улыбнулась и произнесла странную фразу: — Знаете, кто вы такой, мистер Маккеллар? Вы старая дева.

С тех пор и до самого возвращения нашего злого гения в семействе Дьюри не произошло ничего достойного упоминания. Но тут я должен привести второй отрывок из записок кавалера Бэрка, сам по себе интересный и необходимый мне для дальнейшего изложения. Это единственное свидетельство о скитаниях Баллантрэ в Индии и первое на этих страницах упоминание о Секундре Дассе. Оно обнаруживает, как увидим, одно обстоятельство, которое,

знай мы его лет двадцать назад, устранило бы столько бед и несчастий, а именно то, что Секундра Дасс говорил по-английски.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАВАЛЕРА БЭРКА В ИНДИИ
(Выдержки из его записок.)

И вот я был на улицах этого города, название которого не могу припомнить и расположение которого так плохо тогда представлял, что не мог сообразить, куда мне бежать — на север или на юг. Тревога, была так внезапна, что я выскочил без чулок и туфель; треуголку мою сшибли с головы в давке; все мои пожитки достались англичанам. Единственным моим товарищем был мой сипай,[34] единственным оружием — моя шпага, а достоянием — завалявшаяся в карманах монетка. Словом, я был очень похож на тех дервишей,[35] о которых пишет в своих изящных рассказах мистер Галланд.[36] Как помнится, эти джентльмены становились героями одного необычайного приключения за другим, а сам я был на пороге такого поразительного приключения, что, признаюсь, и посейчас не могу его объяснить.

Сипай был честнейший малый, он много лет служил под знаменами французов и готов был дать изрубить себя на куски за любого из соотечественников мистера Лалли. Это был тот самый сипай (имя его совершенно изгладилось из моей памяти), об удивительном великодушии которого я уже рассказывал. Это он, найдя нас с месье де Фессаком на валах в состоянии полного опьянения, покрыл нас соломой перед приходом коменданта. Поэтому я советовался с ним со всей откровенностью. Легко было спрашивать, что делать; но в конце концов мы решили перебраться через какую-нибудь садовую ограду, там можно было, во всяком случае, поспать в тени деревьев, а может быть, и как-нибудь раздобыть туфли и чалму. В этой части города было множество таких оград, весь квартал состоял из огороженных садов, а разделявшие их проулки были в этот поздний час совершенно пусты. Я подсадил сипая, и скоро мы очутились за оградой, где густо росли деревья. Все вокруг было напитано росой, которая в этой стране очень вредна, особенно для белых, но усталость моя была такова, что я уже совсем засыпал, когда сипай вернул меня к действительности.

В дальнем конце сада внезапно зажегся яркий огонь и стал светить нам сквозь широкие листья. Это было столь неожиданно в таком месте и в такой час, что заставляло действовать осмотрительно. Сипай был послан мною на разведку и скоро вернулся с известием, что нам очень не повезло: владение принадлежало белому человеку, и, по-видимому, англичанину.

— Клянусь святым Патриком, — сказал я, — надо еще посмотреть, что это за белый, потому что с соизволения божьего всякие бывают белые люди.

Сипай провел меня к месту, откуда хорошо виден был дом, окруженный широкой верандой; на полу ее стоял оправленный светильник, и возле него, скрестив ноги на восточный лад, сидели двое. Оба они были закутаны по туземной моде в муслин, но один из них был не только европеец, но человек хорошо известный и мне и читателю, — в самом деле, это был не кто иной, как владетель Баллантрэ, о доблестях и уме которого я так много рассказывал на этих страницах. До меня и раньше доходили слухи, что он прибыл в Индию, но мы ни разу не встречались, и я понятия не имел, чем он занимается. Как только я узнал его и понял, что попал к своему старому товарищу, я считал уже, что все мои злоключения счастливо закончились. Я, нимало не таясь, вышел на ярко освещенную луною лужайку и, назвав Баллантрэ по имени, в немногих словах изложил ему свое бедственное положение. Он обернулся, чуть заметно вздрогнув, и смотрел на меня в упор в продолжение всего моего рассказа, а потом, обратившись к своему товарищу, что-то сказал ему на местном варварском наречии. Второй, хрупкий и худощавый — ноги, как палки, а пальцы, словно соломинки,[37] — тотчас же встал.

— Сахиб,[38] — сказал он, — не понимает по-английски. Я знаю по-английски и вижу, что произошла небольшая ошибка, о, самая незначительная и частая ошибка. Но сахиб хотел бы знать, каким образом вы очутились в саду.

— Баллантрэ! — вскричал я. — Неужели у вас хватит наглости отрекаться от меня, вот так — лицом к лицу?!

У Баллантрэ не дрогнул ни один мускул, он глядел на меня, словно идол в кумирне.

— Сахиб не понимает английского языка, — повторил туземец так же бойко, как и раньше. — Он хотел бы знать, каким образом вы очутились в этом саду.

— О, сатана ему в зубы! — говорю я. — Он хочет знать, как мы попали в этот сад? Так вот, милейший, будь добр передать твоему сахибу привет и уведомить его, что тут нас двое солдат, которых он видом не видывал, слыхом не слыхивал, но что сипай этот бравый малый, а я тоже ни в чем ему не уступлю, и что если нас тут как следует не накормят и не снабдят чалмой, и туфлями, и разменной монетой на дорогу, то тогда, мой друг, я мог бы назвать сад, где скоро, очень скоро будет весьма неуютно.

Они продолжали ломать комедию, даже посовещались о чем-то на индустани, а потом, все с тою же улыбочкой, но вздыхая, словно повторения его утомили, индус снова проговорил:

— Сахиб хотел бы знать, каким образом вы очутились в этом саду.

— Так вот вы как! — говорю я и кладу руку на эфес, а сипаю приказываю обнажить оружие.

Все так же улыбаясь, индус достает из-за пазухи пистолет, и хотя Баллантрэ и пальцем не пошевелил, я достаточно хорошо знал его, чтобы понимать, что и он готов к нападению.

— Сахиб полагает, что вам лучше удалиться, — сказал индус.

По правде говоря, я и сам это думал, потому что достаточно было звука пистолетного выстрела, чтобы отправить нас обоих на виселицу.

— Скажи своему сахибу, что я не считаю его джентльменом! — заявил я и повернулся с жестом крайнего презрения.

Не сделал я еще и трех шагов, как индус окликнул меня.

— Сахиб хотел бы знать, не из поганых ли вы ирландцев, — сказал он, и при этих словах Баллантрэ улыбнулся и отвесил низкий поклон.

— Что это значит? — спросил я.

— Сахиб говорит, чтобы об этом вы спросили вашего друга Маккеллара, — сказал индус. — Сахиб говорит, что вы с ним квиты.

— Скажи своему сахибу, что я еще разделаюсь с ним за все его шотландские штучки при следующей встрече! — закричал я.

Когда мы уходили, эта парочка все так же сидела, ухмыляясь.

Конечно, и в моем поведении найдутся свои слабые стороны, и, когда человек, каковы бы ни были его доблести, обращается к потомству с изложением своих подвигов, он должен ожидать, что его ждет участь Цезаря и Александра, тоже оболганных клеветниками. Но одного упрека никто не может сделать Фрэнсису Бэрку: он никогда не оставлял товарища в беде…

(Здесь следует абзац, который кавалер Бэрк старательно вымарал, — видимо, перед тем, как посылать мне рукопись. Должно быть, там были вполне естественные упреки в том, что он считал нескромностью с моей стороны, хотя сам я ничего не могу поставить себе в вину. Возможно, мистер Генри был менее осторожен или, что всего вероятнее, Баллантрэ ухитрился добраться до моей корреспонденции и самолично прочел письмо из Труа, отместкой за которое и стало это жестокое издевательство над мистером Бэрком, находившимся в столь бедственном положении. Баллантрэ, несмотря на всю его порочность, не был чужд некоторым привязанностям; мне кажется, что вначале он был сердечно расположен к мистеру Бэрку, но

мысль о его предательстве иссушила неглубокие ключи его дружбы и обнаружила во всей неприглядности его истинную натуру. — Э. Макк.)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ВРАГ В ДОМЕ

Небывалое дело, чтобы я не запомнил даты, тем более даты события, в корне изменившего всю мою жизнь, закинувшего меня в чужие края, — однако это так. Я был вышиблен из колеи, против обыкновения вел свои записи беспорядочно, не ставил даты по неделе, по две и вообще писал как человек, махнувший рукой на все. Во всяком случае, это было в конце марта либо в начале апреля 1764 года. Спал я плохо и проснулся с тяжелым предчувствием. Оно так угнетало меня, что я поспешил сойти вниз, даже не накинув камзола, и при этом, помнится мне, рука моя дрожала, опираясь на перила. Было холодное солнечное утро, с густым слоем изморози, вокруг дома распевали дрозды, и во всех комнатах слышен был шум моря. При входе в зал другой звук остановил мое внимание — звук голосов. Я подошел ближе и остолбенел. Да, в зале звучал человеческий голос, но я не узнавал его, и это в доме моего господина; там звучала человеческая речь, но, как я ни вслушивался, я не понимал ни слова, и это в своей родной стране. Мне припомнилось старое предание о залетной фее (или просто иноземной гостье), которая посетила наш край в незапамятные времена и пробыла у нас неделю, а то и больше, говоря на языке ни для кого не понятном, а затем исчезла ночью так же внезапно, как и появилась, не раскрыв никому ни своего имени, ни цели своего посещения. Мной овладел не столько страх, сколько любопытство, я отворил дверь и вошел.

На столе еще не было убрано после ужина, ставни еще не были открыты, хотя свет уже проникал в щели, и большая комната была освещена только свечой и отсветом тлеющих углей. У самого камина сидели двое. Одного, одетого в плащ, из-под которого виднелись сапоги, я узнал сразу: это был все тот же вестник несчастья. А о другом, который сидел вплотную к огню, закутанный во что-то, словно мумия, я мог сказать только, что он чужеземец, что кожа у него гораздо темнее, чем у нас, европейцев, что сложения он тщедушного и что глаза у него глубоко запали под необычно высоким лбом. По полу было раскидано несколько тюков и небольшой чемодан, и, судя по скудности этого багажа и по состоянию сапог самого Баллантрэ, кое-как залатанных каким-нибудь деревенским сапожником, можно было судить, что зло не принесло ему богатства.

При моем появлении он встал, взгляды наши скрестились, и сам не знаю почему, но смелость во мне так и взыграла.

— А! — сказал я. — Так это вы? — И я остался доволен развязностью своего голоса.

— Вот именно я самый, почтеннейший Маккеллар, — сказал Баллантрэ.

— На этот раз вы приволокли за собою свою черную тень, — продолжал я.

— Вы это о Секундре Дассе? — спросил он. — Позвольте его представить. Это туземный джентльмен из Индии.

— Так, так! Не могу сказать, чтобы мне нравились вы сами, мистер Балли, или ваши друзья. Но дайте-ка я погляжу на вас при свете, — и, говоря это, я открыл ставни выходившего на восток окна.

При ярком утреннем свете видно было, насколько изменился этот человек. Позднее, когда мы все были в сборе, меня еще более поразило, насколько слабо по сравнению с другими отразилось на нем время; но первое впечатление было не такое.

— А вы постарели, — сказал я.

Лицо его омрачилось.

— Если бы вы видели самого себя, — сказал он, — вы, может быть, не стали бы распространяться на эту тему.

— Почему же, — возразил я. — Старость меня не страшит. Мне сейчас кажется, что я всегда был стариком; а теперь с годами я, милостью божьей, стал лишь более известен и уважаем. Не каждый может сказать это о себе, мистер Балли. Ваши морщины говорят о страстях и напастях; ваша жизнь постепенно становится вашей тюрьмой; смерть скоро постучит к вам в дверь; и не знаю, в чем вы тогда почерпнете утешение!

Тут Баллантрэ обратился на индустани к Секундре Дассу, из чего я заключил (признаюсь, не без удовольствия), что мои слова задели его. Само собой, что все это время, даже и подшучивая над незваным гостем, я, не переставая, ломал голову над другим: прежде всего, как бы мне поскорее и незаметнее известить милорда Я сосредоточил на этом все силы ума, как вдруг, подняв глаза, увидел, что он стоит в дверях, с виду совершенно спокойный. Поймав мой взгляд, он тотчас же переступил порог. Баллантрэ заметил его и пошел навстречу; шагах в четырех оба брата остановились, в упор глядя друг на друга, потом милорд улыбнулся, слегка наклонил голову и резко отошел в сторону.

— Маккеллар, — сказал он, — надо позаботиться о завтраке для этих путешественников.

Ясно было, что Баллантрэ несколько смущен, но тем наглее он стал в словах и поступках.

— Я умираю с голоду, — сказал он. — Надеюсь, ты нас хорошо угостишь, Генри?

Милорд обернулся к нему все с той же жесткой улыбкой.

— Лорд Дэррисдир… — поправил он.

— Ну, не в семейном же кругу! — воскликнул Баллантрэ.

— Все в этом доме называют меня так, — сказал милорд. — Если ты хочешь быть исключением, подумай, как поймут это посторонние, и не покажется ли это им признаком бессильной зависти?

Я чуть было не захлопал в ладоши от удовольствия, тем более что милорд, не давая времени для ответа, сделал мне знак следовать за ним и тотчас вышел из залы.

— Скорее, — сказал он, — надо очистить дом от заразы. — И он так быстро зашагал по коридорам, что я едва поспевал за ним. Подойдя к двери Джона Поля, он открыл ее и вошел в комнату. Джон делал вид, что крепко спит, но милорд и не пытался будить его.

— Джон Поль, — сказал он как нельзя более спокойно, — ты много лет служил моему отцу, не то я вышвырнул бы тебя, как собаку. Если через полчаса ты оставишь дом, то будешь по-прежнему получать жалованье в Эдинбурге. Если же я узнаю, что ты торчишь тут или в Сент-Брайде, то хоть ты старик, старый слуга и все прочее, но я найду способ жестоко наказать тебя за измену. Вставай и убирайся. Через ту же дверь, в которую ты впустил их. Я не желаю, чтобы ты попадался на глаза моему сыну.

— Меня радует, что вы это приняли так спокойно, — сказал я, когда мы опять остались вдвоем.

— Спокойно? — воскликнул он и приложил мою руку к своему сердцу, которое молотом колотилось у него в груди.

Это поразило и испугало меня. Самая могучая натура не вынесла бы такого бешеного напряжения; каково же было ему, силы которого были уже подточены. Я решил, что этому чудовищному положению надо как можно скорее положить конец.

— Я думаю, что мне надо предупредить миледи, — сказал я.

Ему бы следовало, конечно, пойти к ней самому, но я имел в виду его равнодушие к ней — и не ошибся.

— Ну что ж, — сказал он. — Предупредите. А я потороплю завтрак. За столом мы все должны быть в сборе, даже Александер; не надо подавать виду, что мы встревожены.

Я побежал к миледи и без излишней жестокости всяких предуведомлений сообщил ей новости.

— Я давно уже к этому готова, — сказала она. — Сегодня же надо тайно собраться и в ночь уехать. Слава создателю, что у нас есть другой дом. С первым же кораблем мы отплывем в Нью-Йорк.

— А как же с ним? — спросил я.

— Ему мы оставим Дэррисдир! — воскликнула она. — Пусть его радуется!

— Ну нет, с вашего позволения, будет не так, — сказал я. — При доме есть цепной пес, и зубов он еще не лишился. Мы обеспечим мистеру Джемсу кров и стол, а если будет смирен, то и лошадь для прогулок; но ключи — подумайте об этом, миледи, — ключи должны остаться в руках Маккеллара. А он уж их сбережет, в этом не сомневайтесь!

— Мистер Маккеллар! — воскликнула она. — Спасибо вам за эту мысль. Все будет оставлено на ваше попечение. Если уж нам суждено спасаться к дикарям, то вам я завещаю отомстить за нас. Пошлите Макконнэхи в Сент-Брайд, чтобы без огласки нанять лошадей и пригласить мистера Карлайля. Милорд должен оставить доверенность.

В это время в дверях появился сам милорд, и мы поделились с ним нашими планами.

— Я и слышать об этом не хочу! — вскричал он. — Он подумает, что я его испугался. С божьей помощью я останусь в своем доме, в нем и умру. Не родился еще человек, который может выжить меня. Что бы ни было, здесь я жил и здесь останусь, и наплевать мне на всех дьяволов и самого сатану!

Я не могу передать здесь всей горячности его тона, но мы с миледи были поражены, особенно я — свидетель его недавней сдержанности.

Миледи посмотрела на меня; взгляд ее дошел до самого моего сердца и вернул мне самообладание. Я сделал ей незаметно знак уйти и, оставшись наедине с милордом, который с полубезумным видом метался по комнате, твердо положил ему руку на плечо.

— Милорд, — сказал я. — Мне придется говорить начистоту еще раз, и если в последний, тем лучше, потому что я устал от этой роли.

— Ничто не изменит моего решения. Я не отказываюсь выслушать вас, но ничто не изменит моего решения.

Он говорил твердо, без тени прежней ярости, и это оживило во мне надежды.

— Ну что же, — сказал я. — Я могу позволить себе и напрасные разговоры. — Я указал рукой на кресло, он уселся и посмотрел на меня. — Мне помнятся времена, когда миледи не оказывала вам должного внимания.

— Я никогда не говорил об этом, пока это было так, — весь вспыхнув, возразил милорд. — Но теперь все изменилось.

— И если бы вы знали, насколько! — заметил я. — Если бы вы знали, как все изменилось! Теперь все наоборот. Теперь миледи ищет вашего взгляда, вашего слова, — да, и напрасно. Знаете ли вы, с кем она коротает время, пока вы разгуливаете по окрестностям? Она рада коротать свой досуг с неким старым скучным управляющим по имени Эфраим Маккеллар. И мне кажется, что вы на собственном опыте испытали, что это значит, потому что, если я не ошибаюсь, вы некогда и сами вынуждены были проводить время в той же компании.

— Маккеллар! — воскликнул милорд, порывисто вскакивая. — Боже мой, Маккеллар!

— Ни мое, ни божье имя ничего не изменят в том, что я вам говорю, — сказал я. — Это истинная правда. Вам ли, так много страдавшему, причинять те же страдания другому? Таков ли долг христианина? Но вы так поглощены новым другом, что все старые друзья забыты. Все они начисто изгладились из вашей памяти. И все же они были с вами в самую мрачную пору, и первая из них — миледи. А приходит ли вам на ум миледи? Приходит ли вам на ум, что пережила она в ту ночь? И какой женой она с тех пор стала для вас? Нет! Для вас вопрос чести — остаться и встретить его лицом к лицу, и она обязана будет остаться с вами. Конечно! Честь

милорда — великое дело. Но вы-то мужчина, а она только женщина. Женщина, которую вы поклялись защищать, и более того, — мать вашего сына.

— В том, что вы говорите, Маккеллар, много горечи, — сказал он, — но, видит бог, боюсь, что это горькая правда. Я оказался недостоин своего счастья. Позовите сюда миледи.

Миледи была поблизости, ожидая конца разговора. Когда я привел ее обратно, милорд взял наши руки и прижал их к своему сердцу.

— У меня в жизни было двое друзей, — сказал он. — Все хорошее исходило от них. И раз вы единодушны в своем решении, я был бы неблагодарной скотиной, если бы… — он замолчал, и глаза его наполнились слезами. — Делайте со мной что хотите, — продол жал он, — но только не думайте… — он снова приостановился. — Делайте со мной что хотите. Видит бог, я люблю и уважаю вас!

И, выпустив наши руки, он повернулся и отошел к окну.

Но миледи побежала за ним, повторяя:

— Генри! Генри! — и с рыданиями обняла его.

Я вышел, прикрыл за собою дверь и от всего сердца возблагодарил господа.

За завтраком мы по желанию милорда все собрались к столу. Баллантрэ успел к этому времени стянуть с себя свои латаные ботфорты и оделся в более подходящий к случаю костюм; Секундра Дасс уже не был закутан в свои покрывала, он облачился в приличный черный камзол, который только подчеркивал его необычность, и оба они стояли, глядя в большое окно, когда милорд с семейством вошел в залу. Они обернулись; черный человек (как его уже успели прозвать в доме) склонился в земном поклоне, тогда как Баллантрэ поспешил вперед, чтобы по-семейному приветствовать вошедших. Однако миледи остановила его, церемонно сделав ему реверанс из дальнего угла залы и удерживая при себе детей. Милорд несколько выдвинулся вперед; и вот все трое Дэррисдиров стояли лицом к лицу. Рука времени коснулась всех троих: на их изменившихся лицах я, казалось, читал memento mori[39] и особенно меня поразило то, что меньше всего пострадал от времени самый порочный из них. Миледи уже совсем превратилась в матрону, которой пристало почетное место за столом во главе сонма детей и домочадцев. Милорд стал слаб на ноги и сутулился; походка у него сделалась какая-то подпрыгивающая, словно он перенял ее у мистера Александера. Лицо осунулось и как-то вытянулось; временами на нем мелькала странная, как мне казалось, не то горькая, не то беспомощная усмешка. А Баллантрэ держался прямо, хотя и с видимым усилием; лоб его пересекала между бровями глубокая складка, губы были сжаты повелительно и строго. В нем была суровость и отблеск величия Сатаны из «Потерянного рая».[40] Глядя на него, я не мог подавить восхищения и только дивился, что он больше не внушает мне страха.

И в самом деле (по крайней мере, за столом), он, казалось, утратил свою былую власть, и ядовитые клыки его затупились. Мы знавали его чародеем, повелевавшим стихиями, а сейчас это был самый заурядный джентльмен, болтавший с соседями за обеденным столом. Теперь, когда отец умер, а миледи примирилась с мужем, в чье ухо было ему нашептывать свою клевету? Наконец-то мне открылось, насколько я переоценивал возможности врага. Да, коварство его было при нем, он был по-прежнему двуличен, но изменились обстоятельства, придававшие ему силу, и он сидел обезоруженный. Да, это по-прежнему была гадюка, но яд ее остался на напильнике, сточившем зубы. И еще вот о чем я думал, сидя за столом: первое, что он был растерян, я бы сказал, удручен тем, что злая сила его перестала действовать; и второе, что, пожалуй, милорд был прав и мы совершали ошибку, обращаясь в бегство. Но мне вспомнилось бешено колотившееся сердце бедного моего патрона, а ведь как раз заботясь о его жизни, мы и собирались сдавать свои позиции.

Когда трапеза окончилась, Баллантрэ последовал за мной в мою комнату и, усевшись в кресло (хотя я ему вовсе этого не предлагал), спросил меня, каковы наши намерения в отношении его.

— Что ж, мистер Балли, — сказал я, — на время двери этого дома будут для вас открыты.

— То есть как это «на время»? — спросил он. — Я вас не совсем понимаю.

— Это как будто ясно, — сказал я. — Мы дадим вам пристанище во избежание огласки, но как только вы привлечете к себе внимание какой-нибудь из ваших пакостей, мы попросим вас удалиться.

— А вы, как я вижу, обнаглели. — И при этих словах Баллантрэ угрожающе насупил брови.

— Я прошел хорошую школу, — возразил я. — А вы, может быть, сами заметили, что со смертью старого лорда от вашего прежнего могущества ровно ничего не осталось. Я больше не боюсь вас, мистер Балли; более того — да простит мне это бог! — я нахожу некоторую приятность в вашем обществе!

Он расхохотался, но это было явное притворство.

— Я прибыл с пустым кошельком, — сказал он, помолчав.

— Не думаю, чтобы тут нашлись для вас деньги, — ответил я. — Не советую строить на этом ваши расчеты.

— Ну, об этом мы еще поговорим, — возразил он.

— Вот как? — заметил я. — А о чем же именно?

— Уверенность ваша неуместна, — сказал Баллантрэ. — У меня остался хороший козырь: вы тут все боитесь огласки, а я нет.

— Прошу прощения, мистер Балли, — сказал я. — Но только мы вовсе не боимся огласки ваших похождений.

Он снова захохотал.

— Да, вы научились отражать удары. На словах все это очень легко, но иногда и обманчиво. Предупреждаю вас: я буду напастью для этого дома. Было бы разумнее с вашей стороны дать мне денег и отделаться от меня. — И, махнув мне рукой, он вышел из комнаты.

Немного погодя вошел милорд, сопровождаемый стряпчим — мистером Карлайлем. Нам подали бутылку старого вина, и мы выпили по стакану, прежде чем приняться за дело. Затем были подготовлены и подписаны все необходимые документы и все шотландские поместья переданы под мое и мистера Карлайля управление.

— Есть один вопрос, мистер Карлайль, — сказал милорд, когда с этим делом было покончено, — в котором я жду от вас большой услуги. Мой внезапный отъезд, совпадающий с возвращением брата, несомненно, вызовет толки. Я хотел бы, чтобы вы опровергали всякие подобные сопоставления.

— Приму все меры, милорд, — сказал мистер Карлайль. — Так, значит. Балл… мистер Балли не будет сопровождать вас?

— Как раз об этом я и хотел сказать, — продолжал милорд. — Мистер Балли остается в Дэррисдире на попечении мистера Матокеллара, и я не хочу, чтобы он даже подозревал, куда мы уехали.

— Но пойдут всякие толки… — начал было стряпчий.

— В том-то и дело, что все это должно остаться достоянием нас двоих, — прервал его милорд. — Никто, кроме вас и Маккеллара, не должен знать о моих переездах.

— Так, значит, мистер Балли останется здесь? Ага… Понимаю, — сказал мистер Карлайль. — И полномочия вы оставляете… — тут он снова запнулся. — Трудная задача предстоит нам с вами, мистер Маккеллар.

— Без сомнения, сэр, — сказал я.

— Вот именно, — сказал он. — Так, значит, у мистера Балли не будет никаких прав?

— Никаких прав, — сказал милорд, — и, надеюсь, никакого влияния. Мистер Балли плохой советчик.

— Само собой, — сказал стряпчий. — А кстати, есть у мистера Балли какие-нибудь средства?

— По моим сведениям, никаких, — ответил милорд. — Я предоставляю ему в этом доме стол, очаг и свечу.

— Ну, а как насчет денег? — спросил стряпчий. — Поскольку мне предстоит разделить ответственность, вы сами понимаете, что я должен правильно понять ваши на этот счет распоряжения. Так вот, как относительно денег?

— Никаких денег, — сказал милорд. — Я хочу, чтобы мистер Балли жил замкнуто. Его поведение в обществе не всегда делало честь семье.

— Да, и что касается денег, — добавил я, — он показал себя мотом и вымогателем. Взгляните на этот реестр, мистер Карлайль, в него я внес те суммы, которые, он высосал из имения за последние пятнадцать — двадцать лет. Хорошенький итог, не правда ли?

Мистер Карлайль беззвучно свистнул.

— Я и не подозревал ничего подобного, — сказал он. — Еще раз простите, милорд, если я покажусь навязчивым, но мне в высшей степени важно понять ваши намерения. Мистер Маккеллар может умереть, и я тогда окажусь единственным исполнителем вашей воли. Может быть, ваша милость предпочтет, чтобы… гм… чтобы мистер Балли покинул страну?

Милорд посмотрел на мистера Карлайля.

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Мне кажется, милорд, что мистер Балли вовсе не утешение для семьи, — сказал стряпчий с улыбкой.

Вдруг лицо милорда исказилось.

— А ну его к черту! — воскликнул он и налил себе вина, но рука его при этом так дрожала, что половину он пролил. Уже второй раз его спокойное и разумное поведение нарушалось подобным взрывом враждебности. Это поразило мистера Карлайля, и он стал украдкой с любопытством наблюдать за милордом; а для меня это было подтверждением, что мы поступали правильно, оберегая здоровье и разум моего патрона.

За исключением этой вспышки, разговор наш был весьма плодотворен. Не было сомнений, что мистер Карлайль кое-что разгласит — не сразу, а, как подобает юристу, мало-помалу. И сейчас уже истинное положение вещей отчасти прояснилось, а собственное злонравие Баллантрэ неизбежно довершит то, что мы начали. Перед своим отъездом стряпчий дал нам понять, что на этот счет уже произошел известный перелом в общественном мнении.

— Мне, может быть, следует признать, милорд, — сказал он, уже со шляпой в руках, — что распоряжения вашей милости касательно мистера Балли не были для меня полной неожиданностью. Кое-что на этот счет просочилось еще в пору его последнего приезда в Дэррисдир. Поговаривали о какой-то женщине в Сент-Брайде, к которой вы отнеслись весьма великодушно, а мистер Балли с изрядной долей жестокости. Шли разные толки и о майорате. Короче говоря, пересудов было хоть отбавляй, и кое-какие наши умники пришли к твердому на этот счет мнению. Мне, конечно, было бы не к лицу торопиться с выводами, но теперь подсчеты мистера Маккеллара наконец открыли мне глаза. Я не думаю, мистер Маккеллар, что мы с вами хоть в чем-нибудь будем потакать этому господину.

Остаток этого памятного дня прошел благополучно. Мы решили держать врага под постоянным наблюдением, и я, как и все прочие, взял на себя обязанность надсмотрщика. Мне казалось, что, замечая нашу настороженность, он только приободрялся, тогда как я невольно призадумывался. Меня больше всего пугала изумительная способность этого человека

проникать в самую сердцевину наших забот и опасений. Вам, может быть, приходилось (ну, хоть упав с лошади) испытать на себе руку костоправа, которая искусно перебирает и ощупывает мускулы, с тем чтобы точно определить поврежденное место? Вот так же было с Баллантрэ, чей язык умел так ловко выспрашивать, а глаз так зорко наблюдать. Казалось, я не сказал ничего, а между тем все выдал. Прежде чем я успел опомниться, он уже сожалел со мною вместе о том, что милорд пренебрегает миледи и мною, и об его пагубной приверженности к сыну. Я с ужасом заметил, что к последнему вопросу он возвращался трижды. До сих пор мальчик боязливо сторонился дяди, и я видел, что отец имел неосторожность внушать ему этот страх, что было плохим началом. Теперь, когда я вглядывался в этого человека, все еще такого красивого, такого хорошего рассказчика, которому было о чем рассказать, я убеждался, что он, как никто, способен завладеть воображением ребенка. Джон Поль уехал только утром, и едва ли он хранил молчание о том, кто был его кумиром. Словом, мистер Александер был подобен Дидоне с ее распаленным любопытством, тогда как Баллантрэ мог стать новым Энеем[41] и отравить его душу, повествуя обо всем, что так любезно юношескому слуху: о битвах, кораблекрушениях, побегах, о лесах Америки и древних городах Индии. Мне было ясно, как искусно он мог пустить в ход все эти приманки и какую власть они мало-помалу принесли бы ему над мальчиком. Пока этот человек находился под одной с ним кровлей, не было силы, которая могла бы их разъединить; ведь если трудно приручать змей, то никакого труда не представляет очаровать доверчивого мальчугана.

Я вспоминаю одного старого моряка, который жил на отшибе в своей лачуге, куда каждую субботу стекались мальчишки из Лейта и, облепив его со всех сторон, как вороны падаль, слушали нечестивые рассказы; еще молодым студентом я часто наблюдал это на каникулах во время своих одиноких прогулок. Многие из мальчуганов приходили, конечно, несмотря на строгий запрет, многие боялись и даже ненавидели опустившегося старика, которого возвели в герои. Мне случалось наблюдать, как они убегали от него, когда он был под хмельком, и швыряли в него камни, когда он был пьян. И все-таки каждую субботу они были тут! Насколько же легче такой мальчик, как мистер Александер, мог подпасть под влияние этого пышноперого, сладкогласного джентльмена-авантюриста, если бы тот затеял прельстить его; а завоевав такое влияние, как легко было злоупотреблять им для совращения ребенка!

Еще трижды не произнес он имени мистера Александера, как я уже понял его козни — воспоминания и предчувствия вихрем пронеслись в моем мозгу, — и я отшатнулся, словно передо мною разверзлась пропасть. Мистер Александер — вот в чем было наше уязвимое место. Ева нашего непорочного рая; и змей уже шипел меж его деревьев.

Вы можете представить себе, как все это подстегнуло меня в моих сборах. Последние сомнения были отброшены, опасность промедления была начертана передо мною огромными письменами. С этой минуты я не позволял себе ни присесть, ни передохнуть. То я был на своем посту, наблюдая за Баллантрэ и его индусом, то в чулане завязывал сундук, то выпускал черным ходом Макконнэхи с вещами, которые он должен был тайными тропками донести до места погрузки, то забегал к миледи посоветоваться. Такова была оборотная сторона этого дня в Дэррисдире, а лицевая казалась обычным времяпрепровождением знатной семьи в ее родовом поместье. Если и могло почудиться Баллантрэ какое-либо замешательство, он должен был приписать это своему неожиданному возвращению и тому страху, который привык во всех возбуждать.

Ужин сошел благополучно и, обменявшись холодными приветствиями, мы разошлись по своим комнатам. Я проводил Баллантрэ в его помещение. Мы отвели ему вместе с индусом комнаты в северном крыле: оно было самое уединенное и отдалено от главного здания глухими дверями. Я убедился, что он, то ли как преданный друг, то ли как внимательный хозяин, заботился о своем Секундре Дассе: сам поддерживал огонь в камине — индус жаловался на холод; справлялся, не подать ли ему рису, к которому тот привык; ласково беседовал с ним на

индустани, пока я, стоя тут же со свечой в руке, делал вид, что смертельно хочу спать. В конце концов Баллантрэ внял этим сигналам бедствия.

— Вижу, вижу, — сказал он, — что вы верны вашим прежним привычкам; рано в кровать, чтобы раньше вставать. Идите, а то вы так зеваете, что, того и гляди, проглотите меня.

Придя к себе, я, чтобы занять время, приготовил все ко сну, проверил огниво и задул свечу.

Примерно через час я снова зажег свет, надел войлочные туфли, которые носил в комнате милорда во время его болезни, и отправился будить отбывающих. Все уже были одеты и ждали — милорд, миледи, мисс Кэтрин, мистер Александер и горничная миледи — Кристи. Они все выглядывали в щелку двери, с лицами белее полотна, — таково действие скрытности даже на самого невинного человека. Мы выбрались через боковое крыльцо в ночную темень, которую нарушали только редкие звезды, так что вначале мы ощупью ковыляли и падали в чаще кустов. За несколько сот шагов от дома нас ожидал Макконнэхи с большим фонарем, и остаток пути мы одолели гораздо легче, но все в том же виноватом молчании. За аббатством тропинка выходила на большую дорогу, а еще четверть мили спустя там, где начиналось Орлиное болото, мы увидели фонари наших двух карет. При расставании мы обменялись всего двумя-тремя словами, да и то о деле; молчаливое рукопожатие, потупленные глаза, и все было кончено; лошади взяли рысью, фонари светлячками поползли по вересковым холмам и скрылись за скалистым кряжем. Мы с Макконнэхи остались одни с нашим фонарем, — хотелось еще дождаться, когда кареты появятся на Карт-море. Нам показалось, что, достигнув вершины, путники оглянулись и увидели наш фонарь на прежнем месте, потому что они сняли один из каретных фонарей и трижды помахали им в знак прощания. А затем они окончательно скрылись, бросив последний взгляд на родимый кров Дэррисдира, покинутый ради диких заморских стран.

Никогда раньше я не ощущал величия этого купола ночи, под которым мы, двое слуг — старик и уже пожилой мужчина, — в первый раз были предоставлены себе. Никогда раньше я не чувствовал такой потребности в опоре и поддержке. Чувство одиночества жгло мне сердце огнем. Казалось, что мы, оставшиеся дома, были настоящими изгнанниками и что Дэррисдир, и Солуэй, и все, что делало для меня родным мой край — его живительный воздух и приветливый язык, — все это покинуло нас и устремлялось теперь за море, вместе с дорогими моему сердцу людьми.

Остаток этой ночи я провел, расхаживая по ровной дороге и раздумывая о будущем и прошедшем. Мысли мои, сначала с нежностью прикованные к тем, кто только что оставил нас, мало-помалу приняли другой, более мужественный оборот, и я стал размышлять, что же мне теперь делать. Рассвет озарил вершины гор, запела и закрякала домашняя птица, над коричневым простором верещаников кое-где стал подниматься дымок крестьянских хижин, — и только тогда я повернул к дому и пошел туда, где, освещенная утренним солнцем, у моря сияла крыша Дэррисдира.

В обычное время я послал просить Баллантрэ к завтраку и спокойно ожидал его в зале. Он оглядел пустую комнату и три прибора на столе.

— Нас сегодня немного? — сказал он. — Как это получилось?

— Нам придется привыкать к этому узкому кругу.

Он быстро и пристально взглянул на меня.

— Что все это значит? — спросил он.

— Вы, я и ваш друг Дасс — вот отныне и вся наша компания. Милорд, миледи и дети отбыли в путешествие.

— Клянусь честью! — воскликнул он. — Возможно ли? Так, значит, я действительно «переполошил вольсков в их Кориоли».[42] Но это не причина, чтобы остыл наш завтрак.

Садитесь, мистер Маккеллар, прошу вас, — сказал он, занимая при этом место во главе стола, которое я намеревался занять сам. — И за завтраком вы можете рассказать мне подробности этого побега.

Я видел, что он взволнован больше, чем старался это обнаружить, и решил не уступать ему в выдержке.

— Я только что намеревался предложить вам занять почетное место, — сказал я, — потому что, хотя теперь я поставлен в положение хозяина дома, я никогда не забуду, что вы как-никак член семьи Дэррисдиров.

Некоторое время он разыгрывал роль гостеприимного хозяина, особенно заботясь о Секундре и давая распоряжения Макконнэхи, которые тот принимал довольно хмуро.

— А куда же изволили отбыть мои добрые родственники? — как бы мимоходом спросил он.

— Ну, мистер Балли, это особый вопрос, — сказал я. — Мне ведено держать место их назначения в тайне.

— От меня, — подсказал он.

— От всех на свете.

— Чтобы не было так явно. Ну что ж, c'est de bon ton;[43] мой братец с часу на час делает успехи. А как же относительно меня, мой дорогой мистер Маккеллар?

— Вам будет предоставлена постель и стол, мистер Балли, — сказал я. — Мне также разрешено снабжать вас вином, которого у нас запасено в погребе с избытком. Вам только надо поладить со мной, что нетрудно, и у вас всегда будет и бутылка вина и верховая лошадь.

Он под каким-то предлогом выслал Макконнэхи из комнаты.

— А как насчет денег? — спросил он. — Мне, значит, следует ладить с моим любезным другом Маккелларом, чтобы получать от него на карманные расходы, не так ли? Какое забавное возвращение к ребяческому возрасту.

— Вам не установлено было никакого содержания, — сказал я. — Но я возьму на себя снабжать вас деньгами в разумных пределах.

— В разумных пределах! — повторил он. — Вы возьмете на себя? — Он выпрямился и окинул взглядом длинный ряд потемневших фамильных портретов. — Благодарю вас от лица моих предков, — сказал он и потом продолжал ироническим тоном: — Но ведь Секундре Дассу, ему-то уж, наверно, назначено было содержание? Его-то уж никак не могли позабыть?

— Я не премину испросить указаний на этот счет в первом же моем письме, — сказал я.

Он же, внезапно переменив тон, наклонился вперед, опираясь локтем о стол:

— И вы считаете все это вполне разумным?

— Я выполняю приказания, мистер Балли.

— Какая скромность! Только искренняя ли? Вы вчера сказали мне, что моя власть кончилась вместе со смертью моего отца. Но как же это так получается, что знатный лорд бежит под покровом ночи из дома, в котором его предки выдержали несколько осад? Что он скрывает свое местопребывание, которое не безразлично самому его королевскому величеству и государству? Что он оставляет меня под надзором и отеческой опекой своего бесценного Маккеллара? Это наводит на мысль о немалом и глубоком страхе.

Я попытался возразить ему, приводя не слишком убедительные доводы, но он только отмахнулся.

— Да, наводит на мысль, — продолжал он, — и скажу больше: страх этот вполне обоснован. Я возвращался в этот дом не без отвращения, имея в виду обстоятельства моего последнего отъезда. Только крайняя необходимость могла заставить меня вернуться. Но деньги мне нужны во что бы то ни стало. Вы не дадите их мне по доброй воле? Что ж, у меня

есть способы заставить вас. Не пройдет и недели, как я, не покидая Дэррисдира, узнаю, куда сбежали эти глупцы. Я последую за ними; и когда я настигну свою добычу, я загоню клин в эту семейку, которая еще раз разлетится, как расколотое полено. Тогда посмотрим, не согласится ли лорд Дэррисдир, — это имя он произнес с непередаваемой злобой и яростью, — за деньги купить мое исчезновение, и тогда вы увидите, что я изберу: выгоду или месть.

Я с изумлением слушал эти откровенные излияния. Дело в том, что он был вне себя оттого, что милорду удалось скрыться, видел, что попал в дурацкое положение, и не склонен был обдумывать свои слова.

— И вы считаете все это весьма разумным? — спросил я, повторяя его слова.

— Вот уже двадцать лет, как я живу, руководствуясь своим скромным разумом, — ответил он с улыбкой, которая в своем самомнении граничила с глупостью.

— Да, и в конце концов стали нищим, — сказал я, — хотя и это слово еще слишком для вас почтенно.

— Должен обратить ваше внимание, мистер Маккеллар, — воскликнул он с внезапным воодушевлением и достоинством, которым я мог только восхищаться, — что я с вами был вежлив; подражайте мне в этом, если хотите, чтобы мы остались друзьями.

В продолжение всего диалога я с неприятным чувством ощущал на себе пристальный взгляд Секундры Дасса. Никто из нас троих не притронулся к еде, — глаза наши были прикованы к лицам друг друга, вернее — к тому сокровенному, что на них выражалось. И вот взгляд индуса смущал меня сменой выражений, — казалось, он понимал то, что мы говорили. Я еще раз отстранил эту мысль, уверяя себя, что он ни слова не понимает по-английски: серьезность нашего тона, нотки раздражения и ярости в голосе Баллантрэ — вот что заставило его догадываться о значительности происходящего.

Целых три недели мы с ним жили так в Дэррисдире, и этим открылась самая странная глава моей жизни, — то, что я должен назвать своей близостью к Баллантрэ. Поначалу он был очень неровен: то вежлив, то насмешлив и вызывающ, — и в обоих случаях я платил ему той же монетой. Благодарение богу, я теперь не должен был рассчитывать каждый шаг; меня и вообщето мог испугать не нахмуренный лоб, а разве что вид обнаженной шпаги. Его взрывы неучтивости даже доставляли мне своеобразное удовольствие, и временами я отвечал достаточно колко. В конце концов как-то за ужином мне удалась одна забавная реплика, которая совсем обезоружила его. Он хохотал долго и безудержно, а затем сказал:

— Кто бы мог предположить, что под чепчиком у этой почтенной старушенции есть нечто вроде остроумия?

— Это не остроумие, мистер Балли, — сказал я, — это наш шотландский юмор, да притом еще круто посоленный. — И в самом деле, у меня и в мыслях не было прослыть остроумцем.

После этого он никогда не был со мною груб, все у нас переходило в шутку. А особенно когда ему нужна была лошадь, лишняя бутылка или деньги. Он обращался ко мне с видом школьника, а я разыгрывал роль отца, и оба мы при этом дурачились напропалую.

Я теперь замечал, что он изменил свое мнение обо мне к лучшему, и это щекотало во мне грешном бренное тщеславие. Более того, он (я полагаю, бессознательно) временами обращался со мной не только фамильярно, но прямо-таки дружески, и в человеке, который так долго ненавидел меня, это казалось мне тем более коварным. Он мало выезжал и, случалось, даже отклонял приглашения.

— Нет, — говорил он, — ну чего я не видал у этой неотесанной деревенщины? Я лучше посижу дома, Маккеллар, и мы с вами разопьем на досуге бутылку и поговорим всласть.

И действительно, застольные беседы в Дэррисдире доставили бы удовольствие кому угодно, с таким блеском они велись. Он неоднократно выражал удивление, что так долго недооценивал мое общество.

— Но, видите ли, — говорил он, — мы были во враждующих лагерях. Положение и теперь не изменилось, но не будем говорить об этом. Будь вы не так преданы своему хозяину, я бы не был о вас столь высокого мнения.

Не следует забывать, что я искренно считал его неспособным более причинять зло; и к тому же самая завлекательная форма лести — это когда после многих лет несправедливости человеку отдают запоздалую дань уважения. Но я нисколько не хочу оправдываться. Я достоин всяческого порицания; я дал ему провести себя; короче говоря, сторожевой пес сладко спал, когда внезапно его разбудили.

Индус все время слонялся по дому. Он говорил только с Баллантрэ и на своем языке; двигался совершенно беззвучно и попадался на глаза там, где его меньше всего ожидали, погруженный в глубокие размышления, из которых при вашем появлении он выходил, чтобы приветствовать вас с подчеркнуто приниженной вежливостью. Он казался таким смирным, таким хрупким, всецело занятым своими фантазиями, что я мало обращал на него внимания и даже сочувствовал ему как безобидному изгнаннику на чужбине. И все же, без сомнения, он все время подслушивал, и, конечно, именно этому, а также моей беспечности мы обязаны тем, что секрет наш стал известен Баллантрэ.

Гром грянул одним ненастным вечером, когда после ужина мы развлекались веселее обычного.

— Все это прекрасно, — сказал Баллантрэ, — но нам лучше бы уложить наши чемоданы.

— Зачем? — воскликнул я. — Разве вы уезжаете?

— Мы все уезжаем завтра утром, — сказал он. — Сначала в Глазго, а там и в провинцию Нью-Йорк.

Я, должно быть, громко застонал.

— Да, — продолжал он, — я чересчур на себя понадеялся. Я говорил о неделе, а мне понадобилось целых двадцать дней. Но ничего, я еще наверстаю, придется только торопиться.

— И у вас есть деньги на это путешествие? — спросил я.

— Да, дорогой мой простак, — сказал он. — Вы можете порицать меня за мое двуличие, но, выпрашивая по шиллингу у своего папаши, я все время сохранял небольшой запасец про черный день. Вам, если вы пожелаете сопровождать нас в нашем фланговом марше, придется платить за себя. Мне хватит денег на себя и Секундру — не больше. Достаточно, чтобы быть опасным, но не достаточно, чтобы быть великодушным. Однако у меня остается свободное место на облучке моей кареты, которое я могу вам предоставить за скромную плату. Таким образом, весь зверинец будет в сборе: сторожевой пес, обезьяна и тигр.

— Я еду с вами, — сказал я.

— Я на это и рассчитывал, — отозвался Баллантрэ. — Вы видели меня побежденным, я хочу, чтобы вы увидели меня и победителем. Ради этого я готов намочить вас, как губку, под океанскими шквалами.

— И во всяком случае, — добавил я, — вы прекрасно знаете, что вам от меня не отделаться.

— Да, это нелегко, — сказал он. — Вы, как и всегда, с вашим безупречным здравым смыслом попадаете прямо в точку. А я никогда не борюсь с неизбежным.

— Я полагаю, что взывать к вашим чувствам было бы напрасным.

— Я вполне разделяю ваше мнение.

— И все же, если бы вы дали мне время, я мог бы списаться… — начал я.

— И каков был бы ответ лорда Дэррисдира?

— Да, — сказал я. — Вот в том-то и дело.

— Так насколько же проще мне отправиться самому! — сказал он. — И все это напрасная трата слов. Завтра в семь утра карета будет у подъезда. Потому что я выхожу в парадную дверь, Маккеллар, я не крадусь тайком по тропинкам, чтобы сесть в карету на дороге, ну, скажем, у Орлиного болота.

Я все еще не мог собраться с мыслями.

— Вы позволите мне остановиться на четверть часа в Сент-Брайде? — сказал я. — Мне необходимо переговорить с Карлайлем.

— Хоть на час, если вам это угодно. Я не скрою, что деньги, которые вы заплатите за место в карете, мне очень нужны. А ведь вы могли бы даже опередить меня в Глазго, наняв верховую лошадь.

— Да! — вздохнул я. — Никогда не думал, что придется покинуть старую Шотландию!

— Это вас немножко расшевелит, — сказал он.

— Это будет злосчастное путешествие, — заметил я. — Особенно для вас, сэр. Мое сердце говорит мне об этом. И одно ясно: начинается оно с плохого предвестия.

— Ну, если уж вы взялись вещать, — сказал он, — то прислушайтесь-ка повнимательней.

Как раз в эту минуту налетел жестокий шквал с Солуэя и дождь забарабанил по стеклам.

— Ты знаешь, что все это значит, кудесник? — спросил он, по-шотландски выговаривая слова. — Это значит, что известного вам Маккеллара здорово укачает.

Добравшись до своей комнаты, я сидел в горестном смятении, прислушиваясь к реву бури, которая с особенной яростью налетала именно с этой стороны. Гнетущее уныние, ведьмовские завывания ветра в башенках, неистовые шквалы, от которых, казалось, дрожали толстые каменные стены дома, — все это не давало мне спать. Я сидел с зажженной свечой, вглядываясь в черные стекла окна, через которое вот-вот грозила ворваться буря, и на этом пустом квадрате я видел то, что нас ожидало и от чего волосы у меня вставали дыбом. Ребенок развращен, семья развалена, мой хозяин мертв, или хуже чем мертв, моя хозяйка повергнута в отчаяние — все это ярко представлялось мне в черноте окна, и взвизги ветра точно насмехались над моей беспомощностью.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА МАККЕЛЛАРА С ВЛАДЕТЕЛЕМ БАЛЛАНТРЭ

Заказанная карета подкатила к крыльцу в Густом оседающем тумане. В молчании мы покинули Дэррисдир: дом стоял со струящимися водостоками и закрытыми ставнями — дом печали и запустения. Я заметил, что Баллантрэ высунулся в окно и глядел назад, на эти мокрые стены и мерцающую под дождем крышу, до тех пор, пока их совсем не скрыл туман. Мне кажется, что вполне понятная грусть охватила и его при этом прощании. Или это было предвидение конца? Во всяком случае, поднимаясь от Дэррисдира по длинному склону и шагая рядом со мной по лужам, он начал сперва насвистывать, а потом напевать одну из самых печальных песен наших краев — «Скиталец Вилли», которая всегда вызывала слезы у слушателей в харчевне.

Слов песни, которую он пел, я никогда не слышал, ни до того, ни после, но некоторые строки, особенно напоминавшие о нашем положении, навсегда запечатлелись в моей памяти. Одна строфа начиналась так:

Дом этот — наш дом был, полон милых сердцу.

Дом этот — наш дом был, детских лет приют.

А кончалась примерно так:

И теперь средь вересков ветхою руиной

Он стоит, заброшенный, обомшелый дом.

Позаброшен дом наш, пуст он и покинут

Смелыми и верными, выросшими в нем.

Я не судья поэтическим достоинствам этих стихов, они для меня связаны с меланхолией окружавшей меня обстановки и были мастерски пропеты (или, вернее, «сказаны») в самый подходящий момент. Он посмотрел на меня и увидел слезы на моих глазах.

— Эх, Маккеллар, — вздохнул он. — Неужели вы думаете, что и у меня не бывает минут сожаления?

— Я думаю, что вы не могли бы стать таким плохим человеком, — сказал я, — если бы в вас не были заложены все возможности быть хорошим.

— В том-то и дело, что не все, — заметил он, — далеко не все. В этом вы ошибаетесь. Я болен тем, что ничего не хочу, мой дорогой проповедник.

И все же мне показалось, что он вздохнул, снова усаживаясь в карету. Весь день мы ехали сквозь ненастье; кругом нас обволакивал туман, и небо без перерыва кропило мне голову. Дорога пролегала по пустошам и холмам, где не слышно было ни звука, кроме плача какой-то птицы в мокром вереске и рокота вздувшихся ручьев. Времена ми я забывался, и сейчас же меня охватывал отврати тельный и зловещий кошмар, от которого я пробуждался весь в поту и задыхаясь. Временами на крутом подъеме, когда лошади тащились шагом, до меня доносились голоса из кареты. Разговор шел на том экзотическом языке, который для меня был не более внятен, чем птичий щебет. Временами, когда подъем затягивался, Баллантрэ выходил из кареты и шагал рядом со мною, чаще всего не произнося ни слова. И все время, в забытьи или бодрствуя, я не мог отогнать от себя черную тень надвигающегося бедствия. Все те же картины вставали передо мной, только теперь они рисовались на придорожном тумане. Одна в особенности преследовала меня с осязательностью действительно происходящего. Я видел милорда, сидевшего за столом в маленькой комнате; сначала склоненная голова его была спрятана в руках, потом он медленно поднимал голову и повертывал ко мне лицо, выражавшее полную безнадежность и отчаяние. Впервые я увидел это в черном оконном стекле в последнюю нашу ночь в Дэррисдире, потом это преследовало меня почти во все время нашего путешествия, — и не как болезненная галлюцинация, потому что я дожил до преклонных лет, не утратив здравого рассудка; не было это (как мне сначала показалось) и небесным знамением, предрекавшим будущее, потому что среди всех прочих бедствий, — а их я увидел немало, — именно этого мне не суждено было увидеть. Решено было, что мы не будем прерывать пути и ночью, и, странное дело, с наступлением темноты я несколько приободрился. Яркие фонари, далеко пронизывающие туман, и дымящиеся спины лошадей, и мотающаяся фигура форейтора — все это представляло для меня зрелище более отрадное, чем дневная мгла. Или же просто ум мой устал мучиться. Во всяком случае, я провел без сна несколько часов в относительном спокойствии, хотя телесно и страдал от дождя и усталости, и наконец забылся крепким сном без сновидений. Но, должно быть, мысли мои не покидали меня и во сне и направлены они были все на то же. Я проснулся внезапно и поймал себя на том, что твержу себе:

«Дом этот — наш дом был, детских лет приют», — и тут только я увидел, насколько соответствуют слова песни отвратительной цели, с которой замыслил Баллантрэ свое путешествие.

Вскоре после этого мы прибыли в Глазго, где позавтракали в харчевне и где (по дьявольскому соизволению) нашли корабль, готовившийся к отплытию. Корабль назывался «Несравненный» — старое судно, весьма соответствовавшее своему имени. Судя по всему, это, должно быть, было его последнее плавание. На пристанях люди покачивали головой, и даже от случайных прохожих на улицах я получил несколько предостережений: судно прогнило, как выдержанный сыр, перегружено и неминуемо погибнет, попав в шторм. Этим, очевидно, и

объяснялось то, что мы были единственными пассажирами. Капитан Макмэртри был неразговорчивый, угрюмый человек, с гэльским выговором, его помощники — невежественные, грубые моряки из простых матросов, Так что Баллантрэ и я должны были сами развлекать себя, как умели.

Начиная с самого устья Клайда, «Несравненному» сопутствовал благоприятный ветер, и почти целую неделю мы наслаждались хорошей погодой и быстрым продвижением вперед. Оказалось (к моему собственному изумлению), что я прирожденный моряк, по крайней мере в отношении морской болезни, но обычное мое спокойное состояние духа было поколеблено. То ли от постоянной качки, то ли от недостатка движения и от солонины, то ли от всего, вместе взятого, но только я был крайне удручен и болезненно раздражителен. Этому способствовала и цель моего пребывания на корабле; болезнь моя (какова бы она ни была) проистекала из окружающего, и если в этом неповинен был корабль, то, значит, повинен был Баллантрэ. Ненависть и страх — плохие товарищи в пути. К стыду своему, я должен признаться, что и раньше испытывал эти чувства — засыпал с ними и пробуждался, ел и пил вместе с ними к все же никогда ни до, ни после того не был я так глубоко отравлен ими и душевно и телесно, как на борту «Несравненного». Я должен признать, что враг мой по давал мне пример терпимости. В самые тягостные дни он проявлял приветливое и веселое расположение и занимал меня разговорами, пока я мог это выдерживать, а когда я решительно отклонял его авансы, он располагался читать на палубе. Он взял с собою на корабль знаменитое сочинение мистера Ричардсона[44] «Кларисса» и среди прочих знаков внимания читал мне вслух отрывки из этой книги, причем даже профессиональный оратор не мог бы с большей силой передать патетические ее места. Я, в свою очередь, читал ему избранные места из библии, книги, из которой состояла вся моя библиотека. Для меня в ней многое было ново, потому что (к стыду своему) я до того — как, впрочем, и до сего дня — непростительно пренебрегал своими религиозными обязанностями. Он, как глубокий ценитель, отдавал должное высоким достоинствам книги. Иногда, взяв ее у меня из рук, он уверенно находил нужную ему страницу и своей декламацией сразу же затмевал мое скромное чтение. Но, странное дело, он не делал для себя никаких выводов из прочитанного, оно проходило высоко над его головой, как летняя гроза: Ловлас и Кларисса, рассказ о великодушии Давида и покаянные его псалмы, величавые страницы книги Иова и трогательная поэзия Исайи — все это для него было лишь развлечением, как пиликанье скрипки в придорожной харчевне. Эта внешняя утонченность и внутренняя тупость восстановили меня против него. Это была все та же бесстыдная грубость, которая, как я знал, скрывалась за лоском его изысканных манер. Часто его нравственное уродство вызывало у меня крайнее отвращение, а иногда я прямо шарахался от него, как от злого духа. Бывали минуты, когда он казался мне просто картонным манекеном, — достаточно ударить кулаком по его маске — и за нею окажется пустота. И этот ужас (как мне кажется, вовсе не напрасный) еще увеличивал отвращение, которое он во мне вызывал; когда он входил, я весь содрогался, временами мне хотелось кричать, и случалось, что я готов был ударить его. Это состояние, конечно, еще усугублялось стыдом за то, что в последние дни в Дэррисдире я позволил себе так в нем обманываться. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я способен опять поддаться его чарам, я рассмеялся бы такому человеку прямо в лицо.

Возможно, что он не замечал этого лихорадочного моего отвращения, а впрочем, едва ли, — он был слишком понятлив; вернее, длительный и вынужденный, досуг вызвал у него такую потребность в обществе, что он ради этого готов был закрывать глаза на мою явную неприязнь. К тому же он настолько упивался своим голосом, так любил себя во всех своих проявлениях, что это почти граничило с глупостью, нередкой спутницей порока. В тех случаях, когда я оказывался неприступен, он затевал нескончаемые разговоры со шкипером, хотя тот явно выказывал досаду, переминаясь с ноги на ногу и отвечая только отрывистым ворчаньем.

По прошествии первой недели мы попали в полосу встречных ветров и непогоды. Море разбушевалось. «Несравненный», ветхий и перегруженный, носился по волнам, как щепка, так

что шкипер дрожал за свои мачты, а я за свою жизнь. Мы нисколько не продвигались вперед. На корабле воцарилось уныние. Матросы, помощники, капитан — все с утра до вечера придирались друг к другу. Воркотня и брань, с одной стороны, и удары — с другой, стали повседневным явлением. Бывали случаи, когда команда вся целиком отказывалась выполнять свой долг, и мы в кают-компании из страха мятежа дважды приводили оружие в боевую готовность, что для меня было первым случаем обращения с пистолетом.

К довершению всех зол нас захватил шторм, и мы уже предполагали, что судно не выдержит. Я просидел в каюте с полудня до заката следующего дня; Баллантрэ привязал себя ремнями к чему-то на палубе, а Секундра проглотил какое-то снадобье и лежал недвижимый и бездыханный, — так что все это время я, можно сказать, провел в совершенном одиночестве. Вначале я был напуган до бесчувствия, до беспамятства, словно оледенел от страха. Затем для меня забрезжил луч утешения. Ведь если «Несравненный» потонет, вместе с ним пойдет ко дну существо, внушавшее всем нам такой страх и ненависть; не будет больше владетеля Баллантрэ, рыбы станут играть меж ребер его скелета; все козни его окончатся ничем, его безобидные враги обретут наконец покой. Сначала, как я сказал, то был лишь проблеск утешения, но скоро мысль эта озарила все как солнце. Мысль о смерти этого человека, о том, что он освободит от своего присутствия мир, который для стольких отравлял самим своим существованием, всецело завладела моим мозгом. Я всячески лелеял ее и находил все более приятной. Я представлял себе, как волны захлестнут судно, как они ворвутся в каюту, короткий миг агонии в одиночестве, в моем заточении. Я перебирал все эти ужасы, можно сказать, почти с удовольствием, я чувствовал, что могу вынести все это и даже больше, только бы «Несравненный», погибая, унес с собою и врага моего бедного господина.

К полудню второго дня завывание ветра ослабело; корабль уже больше не кренился так ужасно, и для меня стало очевидно, что буря стихает. Да простит мне бог, но лично я был этим огорчен. В эгоистичном увлечении всеобъемлющей неотвязной ненавистью я забывал о существовании безвинной команды и думал только о себе и своем враге. Сам я был уже стариком, я никогда не был молод, я не рожден был для мирских наслаждений, у меня было мало привязанностей, и для меня не составляло никакой разницы, утонуть ли мне где-то в просторах Атлантики, или же протянуть еще несколько лет, чтобы умереть не менее тягостно на какой-нибудь больничной койке. Я пал на колени, крепко держась за ларь, чтобы не мотаться по всей ходившей ходуном каюте, и возвысил свой голос посреди рева утихающего шторма, нечестиво призывая к себе смерть.

— Боже! — кричал я. — Я был бы достойнее называться человеком, если бы пошел и поразил этого негодяя, но ты еще в материнском чреве сделал меня трусом. О господи! Ты создал меня таким, ты знаешь мою слабость, ты знаешь, что любой облик смерти заставляет меня дрожать от страха. Но внемли мне! Вот перед тобою раб твой, и человеческая слабость его отброшена. Прими мою жизнь за жизнь этого создания, возьми к себе нас обоих, возьми обоих и пощади безвинного!

Я молился этими или еще более кощунственными словами, пересыпая их нечестивыми возгласами, в которых изливал свою скорбь и отчаяние. Бог во благости своей не внял моей мольбе, и я все еще погружен был в свои предсмертные моления, когда кто-то откинул с люка брезент и впустил в каюту яркий поток солнечного света. Я в смущении вскочил на ноги и с изумлением заметил, что весь дрожу и шатаюсь, словно меня только что сняли с дыбы. Секундра Дасс, у которого прекратилось действие его снадобья, стоял в углу, дико уставившись на меня, а через открытый люк капитан благодарил меня за мою молитву.

— Это вы спасли судно, мистер Маккеллар, — говорил он. — Никакое наше искусство не могло бы удержать его на поверхности. Поистине — «коль град господь не сохранит, стоять на страже втуне»!

Я был пристыжен заблуждением капитана, пристыжен изумлением и страхом, с которыми глядел на меня индус, и униженными знаками почтения, которые он затем принялся мне

оказывать. Теперь-то я знаю, что он, должно быть, подслушал и понял странный характер моих молений. Без сомнения, он сейчас же довел это до сведения своего хозяина, и сейчас, оглядываясь на прошлое, я лучше могу понять то, что тогда меня так озадачило, — эти странные и (могу сказать) одобрительные усмешки, которыми удостаивал меня Баллантрэ. Точно так же могу я теперь понять и слова, которые в тот вечер обронил он в разговоре со мной. Торжественно подняв руку и улыбаясь, он сказал:

— Ах, Маккеллар, не каждый на самом деле такой трус, каким себя считает… и не такой хороший христианин!

Он и не подозревал, насколько он в этом прав. Потому что мысль, запавшая мне в грозный час бури, не оставляла меня, а непрошеные слова, которые ворвались в мои молитвы, продолжали звучать в моих ушах. И прискорбные последствия этого я должен чистосердечно рассказать, потому что не могу допустить положения, при котором, обличая грехи других, я скрыл бы свои собственные.

Ветер стих, но волнение еще усилилось. Всю ночь корабль наш нестерпимо трепало; наступил рассвет следующего дня и еще следующего, а облегчение не приходило. Было почти невозможно пройти по каюте, старых, бывалых моряков так и швыряло по палубе, а одного при этом жестоко помяло. Каждая доска и скоба старого корабля скрипела и стонала, большой колокол на носу надрывно и без перерыва звонил.

В один из этих дней мы с Баллантрэ сидели вдвоем на шканцах.[45] Надо сказать, что они у «Несравненного» были высоко приподняты. Их ограждал от ударов волн прочный и высокий фальшборт, который, по старой моде, резным завитком постепенно сходил на нет и затем уже соединялся с носовым фальшбортом. Такое устройство, преследовавшее скорее декоративные, а не практические цели, приводило к тому, что в ограждении палубы был просвет, и как раз в том месте у границы кормовой надстройки, где при некоторых маневрах корабля особенно потребна была защита. В этом именно месте мы и сидели, свесив ноги, Баллантрэ — ближе к борту, а я — ухватившись обеими руками за решетчатый люк каюты. Наше положение казалось мне тем более опасным, что я определял силу качки по фигуре Баллантрэ, рисовавшейся на фоне заката в самом просвете фальшборта. То голова его возносилась чуть не в зенит и длинная тень, пересекая палубу, прыгала далеко по волнам с другого борта, то он проваливался куда-то мне под ноги и линия горизонта вздымалась высоко над ним, как потолок комнаты. Я смотрел на это не отрываясь, как птицы, говорят, не могут оторваться от взгляда змеи. Кроме того, меня ошеломляло поразительное разнообразие звуков, потому что теперь, когда паруса были установлены так, чтобы по мере возможности замедлять ход судна, — весь корабль сотрясался и гудел, словно мельница на полном ходу. Сначала мы говорили о мятеже, который нам недавно угрожал, это привело нас к теме убийства и представило такое искушение для Баллантрэ, против которого он не мог устоять. Он решил рассказать мне случай из жизни и вместе с тем покрасоваться передо мной своим талантом и порочностью. Делал он это всегда с большим увлечением и блеском и имел обычно большой успех. Но этот его рассказ, мастерски преподнесенный в обстановке такого смятения, причем рассказчик то взирал на меня чуть ли не с небес, а то выглядывал из-под самых подошв, — этот рассказ, уверяю вас, произвел на меня совершенно особое впечатление.

— Один мой приятель, граф, — так начал он, — питал смертельную вражду к поселившемуся в Риме барону-немцу. Причина этой вражды для нас несущественна, важно то, что он твердо решил отомстить барону, но для верности хранил это в глубокой тайне. В сущности, это первое правило мести: обнаруженная ненависть есть ненависть бессильная. Граф был человек пытливого, изобретательного ума; в нем было нечто артистическое: если он задумывал что-либо, это должно было быть выполнено в совершенстве, не только по результату, но и по способу выполнения, иначе он считал, что потерпел неудачу. Случилось однажды, что, проезжая верхом по окрестностям Рима, он наткнулся на заброшенный проселок, который уводил в одно из болот, окружающих Рим. С одной стороны была древняя

римская гробница, с другой — покинутый дом, окруженный садом с вечнозелеными деревьями. Дорога эта привела его на поляну, покрытую развалинами; посреди ее был насыпной холмик, с одного боку которого зияла дверь, а невдалеке росла одинокая карликовая пиния ростом не больше смородинового куста. Место было уединенное и безлюдное; что-то подсказало графу, что это может послужить ему на пользу. Он привязал лошадь к пинии, достал свой кремень и огниво и вошел в дверь. За ней начинался коридор старой римской кладки, который скоро раздваивался. Граф свернул вправо и ощупью пробирался вглубь, пока не наткнулся на перила высотою по грудь, преграждавшие проход.

Пошарив в темноте ногой, он нащупал облицованный камнем край и затем пустоту. С пробудившимся любопытством он собрал вокруг несколько гнилых щепок и разжег их. Перед ним был глубокий колодец; без сомнения, кто-нибудь из окрестных крестьян раньше пользовался им и загородил его. Долго стоял граф, опершись о перила и глядя вниз в колодец. Он был древнеримской стройки и, как все, что делали римляне, рассчитан на вечное пользование; стены его были отвесны и гладки; для человека, упавшего туда, не могло быть спасения. «Странно, — думал граф, — меня так влекло сюда. Зачем? Что мне до этого места? Зачем надо мне было вглядываться в этот колодец?» Как вдруг ограда подалась под его тяжестью, и он чуть было не упал вниз. Отпрыгнув назад, он наступил на последние остатки своего костра, костер погас и удушливо задымил. «Что привело меня сюда, к порогу смерти?» — сказал он и задрожал с головы до ног. Потом внезапная мысль промелькнула у него. На четвереньках он подобрался к краю колодца и нащупал ограду. Она держалась на двух стойках и отломилась только с одной стороны. Граф приложил перила к стойке, так что они стали снова смертельной ловушкой для первого же пришельца, и выбрался на волю, шатаясь как больной.

На другой день на верховой прогулке по Корсо он намеренно напустил на себя вид крайней озабоченности. Его спутник, барон, осведомился (как и предполагалось) о причине этого. Граф сначала отнекивался, но потом признал, что покой его был нарушен странным сном. Это было сделано в расчете заинтриговать барона, который был суеверен, но именно поэтому высмеивал суеверных. Так и тут — последовали насмешки, в ответ на которые граф, как бы выйдя из себя, одернул своего друга, предупреждая, что именно его он видел во сне. Вы достаточно знаете человеческую породу, мой любезный Маккеллар, чтобы догадаться о последующем: конечно, барон не успокоился, пока ему не рассказали сон. Граф, уверенный, что барон не отстанет, отговаривался, пока любопытство того не дошло до предела, а потом с хорошо разыгранной неохотой поддался на уговоры. «Предупреждаю вас, — сказал он, — что это приведет к беде. Я предчувствую это. Но так как иначе ни вам, ни мне не будет покоя, — хорошо, пусть вина падет на вашу голову! Вот что я видел во сне: я видел вас на верховой прогулке, — где, не знаю, но, должно быть, в окрестностях Рима, потому что по одну руку у вас была старинная гробница, а по другую — сад с вечнозелеными деревьями. Мне снилось, что я в страхе кричу и кричу вам, умоляя вернуться. Не знаю, слышите вы меня или нет, но вы упорно продолжаете свой путь. Дорога приводит вас в пустынное место, где между развалинами зияет дверь, ведущая внутрь насыпного холмика, и возле двери — какая-то ублюдочная пиния. Вы слезаете с седла (а я все кричу, предостерегая вас), привязываете лошадь к пинии и решительно входите в дверь. Внутри темно, но во сне я вижу вас и умоляю вернуться. Но вы ощупью идете вдоль правой стены и сворачиваете в проход направо, который приводит в небольшую пещеру с колодцем, огражденным перилами. Тут — сам не знаю почему — тревога моя еще возрастает, я до хрипоты выкрикиваю вам предостережения, кричу, что поздно, что надо сейчас же выбираться из этого преддверья. Именно это слово применил я в моем сне, и тогда, как мне казалось, оно имело определенное значение, но теперь, наяву, я, по правде говоря, не знаю, что оно значит. На все мои страхи вы не обращаете ни малейшего внимания, опираетесь на перила и вглядываетесь в воду. И потом вам открылось что-то — что именно, я так и не узнал, но порожденный этим ужас пробудил меня, и я проснулся, весь дрожа и рыдая. А в заключение, — продолжал граф, — скажу, что я очень благодарен вам за вашу

настойчивость. Этот кошмар давил меня неотступно; тогда как теперь, когда я выразил его в обычных словах при дневном свете, он представляется мне незначительным». «Ну, не знаю, — сказал барон, — здесь что-то кажется мне странным. Так вы говорите, что мне что-то открылось? Странный, очень странный сон. Я позабавлю им своих друзей». «Вовсе не нахожу его забавным, — возразил граф. — Во мне он вызывает отвращение. Лучше постараемся его позабыть». «Ну что ж, — сказал барон, — позабудем». И на самом деле, они больше не вспоминали про этот сон. Через несколько дней граф предложил прогуляться верхом, на что барон (они с каждым днем сближались все больше) охотно согласился. На обратном пути в Рим граф незаметно свернул на незнакомую дорогу. Вдруг он сдержал коня, всплеснул руками, закрыл ими глаза и громко вскрикнул. Когда он отнял руки от лица, он был смертельно бледен (надо сказать, что граф был превосходный актер). Он пристально посмотрел на барона. «Что с вами? — вскричал тот. — Что случилось?» «Ничего! — воскликнул граф. — Ровно ничего. Какой-то припадок. Поедемте скорее в Рим». Но барон огляделся, и вот по левую сторону дороги он увидел пыльный проселок, и по одну сторону его — гробницу, а по другую — сад с вечнозелеными деревьями. «Хорошо, — сказал он изменившимся голосом. — Скорее поедем домой. Я боюсь, что вам плохо». «Да, ради бога, скорее в Рим, и я сразу лягу в постель!» — вскричал граф, весь дрожа. Они доехали домой, не обменявшись ни словом; граф сейчас же лег в постель, и всем его светским знакомым в тот же вечер стало известно, что его треплет лихорадка. На другой день лошадь барона нашли привязанной к пинии, но сам он бесследно исчез… Так как вы считаете, было это убийством? — внезапно прервал Баллантрэ свой рассказ.

— А вы уверены, что он был граф? — спросил я.

— Да нет, насчет титула я не уверен, но он был родовитый дворянин, и господь да избавит вас, Маккеллар, от такого врага!

Последние слова он произнес, улыбаясь мне откудато сверху, в следующую минуту он был у меня под ногами. Я внимательно, как дитя, следил за его перемещениями; от них голова моя кружилась, и в ней становилось пусто, и говорил я как во сне.

— Он ненавидел барона лютой ненавистью? — спросил я.

— Его прямо-таки мутило, когда тот подходил к нему, — отвечал Баллантрэ.

— Вот именно это и я чувствовал, — сказал я.

— В самом деле! — воскликнул Баллантрэ. — Вот так новости! А скажите — впрочем, может быть, это излишнее самомнение, — не я ли был причиной этих желудочных пертурбаций?

Он способен был принимать изысканные позы, даже красуясь только передо мной, тем более если эти позы могли быть рискованны. Так и сейчас он сидел, перекинув ногу на ногу, скрестив руки, приноравливаясь к качке, с легкостью сохраняя равновесие, которое даже перышко могло непоправимо нарушить. И вдруг передо мною опять возник образ милорда за столом, со склоненной на руки головой; но только теперь, когда он поднял голову, лицо его выражало упрек. Слова из моей молитвы — я был бы достойнее называться человеком, если бы поразил этого негодяя, — мелькнули в моей памяти. Я напряг всю свою энергию и, когда корабль качнуло в сторону моего врага, быстро толкнул его ногой. Но небу угодно было, чтобы вина моего преступления не усугублялась его успехом.

То ли моя неуверенность, то ли его невероятное проворство, но только он увернулся от удара, вскочил на ноги и схватился за канат.

Не знаю, сколько времени прошло в молчании: я попрежнему лежал на палубе, охваченный страхом, раскаянием и стыдом; он стоял, не отпуская каната, и, опершись спиной о фальшборт, глядел на меня со странным, смешанным выражением; наконец он заговорил.

— Маккеллар, — сказал он, — я не упрекаю вас, я предлагаю вам соглашение. Вы, со своей стороны, едва ли хотите, чтобы этот случай стал достоянием гласности, я, со своей стороны, должен признаться, что мне не улыбается жить, постоянно ожидая, что на мою жизнь

покусится человек, с которым я сижу за одним столом. Обещайте мне… Но нет, — внезапно прервал он, — вы еще недостаточно оправились от потрясения; еще, чего доброго, подумаете, что я воспользовался вашей слабостью; я не хочу оставлять никаких лазеек для казуистики, этой бесчестности совестливых. Я дам вам время на размышления.

С этими словами он, скользнув, словно белка, по уходящей из-под ног палубе, нырнул в каюту. Примерно через полчаса он вернулся и застал меня все в том же положении.

— Ну, а теперь, — сказал он, — дадите ли вы мне слово. Как христианин и верный слуга моего брата, что мне не придется больше опасаться ваших покушений?

— Даю слово! — сказал я.

— Скрепим его рукопожатием, — предложил он.

— Вы вправе ставить условия, — ответил я, и мы пожали друг другу руку.

Он сейчас же уселся на прежнее место и в той же рискованной позе.

— Держитесь, — вскричал я, прикрывая глаза, — я не могу видеть вас в этом положении! Первый внезапный крен может сбросить вас в море!

— Вы в высшей степени непоследовательны, — ответил он, улыбаясь, но выполнил мою просьбу. — И все-таки вы, Маккеллар, да будет вам известно, высоко поднялись в моем мнении. Вы думаете, я не умею ценить верность? Но почему же, по-вашему, вожу я с собою по свету Секундру Дасса? Потому, что он готов в любую минуту умереть или убить ради меня. И я его за это люблю. Вы можете считать это странным, но я еще больше ценю вас после вашей сегодняшней выходки. Я думал, что вы раб Десяти заповедей,[46] но это, по счастью, не так! — воскликнул он. — И старушенция, оказывается, не вовсе беззуба! Что нисколько не меняет того обстоятельства, — продолжал он, снова улыбаясь, — что вы хорошо сделали, дав обещание, потому что сомневаюсь, чтобы вы преуспели в вашем новом амплуа.

— Полагаю, — сказал я, — что мне надлежит просить прощения у вас и молить бога простить мне мои прегрешения. Как бы то ни было, я дал слово, которому буду верен; но когда я думаю о тех, кого вы преследуете…

— И я умолк.

— Странная вещь — жизнь, — сказал он, — и странное племя — род людской. Вы внушили себе, что любите моего брата. Но это просто привычка, уверяю вас. Напрягите вашу память, и вы убедитесь, что, впервые попав в Дэррисдир, вы нашли его тупым, заурядным юношей. Он и сейчас по-прежнему туп и зауряден, хотя и не так молод. Если бы вы тогда повстречались со мной, вы бы теперь были таким же ярым моим сторонником.

— Я не сказал бы, что вы заурядный человек, мистер Балли, — заметил я, — но сейчас вы не проявили остроты ума. Вы только что положились на мое слово. А это ведь то же, что моя совесть, которая восстанавливает меня против вас, и я отвращаю от вас свой взор, как от сильного света.

— Ведь я говорю не о том, — сказал он. — Я говорю, что если бы вы встретили меня молодым… Поверьте, что не всегда я был таким, как сейчас, и (повстречай я друга такого, как вы) вовсе не обязательно должен был стать таким.

— Полно, мистер Балли, — сказал я, — вы бы насмеялись надо мной, вас не хватило бы и на десять минут вежливого разговора со скучным квакером.

Но он крепко уселся на нового конька самооправдания, с которого уже не слезал, докучая мне до самого конца путешествия. Без сомнения, раньше он находил удовольствие в том, чтобы рисовать себя в неоправданно черных тонах, и хвастался своей порочностью, выставляя ее напоказ, как своего рода герб. У него хватало последовательности не отказываться ни от одного из своих прошлых признаний.

— Но теперь, когда я убедился, что вы настоящий человек, — говорил он, — теперь я попытаюсь вам кое-что объяснить. Уверяю вас, что я так же человечен и наделен не меньшими добродетелями, чем мои ближние.

Он, повторяю, докучал мне, и в ответ я твердил все то же, — по меньшей мере двадцать раз я говорил ему:

— Откажитесь от ваших замыслов и возвращайтесь со мной в Дэррисдир, тогда я вам поверю.

На это он только качал головой.

— Ах, Маккеллар, доживи вы хоть до тысячи лет, вы никогда не поймете меня. Теперь, когда битва в разгаре, час колебаний прошел, а час пощады еще не наступил. Началось все это еще двадцать лет назад, когда мы кинули жребий в зале Дэррисдира. Были у каждого из нас победы и поражения, но ни один из нас и не подумал уступить. А что касается меня, когда перчатка моя брошена, с ней вместе я ставлю и жизнь и честь.

— А, подите вы с вашей честью! — восклицал я. — И с вашего позволения осмелюсь сказать вам, что все эти ваши воинственные сравнения слишком напыщенны для такого простого дела. Вам нужен презренный металл — вот смысл и корень спора. А средства, которые вы пускаете в ход! Повергнуть в горе семью, которая вам никогда не причиняла зла, развратить, если удастся, племянника, разбить сердце вашего единственного брата! Грабитель на большой дороге, который гнусным кистенем убивает старуху в вязаном чепчике за шиллинг и за понюшку табака, — вот вы кто, а вовсе не воин, заботящийся о своей чести!

Когда я в таких (или сходных) выражениях обличал его, он только улыбался и вздыхал, как человек, которого не понимают. Однажды, помнится мне, он стал защищаться более вразумительно и привел софистические доводы, которые стоит повторить, чтобы яснее понятен был его характер.

— Вы слишком невоенный человек и воображаете, что война — это сплошные барабаны и знамена, — сказал он. — Война (как очень разумно определили ее древние) — это «ultima ratio».[47] Когда мы неумолимо пользуемся своими преимуществами, — мы воюем. Вот, например, вы, Маккеллар, вы яростный вояка в своей конторе в Дэррисдире… или, может, арендаторы возводят на вас напраслину?

— Я не задумываюсь над тем, что есть война и что не есть война, — ответил я. — Но вы докучаете мне вашими притязаниями на уважение. Ваш брат хороший человек, а вы плохой, вот и все.

— Будь я Александром Македонским… — начал он.

— Вот так все мы обманываем себя! — закричал я. — Будь я самим апостолом Павлом, я все равно проделал бы тот же торный путь, которому вы были свидетелем.

— А я говорю вам, — прервал он меня, — что, будь я самым захудалым вождем клана горцев, будь я последним царьком племени голых негров в лесах Африки, мой народ обожал бы меня. Я плохой человек — не отрицаю. Но я рожден быть добрым тираном. Спросите Секундру Дасса, он скажет вам, что я обращаюсь с ним, как с сыном. Свяжите свою судьбу с моей, станьте моим рабом, моей собственностью, существом мне подвластным, как подвластны мне мое тело и мой разум, — и вы не увидите больше того темного лика, который я обращаю к миру в гневе своем. Мне надо все или ничего. Но тому, кто отдаст мне все, я возвращаю с лихвою. У меня королевская натура, в этом-то и беда моя!

— Положим, до сих пор это было бедою для других! — заметил я. — Что, как видно, служит неотъемлемым признаком королевского величия.

— Ерунда! — закричал он. — Даже сейчас, уверяю вас, я пощадил бы эту семью, в чьей судьбе вы принимаете такое участие. Да, даже теперь, я завтра же предоставил бы их

ничтожному их благополучию и скрылся бы в той толпе убийц и шулеров, которую мы называем светом. Я сделал бы это завтра же! — продолжал он. — Только, только…

— Что только? — спросил я.

— Только они должны просить меня об этом на коленях. И всенародно, — добавил он, усмехаясь. — В самом деле, Маккеллар, не знаю, найдется ли зала, достаточно большая для свершения этой церемонии.

— Тщеславие, тщеславие! — проворчал я. — Подумать только, что такая сильная страсть, пускай ко злу, но подчинена тому же чувству, которое заставляет жеманницу кокетничать со своим отражением в зеркале.

— Ну, все может быть освещено с разных сторон: словами, которые преувеличивают, и словами, которые преуменьшают; этак вы меня ни в чем не убедите. Вы давеча сказали, что я полагался на вашу совесть. Так вот, будь я склонен — к уничижению, я мог бы сказать, что рассчитывал на ваше тщеславие. Вы хвалитесь, что вы «un homme de parole»,[48] — я горжусь тем, что не признаю себя побежденным. Называйте это тщеславием, добродетелью, величием души — что значат слова? Но признайте в нас общую черту: оба мы люди идеи.

Как можно судить по таким откровенным беседам, по той терпимости, которая была обоими проявлена, мы были теперь в превосходных отношениях. На этот раз дело было серьезное. Если не считать препирательств, суть которых я пытался здесь воспроизвести, между нами воцарилось не просто взаимное уважение, но, смею сказать, даже некоторая приязнь. Когда я заболел (а случилось это вскоре после большого шторма), он сидел возле моей койки и развлекал меня разговорами, лечил меня какими-то превосходными лекарствами, которые я принимал без всякого опасения. Он сам это отметил.

— Вот видите, — говорил он. — Вы начинаете лучше узнавать меня. Еще совсем недавно на этом суденышке, где никто, кроме меня, не имеет ни малейшего понятия о медицине, вы заподозрили бы меня в том, что я злоумышляю на вашу жизнь. И заметьте, я стал относиться к вам с большим почтением именно после того, как убедился, что вы готовы отнять у меня жизнь. Ну, скажите, неужели это говорит о мелочности ума?

Что мне было отвечать? Я верил в искренность его намерений по отношению ко мне самому; может быть, я, был жертвой его притворства, но я верил (и посейчас верю), что он относился ко мне с искренним расположением. Странно и прискорбно, но как только произошла в нем эта перемена, враждебность моя ослабела и преследовавший меня горестный образ милорда совершенно изгладился у меня из памяти. И, может быть, основательна была последняя похвальба, с какой обратился ко мне Баллантрэ второго июля, когда наше долгое странствование уже приближалось к концу и мы спокойно входили в большую бухту Нью-Йорка, задыхаясь от нестерпимой жары, которую внезапно сменил невиданной силы ливень. Я стоял на корме, разглядывая приближавшиеся зеленые берега и видневшиеся кое-где дымки небольшого городка — цели нашего путешествия. И так как я уже обдумывал, как мне похитрее обойти нашего недруга, я не без замешательства увидел, что он подходит ко мне с радушно протянутой рукой.

— Я хочу попрощаться с вами, — сказал он, — и навсегда. Вы попадете опять в круг моих врагов, и сразу оживут все ваши предубеждения. Я всегда без промаха очаровывал всех, кого хотел: даже вы, мой добрый друг — позвольте мне раз в жизни назвать вас так, — даже вы уносите в душе совсем другое обо мне впечатление, и вы никогда не забудете о нем. Путешествие было слишком кратковременным, а не то впечатление было бы еще глубже. Но теперь всему этому пришел конец, и мы снова враги. Судите по нашему краткому перемирию, насколько я опасен, и скажите этим глупцам, — он указал пальцем на город, — чтобы они как следует подумали, прежде чем пренебрегать мною.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
СОБЫТИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Я уже упоминал, что решил обойти Баллантрэ, и с помощью капитана Макмэртри мне это без труда удалось. Пока с одного борта медленно грузили лодку, в которую спустился Баллантрэ, легкий ялик принял меня с другого борта и тотчас доставил на берег. Там я как можно скорее отыскал усадьбу милорда, расположенную на окраине города. Это был удобный, поместительный дом в глубине прекрасного сада, с обширными службами под одной крышей. Тут были и амбар, и хлев, и конюшня, и именно здесь я нашел милорда. Оказалось, что, увлеченный хозяйством, он проводит здесь большую часть времени. Я летел туда со всех ног и, запыхавшись, поведал ему мои новости, которые, по существу, были совсем не новы, поскольку уже несколько кораблей за это время обогнали «Несравненного».

— Мы вас уже давно ждем, — сказал милорд, — и последнее время теряли надежду когда-нибудь увидеть вас. Я рад снова пожать вам руку, Маккеллар. Я уже боялся, что корабль ваш погиб.

— Ах, милорд, — вскричал я, — будь на то соизволение божье, это было бы только к лучшему!

— Нет, почему же, — сказал он угрюмо. — Чего же лучше? Накопился длинный счет, и теперь по крайней мере я могу начать расплату.

Я выразил опасение за его безопасность.

— Ну, — сказал он, — здесь не Дэррисдир, и я принял меры предосторожности. Молва о нем опередила его, я подготовил брату достойную встречу. Судьба была на моей стороне, мне повстречался здесь купец из Олбени, который знавал его после 1745 года и у которого есть все основания подозревать его в убийстве, — дело идет о некоем Чью, тоже из Олбени. Никто здесь не удивится, если я не пущу Баллантрэ на порог и ему недозволено будет ни общаться с моими детьми, ни приветствовать мою жену. Сам же я, коли уж он приходится мне братом, готов выслушать его. В противном случае я лишу себя большого удовольствия, — потирая руки, заключил милорд.

Тут он поспешно разослал слуг к старейшинам провинции с письменными приглашениями. Не помню теперь, под каким предлогом он собирал их, но, во всяком случае, они прибыли, и, когда появился наш заклятый враг, он нашел милорда гулявшим по тенистой аллее перед домом в обществе губернатора и прочих нотаблей.[49] Миледи, сидевшая на веранде, в смятении поднялась и сейчас же увела детей в дом.

Баллантрэ, изящно одетый и при шпаге, изысканно раскланялся со всей компанией и фамильярно кивнул милорду. Милорд не ответил на его приветствие и, нахмурясь, смотрел на своего брата.

— Ну-с, сэр! — сказал он наконец. — Каким недобрым ветром принесло вас сюда, в страну, где (к нашему общему бесчестью) вы уже запятнали свою репутацию?

— Вам, милорд, следовало бы не забывать о вежливости! — вспылил Баллантрэ.

— Я не забываю о ясности, — возразил милорд, — потому что хочу, чтобы вам было ясно ваше положение. Дома, где вас так мало знали, еще возможно было соблюдать видимость; здесь это будет совершенно бесцельно. И я должен прямо заявить вам, что решительно от вас отрекаюсь. Вам почти удалось разорить меня, как вы уже разорили и, более того, свели в могилу старика отца. Преступлениям вашим удавалось избежать закона, но друг мой губернатор обещал оградить от вас мою семью. Берегитесь, сэр! — закричал милорд, угрожая брату тростью. — Если установлено будет, что вы сказали хотя бы два слова кому-нибудь из моих домочадцев, закон обратится против вас и обуздает вас.

— Ах, вот как! — сказал Баллантрэ, медленно выговаривая слова. — Вот оно, преимущество быть на чужбине! Насколько я понимаю, эти джентльмены незнакомы с нашей историей. Они не знают, что лорд Дэррисдир — это я; они не знают, что вы младший из братьев, занявший мое место по негласному семейному уговору; они не знают (иначе они не удостоили бы вас своей близостью), что каждый акр нашей земли, как перед богом,

принадлежит мне, и каждый пенс, которого вы меня лишаете, принадлежит мне, а вы вор, обманщик и вероломный брат.

— Генерал Клинтон! — закричал я. — Не слушайте эту ложь. Я управляющий их поместьем и свидетельствую, что в словах его нет ни слова правды. Он изгнанный мятежник, ставший наемным шпионом, — вот в двух словах вся его история.

Таким образом, я сгоряча проговорился о его позоре.

— Милостивый государь, — сурово сказал губернатор, обращаясь к Баллантрэ. — Я знаю о вас больше, чем вы можете предполагать. Обнаружились некоторые подробности таких ваших подвигов в наших местах, что для вас же лучше будет, если вы не принудите меня нарядить по ним следствие. Тут и обстоятельства, при которых исчез мистер Джекоб Чью со всем своим товаром, и то, как вы стали обладателем значительной суммы денег и драгоценностей, и откуда вы взялись, когда вас подобрал на Бермудах наш капитан из Олбени. Поверьте мне, что я не поднимаю всего этого лишь во внимание к вашему семейству, а также из уважения к моему досточтимому другу лорду Дэррисдиру.

Шепот единодушного одобрения всех нотаблей сопровождал эти его слова.

— Мне следовало помнить, — проговорил смертельно побледневший Баллантрэ, — как ослепителен для всех в этом захолустье любой блестящий титул, вне зависимости от его законности. Мне остается тогда только умереть с голоду у крыльца милорда, и пусть труп мой служит украшением его дома.

— К чему эти напыщенные речи! — воскликнул милорд. — Вы прекрасно знаете, что мне это ни к чему. Единственно, чего я добиваюсь, это оградить себя от клеветы, а дом мой — от вашего вторжения. Я предлагаю вам на выбор: либо я оплачу ваше возвращение в Англию на первом же отплывающем корабле, и там, дома, вы, может, найдете способ продолжать ваши услуги правительству, хотя, свидетель бог, я предпочел бы увидеть вас разбойником на большой дороге. Или же, если это вам не угодно, извольте, оставайтесь здесь. Я установил ту минимальную сумму, на которую можно прожить здесь, в Нью-Йорке. И в этих размерах я готов выдавать вам еженедельное пособие. Если вы по-прежнему не способны улучшить ваше положение трудом рук своих, то теперь самое подходящее для вас время научиться этому. Но помните, — прибавил милорд в заключение, — что непременное мое условие: никаких разговоров с членами моей семьи, кроме меня самого!

Я еще не видел, чтобы кто-нибудь был так бледен, как Баллантрэ в эту минуту, но держался он прямо и губы у него не дрогнули.

— Меня встретили здесь, — сказал он, — совершенно незаслуженными оскорблениями, но я не намерен обращаться в бегство. Что ж, выдавайте мне вашу подачку. Я принимаю ее безо всякого стыда, — она, как и последняя ваша рубашка, все равно принадлежит мне. И я останусь здесь, пока эти джентльмены не познакомятся со мной получше. Я думаю, что они уже кое-что поняли, поняли и то, что, как вы ни заботитесь о семейной чести, вам не терпится унизить ее в моем лице.

— Все это красивые слова, — сказал милорд, — но для нас, для тех, кто знает вас давно, они ровно ничего не значат. Вы избираете то, что кажется вам сейчас более выигрышным. Ну что ж, только не разглагольствуйте при этом; смею вас уверить, что молчание сослужит вам лучшую службу, чем это выражение неблагодарности, — Вы говорите о благодарности, милорд! — вскричал Баллантрэ, возвышая голос и угрожающе подняв палец. — Будьте покойны, благодарности моей вам не избегнуть. А теперь, кажется, мне пора откланяться этим джентльменам, которым мы, должно быть, наскучили своими семейными делами.

И он отвесил каждому из них по церемонному поклону, оправил шпагу и удалился, оставив всех в полном недоумении, причем меня лично удивили не только его слова, но и решение милорда.

Теперь нам предстояло вступить в новую полосу этой семейной распри. Баллантрэ был вовсе не так беспомощен, как это предполагал милорд. Под рукой у него был всецело преданный ему искусный золотых дел мастер. Они вдвоем вполне могли прожить на пособие милорда, которое было не таким скудным, как это можно было предположить по его словам, так что все заработки Секундры Дасса они могли откладывать для осуществления своих планов. И я не сомневаюсь, что именно так они и поступали.

По всей вероятности, Баллантрэ намеревался скопить необходимую сумму, а затем отправиться на поиски тех сокровищ, которые когда-то закопал в горах, и если бы он этим ограничился, все обернулось бы к лучшему как для него, так и для нас. Но, к несчастью, он внял голосу своего гнева. Публичное бесчестье, которому он подвергся при возвращении (меня удивляло, как он его во обще — пережил), не переставало терзать его, и он был похож на человека, по старому присловью, готового отрезать себе нос, чтобы досадить своему лицу. И вот он сделал себя всеобщим позорищем в расчете, что бесчестье падет и на милорда.

В беднейшей части города он выбрал уединенный дощатый домишко, полускрытый в тени акаций. По фасаду стена была прорезана, как в собачьей конуре, и перед отверстием устроено нечто вроде широкого прилавка, на котором прежний владелец раскладывал свои товары. Должно быть, это и привлекло внимание Баллантрэ и, возможно, внушило ему все дальнейшее. Оказалось, что на борту пиратского судна он обучился владеть иглой, по крайней мере в той степени, какая ему нужна была, чтобы разыгрывать роль портного. А именно в этом-то и была соль задуманного им мщения. Над конурой появилась вывеска, гласившая:

ДЖЕМС ДЬЮРИ

(ранее владетель Баллантрэ)

ПОЧИНКА И ШТОПКА ОДЕЖДЫ

СЕКУНДРА ДАСС

разорившийся джентльмен из Индии

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

А под этой вывеской, поджав ноги по-портновски, сидел на прилавке Баллантрэ и ковырял иглою. Я говорю «ковырял», потому что клиенты приходили главным образом к Секундре и шитье Баллантрэ было более под стать пряже Пенелопы. Он бы никогда не заработал таким образом и на масло к своему хлебу, но с него довольно было и того, что имя Дьюри красовалось на этой вывеске и что сам наследник славной фамилии сидел, поджав ноги калачиком, как живой укор братниной скупости. И затея его частично удалась, потому что по городу пошли толки и возникла целая партия, враждебно настроенная по отношению к милорду. Благосклонность к нему губернатора делала милорда только беззащитнее, а миледи, которая никогда не пользовалась особой симпатией в колонии, стала мишенью злостных намеков. В женском обществе, где так естественны разговоры о рукоделье, ей нечего было и думать заговорить о шитье; и сколько раз, бывало, я видел, как она возвращалась вся красная и навсегда зарекалась ходить в гости.

Тем временем милорд жил в своем благоустроенном поместье, поглощенный хозяйством, пользуясь расположением близких и безразличный к остальному. Он пополнел, лицо у него было оживленное, озабоченное. Самая жара, казалось, не тяготила его, и миледи, забывая о собственных невзгодах, денно и нощно благодарила небо за то, что отец оставил ей в наследство этот райский уголок. Из окна она видела, какому унижению подвергся Баллантрэ, и с этого дня как будто обрела покой. Я, напротив, был далеко не спокоен. С течением времени я стал замечать в милорде не совсем здоровые черты. Он, несомненно, был счастлив, но основания для этого были его секретом. Даже находясь в лоне своей семьи, он непрестанно лелеял какую-то затаенную мысль, и в конце концов во мне зародилось подозрение (как оно ни было недостойно нас обоих), что у него где-то в городе есть любовница. Однако он редко выезжал, и день его был до отказа занят делами. Из моего поля зрения ускользал только короткий промежуток времени рано утром, когда мистер Александер был занят уроками. В свое оправдание я должен заметить, что я все еще находился в некотором сомнении касательно того, полностью ли восстановился рассудок милорда. А близость нашего врага, притаившегося тут же в городе, только усугубляла мою настороженность. Поэтому, переменив под каким-то предлогом час, в который я обычно обучал мистера Александера начаткам письма и счета, я вместо этого отправился выслеживать своего господина.

Каждое утро, невзирая на погоду, он брал трость с золотым набалдашником и, сдвинув шляпу на затылок (новая привычка, которая, по моим догадкам, означала разгоряченный лоб), отправлялся на свою обычную прогулку.

В этот день первым долгом он прошел по аллее в сторону кладбища, где посидел некоторое время, о чемто размышляя. Потом свернул к берегу моря и, пройдя по набережной, оказался по соседству с конурой Баллантрэ. Теперь шаг милорда был быстрее и увереннее, как у человека, наслаждающегося воздухом и видом. Остановившись на набережной перед самой лачугой, он постоял, опираясь на свою трость. Это, был именно тот час, когда Баллантрэ обычно усаживался на свой прилавок и ковырял иглой. И вот оба брата с застывшими лицами уставились друг на друга. Потом милорд тронулся в дальнейший путь, чему-то улыбаясь.

Только дважды мне пришлось прибегнуть к столь недостойному выслеживанию. Этого было достаточно, чтобы удостовериться в цели его прогулок и в тайном источнике непонятного довольства. Так вот какова была любовница милорда: ненависть, а не любовь воодушевляла его. Может быть, иные моралисты были бы довольны таким открытием, но меня, признаюсь, оно ужаснуло. Такие отношения между братьями не только были отвратительны сами по себе, но и чреваты многими грядущими бедами. Поэтому я принял за правило (поскольку это позволяли мне мои разнообразные обязанности) при первой возможности кратчайшим путем опережать милорда и тайком наблюдать за их встречей.

Однажды, немного опоздав и придя после почти недельного перерыва, я был изумлен новым поворотом, который приняло дело. Возле конуры Баллантрэ была скамья, устроенная когда-то лавочником для удобства покупателей. Так вот на ней-то и сидел милорд, опираясь подбородком на трость и преспокойно разглядывая корабли и гавань. А всего в трех шагах от него тачал какую-то одежду его брат. Оба молчали, и милорд даже не глядел на своего врага. Ему, насколько я понимаю, доставляла жгучее удовольствие самая его близость.

Едва он двинулся прочь, как я, не скрываясь, нагнал его.

— Милорд, милорд, — сказал я, — ведь это же недостойно вас.

— Для меня это — лучшее лекарство, — ответил он, и не только эти слова, сами по себе странные, но и тон, каким они были произнесены, возмутили меня.

— Я должен предостеречь вас, милорд, против этого потворства злому чувству, — сказал я. — Не знаю, что страдает от этого больше: душа или разум, — но вы рискуете погубить как то, так и другое.

— Что вы понимаете! — сказал он. — Разве испытывали вы когда-нибудь такой гнет горечи?

— И даже не говоря о вас, — прибавил я, — но вы другого толкаете на крайности.

— Напротив. Я ломаю его гордыню.

И так в продолжение целой недели милорд каждое утро занимал все то же место на скамье. Она стояла в тени зеленых акаций, отсюда открывался чудесный вид на бухту и корабли, сюда долетали песни матросов, занятых своей работой.

Так они и сидели — без слова, без движения, только Баллантрэ тыкал иголкой или откусывал нитку, все еще делая вид, что портняжничает. Я тоже являлся туда каждый день, не переставая изумляться и себе и обоим братьям. Когда проходил кто-нибудь из друзей милорда, он весело окликал их и сообщал, что он тут затем, чтобы дать полезный совет своему брату, который (к его, милорда, радости) так прилежно трудится. Даже это Баллантрэ переносил с угрюмым спокойствием, но что было при этом у него на уме, знает один бог или, вернее, сам сатана.

В тихий, ясный день той осенней поры, которую там зовут «индейским летом», когда все леса вокруг оделись в золото и багрянец, Баллантрэ вдруг отложил иглу и предался необузданному веселью. Я полагаю, что он долгое время молча готовился к этому, потому что все выглядело довольно естественно, но такой резкий переход от упорного молчания при обстоятельствах столь нерадостных сам по себе звучал для меня зловеще.

— Генри, — сказал он, — я на этот раз допустил ошибку, а у тебя на этот раз хватило ума воспользоваться ею. Портновский фарс сегодня же кончится, и должен тебе сказать, что ты переиграл меня, — поздравляю. Кровь — она сказывается, и признаюсь, ты нашел верный способ досадить мне самим своим присутствием.

Милорд не проронил ни слова, как будто Баллантрэ и не нарушил молчания.

— Послушай, — продолжал тот, — не хмурься, это тебе не к лицу. Ты теперь можешь позволить себе быть немножко снисходительнее, потому что (поверь мне) я не только признаю себя побежденным. Видишь ли, я хотел продолжить этот фарс до тех пор, пока не скоплю достаточно денег для одного предприятия, но, признаюсь чистосердечно, выдержки у меня не хватило. Ты, конечно, хотел бы, чтобы я покинул этот город, я пришел к той же мысли с другого конца. И я хочу тебе кое-что предложить, или, вернее, просить у вас милости, милорд.

— Проси, — сказал милорд.

— Ты, может быть, слышал, что у меня в этой стране накоплены были большие богатства. Неважно, слышал ты или нет, но это так. Я вынужден был закопать их в месте, которое известно только мне. Возвратить это мое достояние — вот теперь единственная моя мечта. А так как богатства эти, бесспорно, мои, то ты, надеюсь, не притязаешь на них.

— Отправляйся и доставай их, — сказал милорд. — Я не против.

— Очень приятно, — продолжал Баллантрэ, — но для этого нужны люди и средства передвижения. Путь туда далек и труден, местность наводнена дикими индейцами. Ссуди меня самым необходимым либо вперед, под твое пособие, либо, если тебе угодно, как долг, который я верну по возвращении. И тогда можешь быть спокоен: больше ты меня не увидишь.

Милорд упорно глядел ему прямо в глаза, жесткая улыбка тронула его губы, но он не сказал ни слова.

— Генри, — продолжал Баллантрэ с ужасающим спокойствием, но напряженно откинувшись назад, — Генри, я имел честь обратиться к тебе.

— Пойдем домой, — сказал мне милорд, которого я уже давно тянул за рукав. Он встал, потянулся, поправил на голове шляпу и, не говоря ни слова, тяжело зашагал по набережной.

На мгновение я растерялся, настолько серьезным показался мне этот поворот в отношениях братьев. Баллантрэ тем временем возобновил свое шитье, опустив глаза и ловко орудуя иголкой. Я решил нагнать милорда.

— В уме ли вы? — закричал я, поравнявшись с ним. — Неужели вы упустите такую счастливую возможность?

— Неужели вы ему все еще верите? — спросил милорд, и мне почудилась в этих словах насмешка.

— Пусть его убирается из города! — кричал я. — Пусть отправляется, куда хочет и как хочет, лишь бы он уехал!

— Я сказал свое слово, — возразил милорд. — Вы можете оставаться при своем. На этом и покончим.

Но я не оставлял мысли о том, чтобы спровадить Баллантрэ. Я не мог без содрогания вспомнить, как покорно он вернулся к своему портняжничанью. Ни один человек на свете, а тем более Баллантрэ, не мог бы вытерпеть такую цепь непрерывных оскорблений. В воздухе запахло кровью. И я поклялся, что не упущу ни малейшей возможности, не пренебрегу ничем, что могло бы предотвратить преступление. Поэтому в тот же день я вошел в кабинет милорда, где застал его за какими-то хозяйственными делами.

— Милорд, — сказал я. — Мне представился случай вложить мои скромные сбережения в подходящее дело. Но, к несчастью, они хранятся в Шотландии, потребуется немало времени, чтобы получить их оттуда, а дело не терпит отлагательств. Не найдет ли ваша милость возможным выдать мне нужную сумму под вексель?

Он долго глядел на меня, словно читая мои мысли.

— Я никогда не спрашивал вас о ваших капиталах, Маккеллар, — сказал он. — Но, насколько мне известно, кроме страхового полиса, у вас нет за душой ни фартингу.

— Я давно служу вашей милости и никогда не лгал и до сего дня ни разу не просил об одолжении, — сказал я.

— Одолжение, но для кого? — ответил он спокойно. — Для Баллантрэ? Вы что, принимаете меня за дурака, Маккеллар? Поймите же раз и навсегда. Я укрощаю этого зверя по-своему. Ни страх, ни сожаление не тронут меня, и для того, чтобы обмануть меня, нужен выдумщик поискуснее вас. Я требую службы, верной службы, а не того, чтобы вы орудовали за моей спиной, портили все дело и крали мои же деньги, чтобы ими способствовать победе моего врага.

— Милорд, — сказал я, — чем я заслужил эти непростительные упреки?

— Подумайте, Маккеллар, — ответил он, — и вы поймете, что они вполне заслуженны. Непростительна ваша собственная уловка. Опровергните, если можете, что вы собирались с помощью этих денег обойти мои приказания, и я чистосердечно попрошу у вас прощения. Но если вы этого сделать не можете, тогда вы должны примириться с тем, что я называю ваше поведение его настоящим именем.

— Если вы полагаете, что в мои намерения входит что-либо иное, кроме вашего блага… — начал я.

— Мой старый друг, — сказал он, — вы прекрасно знаете, что я о вас думаю. Вот вам моя рука от чистого сердца; но денег — ни фартинга!

Потерпев в этом неудачу, я сейчас же пошел к себе, написал письмо и отнес его в гавань, где, как я знал, готовилось к отплытию торговое судно, и еще засветло был у дверей домишка Баллантрэ. Я вошел без стука и увидел, что он сидит со своим индусом за скромным ужином из маисовой каши с молоком. Внутри все было очень бедно, но чисто. На полке стояло несколько книг, а в углу скамеечка Секундры.

— Мистер Балли, — сказал я. — У меня в Шотландии отложено почти пятьсот фунтов, сбережения всей моей трудовой жизни. Вот с тем кораблем идет распоряжение перевести эти деньги сюда. Как только придет обратная почта, они будут ваши, на тех условиях, которые вы сегодня изложили милорду.

Он встал из-за стола, подошел ко мне, взял меня за плечи и, улыбаясь, поглядел в лицо.

— А между тем вы очень любите деньги! — сказал он. — Вы любите деньги больше всего на свете, если только не считать моего брата.

— Я страшусь старости и нищеты, — сказал я. — Но это совсем другое дело.

— Не будем спорить о словах. Называйте это как угодно. Ах, Маккеллар, Маккеллар, будь это проявлением хоть малейшей любви ко мне, с какой радостью принял бы я ваше предложение!

— Думайте что хотите, — горячо ответил я. — К стыду своему, я не могу видеть вас в этой лачуге без угрызений совести. Это не единственное мое побуждение и не первое, но оно есть. Я с радостью вызволил бы вас отсюда. Не из любви к вам предлагаю я деньги, далеко нет, но, бог мне судья, и не из ненависти, хотя меня и самого это удивляет.

— Ах, — сказал он, все еще держа меня за плечи и легко встряхнув. — Вы думаете обо мне больше, чем вам кажется. «Хотя меня и самого это удивляет», — прибавил он, повторяя мое выражение и даже, как мне показалось, мою интонацию. — Вы честный человек, и поэтому я пощажу вас.

— Пощадите меня?! — вскричал я.

— Пощажу вас, — повторил он, отпуская меня и поворачиваясь ко мне спиной. А потом, снова обернувшись ко мне, продолжал: — Вы плохо представляете, Маккеллар, как я применил бы ваши деньги. Неужели вы думаете, что я примирился со своим поражением? Слушайте: жизнь моя была цепью незаслуженных неудач. Этот олух, принц Чарли, провалил блестящее предприятие; это был мой первый проигрыш. В Париже я снова высоко поднялся по лестнице почета; на этот раз по чистой случайности письмо попало не в те руки, и я снова остался ни с чем. Я в третий раз попытал счастья: с невероятным упорством я создал себе положение в Индии, — и вот появился Клайв,[50] мой раджа был стерт в порошок, и я едва выбрался из-под обломков, как новый Эней,[51] унося на спине Секундру Дасса. Три раза я добивался высочайшего положения, а ведь мне еще нет и сорока трех лет. Я знаю свет так, как его знают немногие, дожившие до преклонного возраста, знаю двор и лагерь, запад и восток; я знаю выход из любого положения, знаю тысячи лазеек. Сейчас я в расцвете своих сил и возможностей, я излечился и от болезней и от неумеренного честолюбия. И вот от всего этого я отказываюсь. Мне все равно теперь, что я умру и мир не услышит обо мне. Я хочу сейчас только одного, и этого добьюсь. Берегитесь, чтобы стены, когда они обрушатся, не погребли вас под обломками!

Когда я вышел от него, потеряв всякую надежду чемлибо помешать беде, я смутно ощутил какое-то оживление в порту и, подняв глаза, увидел только что причаливший большой корабль. Странно, как я мог так равнодушно глядеть на него, — ведь на нем прибыла смерть обоих братьев Дэррисдиров. После всех ожесточенных перипетий их борьбы, оскорблений, схватки интересов, братоубийственной дуэли — надо же было, чтобы пасквиль какого-то несчастного писаки с Грэб-стрит,[52] кропающего себе на хлеб и не думающего, что именно он кропает, залетел сюда через море, за четыре тысячи миль, и послал обоих братьев в дикие холодные дебри лесов на смерть.

Но тогда я и не помышлял о возможности этого, и пока местные жители суетились вокруг меня, обрадованные редким оживлением в порту, я, возвращаясь домой, прошел сквозь их толпу, всецело поглощенный впечатлением от своего визита к Баллантрэ и от его слов.

В тот же вечер нам доставили с корабля пачку брошюр. На другой день милорд был приглашен на вечер к губернатору; уже время было собираться, и я оставил милорда одного в

кабинете, где он перелистывал полученные брошюры. Когда я вернулся, голова его лежала на столе, а руки были широко раскинуты над скомканными бумагами.

— Милорд, милорд! — вскричал я и поспешил к нему, думая, что ему дурно.

Он резко вскочил, словно его дернули за веревочку, лицо его было искажено яростью, так что, встреть я его в другом месте, я бы его, пожалуй, не узнал. Он замахнулся, словно намереваясь меня ударить.

— Оставьте меня в покое! — хрипло крикнул он.

И я побежал, насколько позволяли мне трясущиеся ноги, искать миледи. Она не заставила себя просить, но когда мы прибежали, дверь была заперта изнутри и милорд крикнул нам, чтобы мы не мешали ему. Побледнев, мы посмотрели друг другу в глаза. Мы оба думали, что наконец-то беда разразилась.

— Я напишу губернатору, чтобы он извинил нас, — сказала она. — Нам нельзя пренебрегать покровительством друзей. — Но когда она взялась за перо, оно выпало из ее пальцев. — Я не могу писать, — сказала она. — Напишите вы.

— Попробую, миледи.

Она прочитала то, что я написал.

— Очень хорошо, — сказала она. — Благодарение богу, что у меня есть такая опора, как вы, Маккеллар. Но что с ним? Что? Что это может быть?

По моему предположению, тут и догадываться и объяснять было нечего. Я боялся, что попросту умопомешательство его наконец прорвалось наружу, как прорывается долго подавляемое пламя вулкана. Но этой своей догадки (во внимание к миледи) я, конечно, не высказывал.

— Сейчас, пожалуй, уместнее подумать о нашем собственном поведении, — сказал я. — Должны ли мы оставлять его там одного?

— Я не смею тревожить его, — ответила она. — Может быть, это у него естественная потребность — побыть одному. Может быть, это принесет ему облегчение. А мы — мы должны терпеть эту неизвестность. Нет, я не стану тревожить его.

— Тогда я пойду отправлю письмо и, если разрешите, вернусь посидеть с вами, миледи.

— Да, да, пожалуйста! — воскликнула она.

Почти весь вечер мы просидели вдвоем молча, наблюдая за дверью кабинета. Мое воображение было поглощено только что виденным и тем, насколько это было похоже на то, что мерещилось мне раньше. Я должен упомянуть об этом, потому что распространились всякие толки, и я встречал их даже в напечатанном виде со страшными преувеличениями и даже с упоминанием моего имени. Многое совпадало: так же в комнате, точно так же головою на столе, и на лице его выражение, потрясшее меня до глубины души. Но комната была другая, и не такая поза у милорда, и лицо его выражало болезненную ярость, а не то беспредельное отчаяние, которое постоянно (кроме одного случая, приведенного мною выше) виделось мне во сне. Такова правда, впервые поведанная мною посторонним; но если велика была разница, то и совпадение было достаточным, чтобы преисполнить меня тревоги.

Весь вечер, как я уже говорил, я просидел, размышляя об этом про себя, потому что у миледи было достаточно собственных забот, и мне и в голову не пришло бы тревожить ее своими выдумками. Попозже вечером она придумала послать за мистером Александером и велела ему постучать в дверь к отцу. Милорд отослал сына, но без всякого раздражения, и у меня затеплилась надежда, что припадок у него кончился.

Наконец, когда уже начала спускаться ночь и я зажег лампу, дверь кабинета распахнулась, и на пороге показался милорд. Свет был недостаточно силен, чтобы разобрать выражение его лица, а когда он заговорил, мне показалось, что голос его изменился, хотя он и звучал вполне твердо.

— Маккеллар, — сказал он. — Собственноручно передайте это письмо по назначению. Оно совершенно конфиденциально. Передайте его этому человеку наедине.

— Генри, — сказала миледи. — Ты не болен?

— Нет, нет! — ответил он с раздражением. — Я занят. Вовсе не болен. Я просто занят. Странное дело, почему это вы думаете, что человек болен, когда он просто занимается своими делами. Пришли мне в комнату ужин и корзину вина, я жду одного знакомого. А потом прошу не отрывать меня от дела. — И с этими словами он снова захлопнул дверь и заперся.

Письмо было адресовано некоему капитану Гаррису в одну портовую таверну. Я знал Гарриса (понаслышке) как опасного авантюриста, в прошлом, как говорили, пирата, а теперь занятого тяжелым ремеслом — торговлей с индейцами. Я представить себе не мот, какое дело могло связывать его с милордом и даже каким образом он стал ему известен, разве что по судебному делу, из которого он только что едва выпутался. Как бы то ни было, я с большой неохотой выполнил поручение и, увидев, что представляет собою капитан, возвращался от него в большой печали. Я нашел его в вонючей комнате, возле оплывшей свечи и пустой бутылки. Он сохранял еще следы военной выправки, а может, только напускал на себя военный вид, потому что манеры его были ужасны.

— Передайте милорду мое почтение и скажите, что я буду у его милости не позже чем через полчаса, — сказал он, прочитав записку. А затем с заискивающим видом, указывая на пустую бутылку, намекнул, не угощу ли я его вином.

Хотя я приложил все старания, чтобы вернуться побыстрее, капитан прибыл сейчас же следом за мной и просидел у милорда допоздна. Уже пропели вторые петухи, когда я увидел (из окна моей комнаты), как милорд провожал его до ворот, причем оба они изрядно были пьяны и, разговаривая, прислонялись друг к другу, чтобы не упасть. Однако наутро милорд рано ушел из дому с сотней фунтов в кармане. Полагаю, что он вернулся без этих денег; и вполне уверен, что они не перешли в руки Баллантрэ, потому что все утро я держал его лачугу под наблюдением. Это был последний выход лорда Дэррисдира за пределы его владений до самого его отбытия из Нью-Йорка. Он наведывался на конюшню, сидел, разговаривая с домашними — все как обычно, но в городе не показывался и брата не посещал. Не появлялся больше и Гаррис вплоть до самого конца.

Меня сильно угнетала та атмосфера тайны, которая нас теперь окружала. Уже по резко изменившемуся образу жизни милорда ясно было, что его гнетет какая-то серьезная забота, но в чем она заключалась, откуда проистекала, почему он не выходил за пределы дома и сада, я решительно не мог догадаться. Ясно было одно: в этом деле сыграли свою роль привезенные на корабле брошюры. Я прочитал их все до одной, но все они были крайне незначительны и исполнены политиканского шутовства. Однако в них я не нашел ничего оскорбительного даже по отношению к видным политическим деятелям, не говоря уже о людях, державшихся в стороне от политических интриг, каким был милорд. Я не знал того, что пасквиль, послуживший толчком, все время был спрятан на груди у милорда. Он находился там до самой его смерти; там я его нашел, когда он скончался в дебрях северных лесов. Именно там, в таком месте и при таких горестных обстоятельствах, я и прочитал впервые эту праздную, лживую выдумку вигского[53] писаки, восставшего против всякого снисхождения к якобитам.

Первый абзац гласил: «Еще один известный мятежник, Дж. Б. — восстановлен в своих титулах. Это дело уже обсуждалось в высоких сферах, так как он оказал какие-то услуги весьма сомнительного свойства и в Шотландии и во Франции. Брат его Л-д Д-р немногим лучше его по своим симпатиям, а теперешний наследник титула, который его будет лишен, воспитан в самых неподобающих убеждениях. По старой пословице, они одного поля ягода, но самый факт восстановления в правах этого кавалера слишком вопиющ, чтобы можно было пройти мимо него».

Человек в твердом уме, конечно, не придал бы ни малейшего значения столь явной выдумке. Подобное намерение правительства могло померещиться только клеветнику, который состряпал брошюру, а милорд, хотя и не блистал остроумием, всегда отличался здравым смыслом. То, что он поверил подобным измышлениям, носил этот пасквиль на груди, а слова его в сердце, — все это ясное свидетельство его поврежденного ума. Без сомнения, одно упоминание о мистере Александере и прямая угроза лишить ребенка его прав ускорили то, что давно назревало. А может быть, мой господин уже давно был помешан, но мы были недостаточно внимательны и слишком пригляделись к нему, чтобы понять степень его болезни.

Примерно неделю спустя после появления пасквиля я поздно вечером прогуливался по набережной и по привычке свернул по направлению к хижине Баллантрэ. Вдруг дверь отворилась, и при свете, выхватившем из мрака кусок дороги, я увидел человека, сердечно прощавшегося с хозяином. Каково же было мое изумление, когда в человеке этом я узнал авантюриста Гарриса. Я не мог не заключить, что привела его сюда рука милорда, и на обратном пути был погружен в тяжкие размышления. Домой я вернулся поздно и застал милорда за укладкой саквояжа, сопровождавшего его в путешествиях.

— Ну, куда вы пропали? — закричал он. — Завтра мы уезжаем в Олбени, мы с вами, и вам надо сейчас же собраться в путь.

— В Олбени, милорд! — воскликнул я. — А с какой стати?

— Перемена обстановки, — сказал он.

Миледи, у которой глаза были заплаканы, подала мне знак повиноваться без дальнейших возражений. Позднее, как только мы нашли случай обменяться несколькими словами, она рассказала мне, что он внезапно объявил ей о своем отъезде сразу же после посещения капитана, и все усилия ее не только отговорить его от этой поездки, но хотя бы выяснить ее причины остались тщетными.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
СКИТАНИЯ ПО ЛЕСАМ

Мы совершили благополучно путешествие вверх по чудесной реке Гудзон. Погода была прекрасная, холмы необычайно приукрашены своим осенним убранством. В Олбени мы остановились на постоялом дворе, и я не был настолько слеп, а милорд не был настолько искусен, чтобы я не разглядел его намерения держать меня взаперти. Та работа, которую он для меня придумал, вовсе не была настолько спешной, чтобы ее выполнять без необходимых документов, запершись в номере захолустной гостиницы, и вовсе она не была настолько важна, чтобы заставить меня по четыре-пять раз переписывать все ту же бумагу. Я делал вид, что подчиняюсь, но под рукой принимал свои меры и благодаря любезности нашего хозяина был осведомлен о всех городских новостях. Таким путем я узнал наконец то, чего, надо сказать, ожидал уже очень давно. Мне сообщили, что капитан Гаррис, в сопровождении мистера Маунтена, торговца, проплыл в лодке вверх по реке. Я стал избегать проницательного взгляда трактирщика — настолько усилилось во мне чувство, что милорд как-то замешан в этом деле. Но все же, признав в разговоре, что знаю капитана, а мистера Маунтена в глаза не видел, я спросил, не было ли с ними других спутников. Мой осведомитель не знал этого; мистер Маунтен высадился ненадолго, чтобы сделать необходимые закупки, потолкался в городе, торгуясь, выпивая и хвастая, и похоже было, что они предприняли какую-то многообещающую затею, потому что он подробно распространялся о том, как широко будет жить по возвращении. Больше ничего не было известно, потому что, кроме него, никто с лодки не приходил в город и они, по-видимому, очень спешили до снега добраться в какое-то определенное место.

Помню, что в Олбени на другой день выпал легкий снежок и сейчас же растаял — это было словно предупреждение о том, что нас ожидает. Тогда я над этим не задумывался, еще плохо зная немилосердную природу этой страны. Теперь-то я многое понимаю и часто думаю, не таился ли ужас событий, о которых мне предстоит рассказать, в свинцовом небе и неистовых

ветрах, на чью волю мы оказались отданы, и в ужасающей стуже, принесшей нам такие страдания.

После того как проплыла лодка, я сначала предполагал, что мы вернемся в Нью-Йорк. Но не тут-то было. Милорд без какой-либо видимой причины затягивал свое пребывание в Олбени и держал меня при себе, нагружая никому не нужной работой. Я чувствую, что подвергнусь заслуженному осуждению за то, что сейчас скажу. Я был не настолько глуп, чтобы не понимать своих собственных подозрений. Я видел, что жизнь Баллантрэ доверена Гаррису, и не мог не подозревать в этом какого-то умысла. У Гарриса была плохая репутация, и его втайне ссужал деньгами милорд. Торговец Маунтен, как выяснилось из моих расспросов, был птицей того же полета. Предприятие, которое они затеяли, — отыскание награбленных сокровищ — само по себе давало повод к нечистой игре; а характер местности, куда они отправлялись, обещал полную безнаказанность в любом кровавом деле. Но не забудьте, что я был тот самый человек, который пытался спихнуть Баллантрэ за борт в море, тот самый, который предлагал от души нечестивую сделку самому господу богу, пытаясь сделать его своим наемным убийцей. Правда, я во многом потакал нашему врагу. Но об этом я всегда думал как о проявлении слабости моей плоти, как о своей вине. Разум мой всегда был тверд в своей враждебности к этому человеку. Правда и то, что одно дело — самому брать на свои плечи весь риск и вину злоумышленника и совсем другое — стоять в стороне и глядеть, как марает и губит себя милорд. В этом-то и была главная причина моего бездействия. Потому что вмешайся я хоть сколько-нибудь в это дело) я, может быть, и не спас бы Баллантрэ, и неминуемо очернил бы милорда.

Вот почему я бездействовал и вот в чем и сейчас вижу свое оправдание. Тем временем мы продолжали жить в Олбени, и, хотя были одни в чужом городе, мы мало общались и только обменивались приветствиями при встрече. Милорд привез с собой несколько рекомендательных писем ко многим видным местным горожанамземлевладельцам, других он встречал раньше в Нью-Йорке. Благодаря этим знакомствам он имел возможность большую часть времени проводить вне дома и, к моему огорчению, вести слишком рассеянный образ жизни. Часто я уже был в постели и томился бессонницей, когда он еще только возвращался из гостей, и почти каждый вечер он отдавал неумеренную дань спиртным напиткам. Днем он по-прежнему нагружал меня бесконечными поручениями, проявляя неожиданную для меня изобретательность в том, чтобы выдумывать и беспрестанно подновлять эту пряжу Пенелопы. Как я уже говорил, я ни от чего не отказывался, потому что нанят был выполнять его приказания, но мне нетрудно было раскусить его нехитрые уловки, и я позволял себе иногда говорить это ему в лицо.

— Мне представляется, что я черт, а вы Майкл Скотт,[54] — сказал я ему однажды. — Я уже навел мост через Твид и расколол Эйлдонский хребет ущельем, а теперь вы поручаете мне свить канат из песка.

Он посмотрел на меня, блеснув глазами, и отвел их в сторону. Челюсть его зашевелилась, он словно жевал слова, но вслух не сказал ничего.

— Право же, милорд, — продолжал я, — ваша воля для меня закон. И, конечно, я перепишу эту бумагу в четвертый раз, но, если вашей милости не трудно, придумайте мне на завтра новый урок, потому что, сказать по правде, этот мне уж очень наскучил.

— Вы сами не знаете, что говорите, — сказал милорд, надевая шляпу и поворачиваясь ко мне единой. — Странное это удовольствие — доставлять мне неприятности. Вы мне друг, но и дружбе есть границы. Странное дело! Мне не везет всю жизнь. И до сих пор я окружен всякими ухищрениями, вынужден распутывать заговор. — Голос его поднялся до крика. — Весь мир ополчился против меня!

— На вашем месте я не стал бы придумывать таких небылиц, — сказал я.

— А вот что бы я сделал, так это окунул бы голову в холодную воду. Потому что вчера вы, должно быть, выпили сверх меры.

— Вот как? — сказал он, как будто заинтересованный моим советом. — А это и правда помогает? Никогда т пробовал.

— Я вспоминаю дни, милорд, когда вам и нужды не было пробовать, и хотел бы, чтобы они воротились. Ведь разве вы сами не видите, что, если так будет продолжаться, вы самому себе причините вред?

— Просто я сейчас переношу спиртное хуже, чем раньше. И меня немножко развозит, Макнеллар. Но я постараюсь держать себя в руках.

— Именно этого я и жду от вас. Вам не следует забывать, что вы отец мистера Александера. Передайте мальчику ваше имя незапятнанным.

— Ну, ну, — сказал он. — Вы очень рассудительный человек, Маккеллар, и давно уже находитесь у меня на службе. Но если вам нечего больше сказать, — прибавив ей с той горячей, ребячливой пылкостью, которая ему была теперь свойственна, — я, пожалуй, пойду!

— Нет, милорд, мне нечего добавить, — довольно сухо сказал я.

— Ну, тогда я пойду, — повторил милорд, но, уже стоя в дверях, он обернулся и, теребя шляпу, которую скова сиял с головы, посмотрел на меня. — Больше я вам ни на что не нужен? Нет? Так я пойду повидать сэра Уильяма Джонсона, но я буду держать себя в руках. — Он помолчал с минуту, а потом с улыбкой добавил: — Знаете то место, Маккеллар, немного ниже Энглза, там ручей течет под обрывом, где растет рябина. Помню, я часто бывал там мальчишкой; бог мой, это мне кажется какой-то старой песней. Я тогда только и думал, что о рыбе, и, случалось, брал знатный улов. Эх, и счастлив же я был тогда! И почему это, Маккеллар, почему теперь я не могу быть таким же?

— Милорд, — сказал я, — если вы будете умереннее по части спиртного, вам будет много лучше. Старая поговорка говорит, что бутылка — плохой утешитель.

— Да, да, конечно, — сказал он. — Конечно! Ну что ж, я пошел.

— Путь добрый, милорд, — сказал я. — До свиданья.

— До свиданья, до свиданья, — повторил он и вышел наконец из комнаты. Я привел этот разговор, чтобы показать, каким милорд бывал по утрам, и если читатель не заметит, насколько он сдал за это время, значит, я плохо описал своего господина. Знать всю глубину его падения, знать, что он слывет среди своих собутыльников ничтожным, тупым пьянчужкой, терпимым (если только его терпели) лишь за его титул, и вспоминать, с каким достоинством он переносил когда-то удары судьбы, — от этого впору было одновременно и негодовать и плакать.

А в нетрезвом виде он был еще более несдержан.

Я приведу только один случай, имевший место уже в самом конце, — случай, который навсегда запечатлелся в моей памяти, а в свое время исполнил меня прямо-таки ужаса.

Я уже был в кровати, но не спал, когда услышал, как он поднимается по лестнице, топая и распевая песни. Милорд не был привержен к музыке, все таланты семьи достались на долю старшего брата, поэтому, когда я говорю «распевал», это следует понимать — горланил и приговаривал. Так иногда пробуют петь дети, пока не начнут стесняться, но слышать такое от взрослого, пожилого человека по меньшей мере странно. Он приоткрыл дверь с шумливыми предосторожностями пьяного, вгляделся в полумрак комнаты, прикрывая свою свечу ладонью, и, решив, что я сплю, вошел, поставил свечу на стол и снял шляпу. Я очень хорошо видел его; казалось, в его жилах бурлила лихорадочная веселость. Он стоял, ухмылялся и хихикал, глядя на свечу. Потом он поднял руку, прищелкнул пальцами и принялся раздеваться. Поглощенный этим, он, очевидно, забыл о моем присутствии и снова запел. Теперь я уже различал слова старой песни «Два ворона», которые он повторял снова и снова:

И над костями его скелета

Ветер пусть воет зиму и лето.

Я уже говорил, что он не отличался музыкальностью. Мотив был бессвязен, и его отличало только минорное звучание, но он соответствовал словам и чувствам поющего с варварской точностью и производил на слушателя неизгладимое впечатление. Начал он в темпе и ритме плясовой песни, но сразу же непристойное веселье стало сбывать, он тянул ноты с жалкой чувствительностью и кончил на таком плаксивом пафосе, что просто невыносимо было слушать. Точно так же постепенно сбывала резкость всех его движений, и, когда дело дошло до брюк, он уселся на кровати и принялся хныкать. Я не знаю ничего менее достойного, чем пьяные слезы, и поскорее отвернулся от этого позорного зрелища.

Но он уже вступил на скользкую стезю самооплакивания, на которой человека, обуянного старыми горестями и свежими возлияниями, остановить может только полное истощение сил. Слезы его лились ручьем, а сам он, на две трети обнаженный, сидел в остывшей комнате. Меня попеременно терзала то бесчеловечная досада, то сентиментальная слабость; то я привставал в постели, чтобы помочь ему, то читал себе нотации, стараясь не обращать внимания и уснуть, до тех пор, пока внезапно мысль «quantum mutatus ab illo»[55] не пронзила мой мозг; и, вспомнив его прежнюю рассудительность, верность и терпение, я поддался беззаветной жалости не только к моему господину, но и ко всем сынам человеческим.

Тут я соскочил с кровати, подошел к нему и коснулся его голого плеча, холодного, словно камень. Он отнял руки от лица, и я увидел, что оно все распухло, все в слезах, словно у ребенка, и от этого зрелища досада моя взяла верх.

— Стыдитесь! — сказал я. — Что за ребячество! Я бы тоже мог распустить нюни, если бы слил в брюхо все вино города. Но я лег спать трезвым, как мужчина. Ложитесь и вы и прекратите это хныканье!

— Друг Маккеллар, — сказал он. — Душа болит!

— Болит? — закричал я на него. — Оно и понятно! Что это вы пели, когда вошли сюда? Пожалейте других, тогда и другие вас пожалеют. Выбирайте что-нибудь одно, я не хочу служить межеумкам. Хотите бить — так бейте, терпеть — терпите!

— Вот это дело! — закричал он в необычайном возбуждении. — Бить, бить! Вот это совет! Друг мой, я слишком долго терпел все это. Но когда они посягают на моего ребенка, когда дитя мое под угрозой… — Вспышка прошла, он снова захныкал: — Дитя мое, мой Александер! — и слезы снова потекли ручьем.

Я взял его за плечи и встряхнул.

— Александер! — сказал я. — Да вы хоть подумали о нем? Не похоже! Оглянитесь на себя, как подобает настоящему мужчине, и вы увидите, что все это самообман. Жена, друг, сын — все они одинаково забыты вами, и вы предались всецело вашему себялюбию.

— Маккеллар, — сказал он, и к нему как будто вернулись прежние повадки и голос. — Вы можете говорить обо мне все что угодно, но в одном грехе я никогда не был повинен — в себялюбии.

— Как хотите, но я должен открыть вам глаза, — сказал я. — Сколько времени мы живем здесь? А сколько раз вы писали своим домашним? Кажется, впервые вы разлучаетесь с ними, а написали вы им хоть раз? Они могут думать, что вас уже нет в живых.

Этим я затронул его самое уязвимое место, это подстегнуло все лучшее в нем, он перестал плакать, он, каясь, благодарил меня, улегся в постель и скоро уснул. Первое, за что он взялся наутро, было письмо к миледи. Это было очень ласковое письмо, хотя он так его и не кончил. Вообще всю переписку с Нью-Йорком вел я, и судите сами, какая то была неблагодарная задача. О чем писать миледи и в каких выражениях, до каких пределов выдумывать и в чем быть беспощадно откровенным — все эти вопросы не давали мне спать.

А между тем милорд с нарастающим нетерпением ожидал вестей от своих сообщников. Гаррис, надо полагать, обещал закончить дело как можно скорее. Уже прошли все сроки, а напряженное ожидание было плохим советчиком для человека с тронутым рассудком.

Воображение милорда все это время было неотрывно приковано к лесным дебрям и следовало по пятам той экспедиции, в делах которой он был так заинтересован. Он беспрестанно представлял себе их привалы и переходы, окружающую местность, тысячи возможных способов все того же злодеяния и как результат — братнины кости, над которыми завывает ветер. Эти тайные, преступные мысли все время выглядывали в его разговорах, словно из зарослей, и я их отлично видел. Не мудрено, что вскоре его стало физически притягивать место его мысленного преступления.

Хорошо известно, каким предлогом он воспользовался. Сэр Уильям Джонсон был послан в эти места с дипломатическим поручением, и мы с милордом присоединились к его свите (якобы из простой любознательности). Сэр Уильям был хорошо снаряжен и хорошо снабжен. Охотники приносили нам дичь, ежедневно для нас ловили свежую рыбу, и бренди лилось рекою. Мы двигались днем, а на ночь разбивали бивуак на военный лад. Сменялись часовые, каждый знал свое место по тревоге, и душой всего был сам сэр Уильям. Меня все это по временам даже занимало. Но, к нашему несчастью, погода сразу установилась на редкость суровая, дни еще бывали мягкие, но по ночам сильно морозило. Почти все время лицо нам обжигал пронзительный ветер, так что пальцы у нас синели, а ночью, когда мы, скорчившись, грелись у костров, одежда у нас на спине казалась бумажкой. Нас окружало ужасающее безлюдье, местность эта была совершенно пустынна, не видно было ни дымка, и, кроме одной-единственной купеческой лодки на второй день пути, нам в дальнейшем никто не встретился. Конечно, время было позднее, но это полное безлюдье на торговом водном пути угнетало даже самого сэра Уильяма. Не раз я слышал, как он выражал свои опасения.

— Я отправился слишком поздно, — говорил он, — они, должно быть, выкопали топор войны.

И дальнейшее подтвердило его догадки.

Я не в силах описать, в какой мрак погружена была моя душа в продолжение всего этого путешествия. Я не охотник до необычайного, зрелище наступающей зимы на лесных бивуаках так далеко от дома угнетало меня, как кошмар. Я чувствовал, что мы бросаем безрассудный вызов могуществу господню, и чувство это, которое, смею сказать, рекомендует меня трусом, стократно усугублялось тайным сознанием того, что мы должны были обнаружить. Вдобавок меня крайне тяготила обязанность развлекать сэра Уильяма. Милорд к этому времени окончательно погрузился в состояние, граничившее со столбняком. Он, не отрываясь, вглядывался в лесную чащу, почти не спал и говорил за весь день слов двадцать, не больше. То, что он говорил, имело смысл, но почти неизменно вращалось вокруг той экспедиции, которую он высматривал с такой безумной настойчивостью. Часто, и каждый раз как новость, он сообщал сэру Уильяму, что у него «брат где-то здесь, в лесах», и просил, чтобы разведчикам было дано указание справляться о нем. «Я очень жду вестей о брате», — твердил он. А иногда на пути ему казалось, что он видит челнок впереди на реке или стоянку на берегу, и тогда он проявлял крайнее волнение.

Сэра Уильяма не могли не удивить такие странности, и наконец он отвел меня в сторону и поделился со мной своими догадками. Я тронул рукой голову и покачал ею; меня даже порадовало, что своим свидетельством я отведу угрозу возможного разоблачения.

— Но в таком случае, — воскликнул сэр Уильям, — допустимо ли оставлять его на свободе?

— Те, кто знает его ближе уверены, что ему следует потакать.

— Ну что ж, — сказал сэр Уильям, — конечно, это не мое дело. Но если бы я знал это раньше, я ни за что не взял бы вас с собой.

Наше продвижение в эту дикую страну продолжалось без всяких приключений около недели. Однажды вечером мы разбили бивуаки в теснине, где река прорывалась сквозь высокие холмы, поросшие лесом. Костры были разожжены на отмели, у самой воды, и, поужинав, мы, как обычно, легли спать. Ночь выдалась убийственно холодная: жестокий мороз добирался до меня и сквозь одеяло; я продрог до костей и не мог заснуть, К рассвету я поднялся и то сидел у костров, то расхаживал взад и вперед по берегу, чтобы как-нибудь согреть окоченевшее тело. Наконец заря занялась над заиндевевшим лесом и холмами, спящие заворошились под грудой одежды, а бурная река с ревом неслась среди торчавших из воды оледеневших скал. Я стоял, озирая окрестность, весь закутанный в жесткий тяжелый плащ бизоньего меха, воздух обжигал ноздри, и дыхание выходило паром, как вдруг странный пронзительный крик раздался у опушки соседнего леса. Часовые откликнулись на него, спящие мигом вскочили на ноги. Кто-то указал направление, другие вгляделись, и вот на опушке меж двух стволов мы различили человека, исступленно простирающего к нам руки. Спустя минуту он бегом кинулся к нам, упал на колени у границы лагеря и разрыдался.

Это был Джон Маунтен, торговец, который перенес ужасающее испытание, и первое его слово, обращенное к нам, как только он обрел дар речи, был вопрос, не видали ли мы Секундры Дасса.

— Кого? — спросил сэр Уильям.

— Нет, мы его не видели, — сказал я. — А что?

— Не видели? — сказал Маунтен. — Так, значит, я все-таки был прав. — При этом он провел ладонью по лбу. — Но что заставило его вернуться? Что ему надо там, среди мертвых тел? Черт возьми, тут какая-то тайна!

Его слова возбудили в нас горячий интерес, но лучше будет, если я изложу все по порядку. Далее вы прочтете рассказ, который я составил по трем источникам, кое в чем не совсем совпадающим.

Первый источник — это письменное показание Маунтена, в котором искусно затушевана преступная подоплека всего дела.

Второй — два разговора с Секундрой Дассом и Третий — неоднократные беседы с Маунтеном, в которых он был со мной совершенно откровенен, так как, по правде говоря, считал и меня сообщником.

Рассказ со слов торговца Маунтена

Партия, отправившаяся вверх по Гудзону, под объединенным началом капитана Гарриса и Баллантрэ, состояла из девяти человек, причем среди них не было ни одного (за исключением Секундры Дасса), который не заслуживал бы виселицы. Начиная с самого Гарриса, все участники были известны в колонии как бесшабашные, кровожадные негодяи. Некоторые из них были заведомые пираты и большинство — контрабандисты, все поголовно гуляки и пьяницы. Все они были достойными сообщниками и, не задумываясь, взяли на себя исполнение этого предательского и злодейского умысла. Судя по рассказу, не видно было ни малейшей попытки установить дисциплину или выбрать предводителя шайки, но Гаррис и четверо других — сам Маунтен, два шотландца, Пинкертон и Хэйсти, и некто Хикс, спившийся сапожник, — сразу столковались и определили план действий. Они были хорошо снаряжены, а у Баллантрэ, в частности, была с собой палатка, что обеспечивало ему возможность держаться особняком.

Даже это ничтожное преимущество с самого начала восстановило против него всех прочих. Да и вообще положение его было настолько двусмысленное (и даже смешное), что все его повелительные повадки и умение очаровывать ни на кого не действовали. Все, кроме

Секундры Дасса, рассматривали его как одураченного глупца и намеченную жертву, слепо идущую на смерть. Сам он, однако, едва ли не считал, что это он задумал и возглавил экспедицию, и едва ли не держал себя соответствующим образом, на что люди, посвященные в тайну, только усмехались себе в кулак. Я настолько привык представлять себе его высокомерную, повелительную манеру, что, думая о положении, в которое он попал среди этих разбойников, был огорчен за него и даже стыдился. Когда могла возникнуть у него первая догадка, мне не известно, но возникла она не скоро. И глаза у него раскрылись, когда партия ушла далеко в лесные дебри и помощи ждать было неоткуда.

Произошло это так. Однажды Гаррис и другие уединились в лесу, чтобы посовещаться, как вдруг их внимание привлек шорох в кустах. Они все были привычны к хитростям индейцев, а Маунтен не только жил и охотился с ними, но даже воевал вместе с ними и пользовался среди них почетом. Он умел передвигаться по лесу без всякого шума и выслеживать врага, как ищейка. И когда возникло подозрение, он был отправлен остальными на разведку. Он нырнул в заросли и скоро убедился, что по соседству с ним осторожно, но неумело пробирается сквозь кусты какой-то человек. Проследив его, он увидел, что это уползает, тревожно оглядываясь, Секундра Дасс. Маунтен не знал, огорчаться ему или радоваться такому открытию, и, когда, вернувшись, он рассказал об этом, его сообщники точно так же недоумевали. Правда, сам по себе индиец не был опасен, но, с другой стороны, если Секундра Дасс взял на себя труд выслеживать их, то, по-видимому, он понимал по-английски, а это значило, что весь их разговор известен Баллантрэ. Одна любопытная деталь: если Секундра Дасс понимал поанглийски и скрывал это, то Гаррис, в свою очередь, знал несколько наречий Индии, но так как поведение его в этой части света было не только распутно, но и преступно, он не считал нужным разглашать свое прошлое. Таким образом, каждая сторона имела свои преимущества. Как только выяснены были все эти обстоятельства, заговорщики вернулись в лагерь, и Гаррис, видя, что индус уединился с Баллантрэ, подполз к их палатке, в то время как остальные, покуривая трубки у костра, с нетерпением ждали новостей. Когда Гаррис вернулся, лицо у него было мрачное. Он слышал достаточно, для того чтобы подтвердить самые худшие подозрения. Секундра Дасс отлично понимал по-английски, он уже несколько дней выслеживал и подслушивал их, и Баллантрэ теперь был полностью посвящен в их замысел. Они с Дассом уговорились завтра же отстать на очередном волоке и пробираться сквозь леса, предпочитая голод или встречу с дикими зверями и индейцами пребыванию среди убийц.

Что было делать заговорщикам? Некоторые хотели убить Баллантрэ немедленно, но Гаррис возразил, что это будет бесцельное убийство, потому что вместе с ним умрет и тайна сокровища. Другие высказывались за то, чтобы отказаться от всей затеи и плыть обратно в Нью-Йорк. Однако приманка зарытых богатств и мысль о долгом пути, который они уже проделали, удержала большинство от этого решения. Мне кажется, что в основном они были туповаты. Правда, Гаррис повидал свет, Маунтен был неглуп, а Хейсти получил кое-какое образование, но даже они были типичными неудачниками, а остальных они навербовали среди худших подонков колонии. Во всяком случае, решение, к которому они пришли, было подсказано скорее алчностью и надеждой, чем разумом. Они решили ждать, быть начеку, следить за Баллантрэ, придерживать языки, не давать ему повода к дальнейшим подозрениям и всецело положиться (как мне кажется) на то, что их жертва точно так же алчна, неразумна и ослеплена надеждой, как и они сами, и в конце концов отдаст в их руки и жизнь и богатство одновременно.

На другой день Баллантрэ и Секундра дважды считали, что ускользнули от своих убийц, и дважды были настигнуты. Баллантрэ, правда, во второй раз заметно побледнел, но в остальном не выказывал ни тени огорчения, шутил над собственной нескладностью, которая позволила ему заблудиться, благодарил настигших его как за величайшую услугу и возвращался в лагерь с обычным своим бравым и оживленным видом. Но, конечно, он почуял ловушку: с этого времени они с Секундрой переговаривались только шепотом и на ухо, и

Гаррис напрасно мерз возле их палатки, стараясь что-нибудь подслушать. В ту же ночь было объявлено, что они бросят лодки и пойдут дальше пешком, устраняя сумятицу перегрузок на порогах, это сильно уменьшало шансы на успешный побег.

И вот началась молчаливая борьба, где ставкой была, с одной стороны, жизнь, с другой, — богатство. Они приближались теперь к тем местам, где сам Баллантрэ должен был показывать дальнейший путь, и, ссылаясь на это, Гаррис и другие целые ночи напролет просиживали с ним у костра, вызывая его на разговор и стараясь выудить у него нужные сведения. Баллантрэ знал, что если проговорится, то тем самым подпишет себе смертный приговор; с другой стороны, он не должен был уклоняться от их вопросов, — наоборот, должен был делать вид, что по мере сил помогает им, чтобы не подчеркивать своего недоверия. И Маунтен уверял, что, несмотря ни на что, Баллантрэ и бровью не повел. Он сидел в кружке этих шакалов, на волосок от гибели, так, словно был остроумный, гостеприимный хозяин, принимающий гостей у своего камина. У него на все был ответ — чаще всего шутка, он искусно избегал угроз, парировал оскорбления, рассказывал, смеялся и слушал других с самым непринужденным видом, короче говоря, вел себя так, что обезоруживал подозрения и расшатывал твердую уверенность в том, что он все знает. В самом деле, Маунтен признавался мне, что они готовы были усомниться в открытии Гарриса и считать, что их жертва по-прежнему пребывает в полном неведении об их умысле, если бы Баллантрэ (хотя и находчиво) не уклонялся от прямыхответов и, к довершению всего, не предпринимал все новых попыток к бегству. О последней такой попытке, которая привела к развязке, мне и предстоит сейчас рассказать. Но сначала я должен упомянуть, что к этому времени терпение спутников Гарриса почти истощилось, они отбросили всякие церемонии и, как одно из проявлений этого, у Баллантрэ и Секундры (под каким-то ничтожным предлогом) отобрали оружие. Со своей стороны, обе жертвы подчеркивали свое дружелюбие: Секундра не переставал кланяться, Баллантрэ — улыбаться. В последний вечер этого «худого мира» он дошел до того, что развлекал всю компанию песнями. Заметили также, что в этот вечер он ел с необычным для него аппетитом и пил соответственно; конечно, это было неспроста.

Около трех часов утра он вышел из своей палатки, со стонами и жалобами на рези в животе. Некоторое время Секундра хлопотал вокруг своего господина, потом тому полегчало, и он прилег и уснул тут же на мерзлой земле за палаткой. Через некоторое время сменился часовой. Он указал, где лежит Баллантрэ, укрытый своим плащом бизоньего меха, и новый часовой (как он потом утверждал) глаз не сводил со спящего. Но вот на рассвете вдруг налетел сильный порыв ветра и завернул угол плаща; тем же порывом была подхвачена шляпа Баллантрэ, которую унесло на несколько шагов в сторону. Часовому показалось странным, что спящий при этом не проснулся. Он подошел поближе, и тотчас же его крик оповестил весь лагерь, что пленник сбежал. Он оставил в залог своего индуса, который (в первой горячке такого открытия) чуть было не поплатился жизнью и, во всяком случае, был жестоко избит. Но и подвергаясь побоям и истязаниям, Секундра сохранил свою всегдашнюю верность господину, твердя, что он и понятия не имеет о намерениях Баллантрэ (что, может быть, было и правдой) и о том, как тому удалось бежать (что было явной ложью). — Заговорщикам пришлось теперь всецело положиться на искусство Маунтена.

Ночь была морозная, земля тверда, как камень, а с восходом солнца стало сильно таять. Маунтен хвалился, что немногие в таких условиях нашли бы след и даже индейцы едва ли проследили бы по нему беглеца, Баллантрэ поэтому успел уйти очень далеко, и для такого неопытного пешехода, каким он был, шел с удивительной быстротой, потому что лишь к полудню Маунтен наконец обнаружил его. Торговец был один, по его собственному указанию другие рассыпались по лесу в нескольких сотнях шагов, позади, он знал, что Баллантрэ безоружен, он был так распален горячкой преследования, и видя Баллантрэ так близко, таким беззащитным и усталым, в своем тщеславии задумал взять его в одиночку. Еще несколько шагов, и он вышел на небольшую прогалину, на другом конце которой, сложив руки на груди

и опершись спиной о большой камень, сидел Баллантрэ. Возможно, что ветка хрустнула под ногой Маунтена, во всяком случае, Баллантрэ поднял голову и посмотрел прямо в том направлении, где скрывался охотник. «Я не уверен, что он видел меня, — рассказывал Маунтен, — он просто глядел в мою сторону с выражением такой решимости, что все мужество мое утекло, точно ром из бутылки». И когда Баллантрэ отвел глаза и, казалось, снова погрузился в размышления, которые прервал торговец, Маунтен тихонько прокрался обратно в чащу и вернулся за помощью к своим спутникам.

И тут началась целая цепь неожиданностей: не успел разведчик уведомить прочих о своем открытии, не успели те приготовить оружие для общего натиска на беглеца, как тот сам появился перед ними. Заложив руки за спину, он шел не таясь и спокойно.

— А, это вы, — сказал он, увидев их. — Хорошо, что я вас встретил. Пойдемте в лагерь.

Маунтен не признался им в собственной слабости, не рассказал и о смутившем его взгляде Баллантрэ, так что всем остальным его возвращение казалось добровольным. И все же поднялся шум, посыпались проклятия, поднялись в воздух кулаки, нацелены были ружья.

— Пойдемте в лагерь, — повторил Баллантрэ, — я должен вам кое-что объяснить, но я хочу это сделать перед всеми. А тем временем я бы убрал все это оружие: ружье легко может выпалить и унести все ваши надежды на сокровища. Я не стал бы, — добавил он с улыбкой, — «резать курицу, которая несет золотые яйца».

И еще раз победило обаяние его превосходства — все беспорядочной гурьбой направились в лагерь. По дороге он нашел случай перекинуться наедине несколькими словами с Маунтеном.

— Вы умный и смелый человек, — сказал он, — и я уверен, что вы не знаете себе настоящей цены. Подумайте о том, не лучше ли и не безопаснее ли для вас служить мне, чем такому тупому злодею, как мистер Гаррис? Подумайте об этом, — продолжал он, слегка похлопав его по плечу. — И не спешите. Живой или мертвый, но я опасный противник.

Когда они пришли в лагерь, где Гаррис и Пинкертон оставались сторожить Секундру, последние накинулись на Баллантрэ, как бешеные волки, но были изумлены сверх всякой меры, когда пришедшие сообщники попросили их «оставить его в покое и послушать, что скажет им джентльмен». Баллантрэ не дрогнул перед их натиском, как не выразил ни малейшей радости при этом свидетельстве завоеванных им позиций.

— Не будем торопиться, — сказал он. — Сначала пообедаем, потом объяснимся.

Все наскоро поели, а потом Баллантрэ, лежа и опершись на локоть, начал говорить. Он говорил долго, обращаясь ко всем поочередно, кроме Гарриса, находя для каждого (за тем же исключением) какое-нибудь льстивое слово. Он обращался к ним, как к «честным, смелым ребятам», уверял, что никогда не бывал в такой веселой компании, что никогда работа не выполнялась лучше, а невзгоды не переносились с большей бодростью.

— Но тогда, — говорил он, — кто-нибудь может спросить меня, какого черта я сбежал. Это едва ли заслуживает ответа, потому что все вы прекрасно знаете причину. Но знаете вы далеко не все. Вот об этом-то я и собираюсь вам сказать, и слушайте внимательно, когда до этого дойдет дело. Среди вас есть предатель, предатель вдвойне. Я назову его прежде, чем кончу, и этого пока достаточно. Но вот, спросит меня другой джентльмен: а какого черта ты возвратился? Так вот, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я сначала спрошу: кто из вас, не этот ли мерзавец Гаррис, говорит на индустани? — Он грозно произнес эти слова и, став на одно колено, указал прямо на упомянутого им человека жестом, неописуемо угрожающим. А когда на вопрос ему ответили утвердительно, подхватил: — Ага! Так, значит, все мои подозрения оправдались и я правильно сделал, что вернулся. Теперь выслушайте правду, наконец всю правду. — И он выложил им длиннейшую историю, рассказанную с чрезвычайным искусством: как он все время подозревал Гарриса, как он нашел подтверждение всех своих опасений и как Гаррис, должно быть, перетолковал его разговор с Секундрой. Тут он нанес

мастерский удар, который пришелся прямо в цель. — Вы, небось, думаете, что вы в доле с Гаррисом и что вы сами позаботитесь, чтобы это было так, потому что, конечно, вы не надеетесь, что этот прожженный плут не обманет вас при дележе. Но берегитесь! У подобных полуидиотов всего и есть, что их хитрость, как у скунса — его вонь, и для вас, может быть, будет новостью, что Гаррис — уже позаботился о себе. Для него это дело верное. Вы должны найти богатства или умереть, а Гаррис уже получил свое: мой брат вперед заплатил ему за то, чтобы он погубил меня. Если вы сомневаетесь, посмотрите на него, посмотрите, как он корчится и давится смехом, как изобличенный вор! — Затем, развивая этот выигрышный довод, он объяснил, как убежал, но, обдумав все дело, в конце концов решил вернуться назад, выложить перед всеми всю правду в последней попытке договориться с ними, потому что он убежден, что они сейчас же оставят Гарриса и выберут себе нового предводителя. — Вот вам истинная правда, — сказал он, — и я всецело предаюсь вам, всем вам, за исключением одного. Хотите знать кого? Вот сидит человек, — закричал он, снова указывая на Гарриса, — который должен умереть! Род оружия и условия боя для меня безразличны. Дайте мне сойтись с ним один на один, и даже если у меня в руках будет простая палка, я в пять минут превращу его в месиво разможенных костей, в падаль, в поживу шакалов!

Была уже глубокая ночь, когда он закончил свою речь. Его слушали почти в полной тишине, но скудный свет костра не позволял судить по их лицам, какое впечатление он произвел и насколько убедил их в своей правоте. Баллантрэ выбрал для себя наиболее освещенное место, чтобы стать центром всеобщего внимания, и в этом был глубокий расчет. Сначала все молчали, а затем последовал общий спор, причем Баллантрэ лежал на спине, подложив под голову руки и закинув ногу на ногу, как человек, совершенно не заинтересованный в результате. Бравируя таким образом, он, как всегда, перехватил через край и этим повредил себе. По крайней мере после некоторых колебаний возобладало враждебное к нему отношение. Возможно, что он надеялся повторить трюк, проделанный на пиратском судне, и самому быть избранным — пускай на жестких условиях — предводителем шайки. И дело дошло до того, что Маунтен действительно выдвинул такое предложение. Но тут коса нашла на «камень», и камнем оказался Хэйсти. Его не очень любили за кислый вид и медлительность и за неуживчивый и хмурый нрав, но он некоторое время обучался в Эдинбургском университете, готовясь стать священником, пока дурным поведением не разрушил всех своих планов. Теперь он вспомнил и применил то, чему его обучали. И едва он заговорил, как Баллантрэ небрежно перекатился на бок, что (по мнению Маунтена) было сделано, чтобы скрыть охватившее его отчаяние.

Хэйсти отверг как не имеющую отношение к делу большую часть того, что они услышали. Все сказанное о Гаррисе, может быть, и правда, и они со временем в этом разберутся. Но какое это имеет отношение к сокровищу? Они услышали целые потоки слов, но истина заключается в том, что мистер Дьюри чертовски напуган и уже несколько раз убегал от них. Он опять в их руках, пойманный или воротившийся по доброй воле — это для него, Хэйсти, решительно все равно. Теперь важно одно: довести дело до конца. А что касается предложений о перемене и выборе вожаков, то он полагает, что все они свободные люди и сами могут заботиться о своих делах. Все это пыль, которую им пускают в глаза, как и предложение поединка с Гаррисом.

— Баллантрэ ни с кем не будет драться в этом лагере, смею его уверить, — сказал Хэйсти. — Нам стоило достаточных трудов отобрать у него оружие, и было бы непростительной глупостью возвращать оружие ему в руки. Но если этот джентльмен ищет сильных ощущений, то я могу предоставить их ему с избытком, больше того, что он ожидает. Потому что я не намерен тратить остаток своих дней на блуждания по этим горам. И так уж мы тут копаемся слишком долго. Поэтому я предлагаю ему сейчас же сказать нам, где находятся сокровища, или я сейчас пристрелю его. А вот, — добавил он, — и пистолет, которым я собираюсь это сделать!

— Вот это настоящий человек! — вскричал Баллантрэ, садясь и глядя на говорившего с видом полного восхищения.

— Я вас не спрашиваю, какой я человек, — оборвал его Хэйсти.

— Впрочем, все это пустые разговоры, отвечал Баллантрэ. — Вы сами знаете, что у меня нет выбора. Важно то, что мы совсем близко от клада, и завтра я покажу вам его.

И с этими словами, как будто все было улажено согласно его желанию, он ушел в свою палатку, куда уже раньше скрылся Секундра.

Я не могу думать о последних увертках и содроганиях моего старого врага, не испытывая восхищения; даже жалость едва примешивается к этому чувству — очень уж стойко переносил этот человек свои несчастья, очень уж смело он боролся. Даже в этот час, когда ему должна была стать ясна окончательная его гибель, когда он попал из огня да в полымя, опрокинув Гарриса, чтобы сыграть на руку Хэйсти, в его поведении не было ни признака слабости, и он удалился в свою палатку, уже решившись (как я предполагаю) на свою последнюю, неимоверно рискованную попытку, и все с тем же непринужденным, уверенным, элегантным видом, точно покидал театр, чтобы отправиться ужинать со светскими друзьями. Но несомненно, что в глубине души он должен был трепетать.

Поздно вечером по лагерю пронеслась весть, что Баллантрэ заболел, и наутро он первым долгом позвал к себе Хэйсти и в большой тревоге спросил его, не разбирается ли тот в медицине. Баллантрэ попал в точку, потому что как раз медицина была излюбленным коньком этого непризнанного доктора богословия. Польщенный в своем тщеславии, Хэйсти осмотрел его и, невежественный и одновременно недоверчивый, не мог решить: в самом ли деле он болен или притворяется? Вернувшись к остальным, он сказал то, что в обоих случаях могло пойти на пользу ему самому, заявив во всеуслышание, что больной на пороге смерти.

— Но как бы то ни было, — заключил он свое сообщение отвратительной божбой, — пусть хоть подохнет по дороге, а сегодня же он должен провести нас к сокровищу!

Однако в лагере нашлись такие (и Маунтен был в их числе), которых возмутила эта жестокость. Они спокойно были бы свидетелями его убийства и даже сами застрелили бы его без малейшего проблеска жалости, но их, казалось, тронула его отважная борьба и бесспорное поражение, понесенное им накануне вечером. Может быть, в этом сказывалось нараставшее противодействие новому вожаку; во всяком случае, они объявили, что, если Баллантрэ действительно болен, нужно дать ему отсрочку на день наперекор Хэйсти.

Наутро больному стало явно хуже, и сам Хэйсти проявил нечто вроде заботы, настолько даже мнимое его врачевание пробудило в нем человеческие чувства. На третий день Баллантрэ вызвал к себе в палатку Маунтена и Хэйсти, объявил им, что умирает, дал им подробные указания о тайнике и просил их немедленно отправляться на поиски. Чтобы они могли убедиться, что он не обманывает их, и чтобы (если им сразу не удастся найти клад) он еще успел исправить их ошибку.

Но тут возникло затруднение, на которое он, конечно, и рассчитывал. Ни один из них не доверял другому, ни один не соглашался отстать от других. С другой стороны, хотя Баллантрэ, казалось, был при смерти, говорить мог только полушепотом и почти все время лежал в забытьи, все же это могла быть мнимая болезнь, и если бы все отправились за сокровищем, это могло бы обернуться пустой затеей, а пташка без них упорхнула бы. Поэтому они решили не покидать лагеря, ссылаясь при этом на заботу о больном. И в самом деле, настолько запутаны бывают человеческие побуждения, что некоторые были искренне (хотя и неглубоко) тронуты смертельной болезнью человека, которого они сами бессердечно обрекли на смерть. Среди дня Хэйсти был вызван к больному, чтобы прочитать отходную, что (как это ни неправдоподобно) он выполнил с великим усердием. А в восемь вечера завывания Секундры возвестили, что все кончено. Часов в десять индус при свете воткнутого в землю факела уже трудился, копая могилу. На рассвете Баллантрэ похоронили, причем все приняли участие в

погребении и вели себя весьма пристойно. Тело было завернуто в меховой плащ и опущено в землю. Только бледно-восковое лицо покойника было открыто, и, следуя какому-то восточному обычаю, Секундра чем-то заткнул ему ноздри. Когда могила была закидана землей, всех еще раз потрясли громкие причита-ния Секундры, и, по-видимому, эта шайка убийц не только не прекратила его завываний — зловещих, а в такой стране и небезопасных, но даже сочувственно, хотя и грубо, пыталась утешить его.

Однако если хорошие черты временами сказываются и у худших представителей рода человеческого, то все же в основе их поведения лежит алчность, и скоро разбойники, забыв про плакальщика, обратились к своим собственным заботам. Тайник был где-то поблизости, но пока еще не обнаружен, поэтому они решили не сниматься с места, и день прошел в бесплодных обследованиях лесов, в то время как Секундра не поднимался с могилы своего господина. В эту ночь они не выставили часовых, а легли все к костру, по лесному обычаю, как спицы колеса, — ногами к огню. Утро застало их в том же положении, только Пинкертон, расположившийся по правую руку от Маунтена, между ним и Хейсти, был (в ночные часы) втихомолку зарезан и лежал бездыханный под своим плащом, причем оскальпированная голова его представляла ужасное, леденящее душу зрелище. Злодеи были в это утро бледны, как призраки, потому что все они знали неумолимость индейских воинов (или, точнее говоря, индейских охотников за скальпами). В основном они винили себя за ночную беспечность и, распаленные близостью сокровища, решили не уходить. Пинкертона похоронили рядом с Баллантрэ, оставшиеся в живых опять провели день в поисках и вернулись в смешанном настроении тревоги и надежды, отчасти оставаясь в убеждении, что сокровища вот-вот будут найдены, отчасти же (и особенно с наступлением темноты) страшась близости индейцев. Первым караулил Маунтен. Он уверял меня, что ни разу не садился и не смыкал глаз, но нес стражу с напряженной и непрерывной бдительностью, и (когда он увидел по звездам, что пора сменяться) он как ни в чем не бывало направился к огню разбудить своего сменщика, а это был сапожник Хикс, который спал на подветренной стороне, поэтому несколько дальше от костра, чем остальные, и в месте, которое окутывало относимым от костра дымом Когда Маунтен нагнулся и тронул Хикса за плечо, рука его тотчас почувствовала какую-то липкую влагу. В эту минуту ветер переменился, отблеск костра осветил спящего, и Маунтен увидел, что, как и Пинкертон, Хикс мертв и оскальпирован.

Ясно было, что их выслеживал один из тех непревзойденных индейских разведчиков, которые, случалось, неделями преследовали путешественников и, несмотря на их безоглядное бегство и бессонную стражу, все время настигали их и добывали по скальпу на каждом из привалов. Придя к такому заключению, кладоискатели, которых оставалось всего шесть человек, в полном смятении, захватив самое необходимое, бросили костер незагашенным, своего зарезанного товарища непогребенным. Весь день они шли, не присаживаясь, ели на ходу и, боясь заснуть, не прекращали бегства даже с наступлением темноты. Но есть предел человеческой выносливости, и когда они наконец остановились, то глубокий сон свалил их, а когда проснулись, то обнаружили, что враг по-прежнему их преследует, что смерть и страшное увечье еще раз настигли и изуродовали одного из них.

Тут люди совсем потеряли голову. Они уже сбились с пути, провиант их подходил к концу. Я не буду загромождать последовавшими ужасами свой и так уже затянувшийся рассказ. Достаточно будет упомянуть, что в ту ночь, которая впервые прошла без жертвы и когда они могли уже надеяться, что убийцы потеряли их след, в живых оставались только Маунтен и Секундра. Маунтен был твердо уверен, что их незримый преследователь был индеец, знавший его по торговым сделкам с племенами, и что сам он обязан жизнью только этому обстоятельству. Милость, оказанную Секундре, он объяснял тем, что тот прослыл помешанным: во-первых, потому, что в эти дни ужасов и бегства, когда все прочие бросали последнее оружие и провиант, Секундра продолжал тащить на плечах тяжелую мотыгу, а затем и потому, что в

последние дни он все время горячо и быстро говорил сам с собой на своем языке. Но когда дело дошло до английского, он оказался достаточно рассудителен.

— Думает, он совсем бросил нас? — спросил индус, когда, проснувшись, они не увидели очередной жертвы.

— Дай-то бог, верю в это, смею в это верить! — бессвязно ответил ему Маунтен, передававший мне всю эту сцену.

И действительно, он настолько потерял голову, что до самой встречи с нами на следующее утро так и не мог решить, приснилось ли ему это или на самом деле Секундра тут же повернул назад и, не говоря ни слова, пошел по собственному следу среди этого стылого и голодного одиночества, по дороге, на которой каждый привал был отмечен изуродованным трупом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СКИТАНИЯ ПО ЛЕСАМ (окончание)

Рассказ Маунтена в том виде, как он был изложен им сэру Уильяму Джонсону и милорду, конечно, не включал приведенных мною подробностей первого этапа их путешествия, и оно вплоть до самой болезни Баллантрэ казалось свободным от каких-либо событий. Зато о последнем этапе он рассказывал весьма красочно, по-видимому, сам еще взволнованный только что пережитым, а наше собственное положение на границе тех лесных дебрей и наша личная заинтересованность в этом деле заставляли нас разделять его волнение. Ведь сообщение Маунтена не только в корне меняло всю жизнь лорда Дэррисдира, но существенно влияло и на планы сэра Уильяма Джонсона.

О них я должен рассказать читателю подробнее. До Олбени дошли слухи, допускавшие разное толкование; говорили О том, что готовятся враждебные выступления индейцев, и их умиротворитель поспешил в глубь лесов, несмотря на приближающуюся зиму, чтобы подавить зло в самом корне. И вот, дойдя до границы, он узнает, что опоздал. Предстоял трудный выбор для человека, в целом не менее осторожного, чем храброго. Его положение среди раскрашенных храбрецов можно было сравнить с положением лорда Куллодена, губернатора Шотландии, среди вождей наших собственных горцев в 1745 году. Иными словами, он был для туземцев единственным глашатаем разума, и все мирные и умеренные решения могли возникнуть у них только по его совету и настоянию. Так что, если бы он вернулся обратно, вся провинция была бы открыта для чудовищных бедствий индейской войны: запылали бы дома, истреблены были бы все путешественники, и воины унесли бы в леса свою обычную воинскую добычу — скальпы. С другой стороны, углубляться дальше в леса с таким маленьким отрядом, чтобы нести слово мира воинственным племенам, уже вкусившим сладость войны, — это был риск, перед которым, как легко понять, он в нерешимости останавливался.

— Я опоздал, — несколько раз повторил сэр Уильям и погрузился в глубокое раздумье, подперев голову руками и постукивая ногой по земле.

Наконец он поднялся и поглядел на нас, то есть на милорда, Маунтена и меня, жавшихся к небольшому костру, разведенному для него в углу лагеря.

— Говоря по правде, милорд, я никак не могу принять решения, — сказал он. — Я считаю необходимым двигаться вперед, но не могу себе позволить дольше удовольствие пользоваться вашим обществом. Мы еще не отошли от реки, и я полагаю, что речной путь на юг пока безопасен. Не угодно ли вам и мистеру Маккеллару на лодке возвратиться в Олбени?

Я должен сказать, что милорд выслушал повествование Маунтена, не спуская с него глаз, а после окончания рассказа сидел как бы в полусне. В его взгляде было что-то страшное, как мне показалось, — почти нечеловеческое; лицо худое, потемневшее, состарившееся, рот сведем мучительной улыбкой, обнажавшей то и дело зубы, зрачки расширены до предела и окружены налитым кровью белком. Я не мог видеть его без того чувства неприятного раздражения, которое, по-моему, очень часто вызывает в нас болезнь даже самого дорогого для нас человека. Другие же, как я заметил, едва переносили его присутствие: сэр Уильям

явно сторонился его, Маунтен старался не смотреть ему в глаза, а когда взгляды их все-таки встречались, купец отворачивался и запинался. Но при этом предложении сэра Уильяма милорд, казалось, овладел собой.

— В Олбени? — переспросил он внешне спокойно.

— Да, во всяком случае, не ближе, — ответил сэр Уильям. — По эту сторону небезопасно.

— Мне очень не по душе возвращаться, — сказал милорд. — Я не боюсь… индейцев, — добавил он с судорожной улыбкой.

— К сожалению, я не могу сказать того же, — улыбнулся в ответ сэр Уильям. — Хотя как раз мне-то и не следовало бы в этом признаваться. Но вы должны принять во внимание лежащую на мне ответственность. Путешествие становится чрезвычайно опасным, а ваше дело — если оно у вас было — разрешилось трагическим сообщением, которое мы слышали. У меня не было бы никаких оправданий, если бы я допустил вас следовать дальше и разделить с нами возможные опасности.

Милорд обернулся к Маунтену.

— Почему вы думаете, что он умер? — спросил он. — И от какой болезни?

— Правильно ли я понял вашу милость? — сказал торговец и, пораженный этим неожиданным вопросом, даже перестал оттирать обмороженные руки.

На мгновение милорд тоже запнулся, но потом с некоторым раздражением повторил:

— Я спрашиваю, от какой болезни он умер. Как будто бы простой вопрос.

— Я не знаю, — сказал Маунтен. — Даже Хэйсти не мог определить ее. Ну, он болел и умер.

— Вот видите, — заключил милорд, обращаясь к сэру Уильяму.

— Ваша милость, я не совсем понимаю ваше замечание.

— Что ж тут непонятного? — сказал милорд. — Это вполне понятно. Право моего сына на титул может быть оспорено, а смерть этого человека неизвестно отчего, естественно, может вызвать сомнения.

— Но бог мой! Он же похоронен! — воскликнул сэр Уильям.

— Я не могу поверить этому, — ответил милорд, и судорога свела его лицо. — Я не могу поверить этому! — вскричал он опять и вскочил на ноги.

— У него был вид мертвого? — спросил он Маунтена.

— Вид мертвого? — повторил торговец. — Он был совсем белый. Ну, а каким же ему быть? Ведь я говорю сам, я сам засыпал его землей.

Милорд вцепился рукой в плащ сэра Уильяма.

— Этот человек назывался моим братом, — сказал он, — но известно, что он никогда не был смертным.

— Смертным? — спросил сэр Уильям. — Что это значит?

— Он не нашей плоти и крови, — прошептал милорд, — ни он, ни этот черный дьявол, который служит ему. Я пронзил его шпагой насквозь! — закричал он. — Эфес ее стукнул об его грудную кость, и горячая кровь брызнула мне в лицо, раз и еще раз! — повторил он с жестом, которого мне не передать. — Но и после этого он не умер! — сказал милорд, а я громко вздохнул. — Почему же теперь я должен верить, что он мертв? Нет, нет, не поверю, пока не увижу его разлагающийся труп!

Сэр Уильям украдкой мрачно поглядел на меня. Маунтен забыл про свои обмороженные руки, и, разинув рот, смотрел на него во все глаза.

— Милорд, — сказал я. — Вам надо успокоиться. — Но горло у меня так пересохло и в голове так мутилось, что я к этому не мог прибавить ни слова.

— Конечно, — сказал милорд. — Как вам понять меня? Маккеллар, он понимает, потому что он знает все и уже один раз видел, как его погребали. Он мне верный слуга, сэр Уильям, этот добрый Маккеллар. Он своими руками похоронил его — он вместе с моим отцом — при свете двух свечей. А тот, другой, это же истый демон, которого он привез с коромандельских берегов.[56] Я давно бы уже рассказал вам все, сэр Уильям, но дело в том, что это семейная тайна. — Последнее замечание он сделал с тихой грустью, и казалось, что обуревавший его приступ проходит. — Вы можете спросить себя, что все это значит, — продолжал он. — Но посудите сами: мой брат, как они уверяют, заболел и умер, тело его предали земле; как будто все ясно. Но для чего тогда этот демон возвращается назад? Судите сами, это обстоятельство требует выяснения!

— Одну минуту, милорд, сейчас я буду в вашем распоряжении, — сказал сэр Уильям, поднимаясь с места. — Мистер Маккеллар, прошу вас на два слова. — И он вывел меня за пределы лагеря. Под ногами у нас хрустел иней, деревья все были в изморози, как в ту памятную ночь в аллее нашего парка. — Это — явное помешательство, — сказал сэр Уильям, едва мы отошли настолько, что милорд не мог нас слышать.

— Да, конечно, — сказал я, — он не в своем уме. Это ясно.

— Так что же, надо схватить и связать его? — спросил меня сэр Уильям.

— Я жду вашего совета. Если все это бред, то, конечно, это следует сделать немедленно.

Я смотрел на землю, смотрел назад на лагерь, где ярко горели костры и все наблюдали за нашим разговором, и вокруг себя на леса и горы; единственное, на что я не мог смотреть, было лицо сэра Уильяма.

— Сэр Уильям, — сказал я наконец. — Я считаю, что милорд нездоров, я давно уже заметил это. Но и у безумия есть свои ступени, и следует ли применять к больному насилие, сэр Уильям, об этом я судить не решаюсь.

— Тогда я сам буду судьей в этом деле, — сказал он. — Мне нужны факты. Была ли во всей этой белиберде хоть капля истины и здравого смысла? Почему вы колеблетесь? — спросил он. — Что же, вы на самом деле уже однажды похоронили этого джентльмена?

— Не похоронили, — сказал я и, собравшись с духом, продолжал: — Сэр Уильям, вам не понять всего этого дела, если я не расскажу вам длинной истории, которая затрагивает честь знатной фамилии (и мою собственную). Скажите хоть слово, и я сделаю это, — все равно, хорошо это или плохо. И, во всяком случае, скажу вам, что милорд вовсе не так безумен, как это может показаться с первого взгляда. Это очень странная история, конец которой задел краешком и вас.

— Я не хочу слушать ваших секретов, — ответил сэр Уильям, — но скажу вам прямо, с риском быть невежливым, что теперешняя моя компания доставляет мне очень мало удовольствия.

— Я последним решился бы порицать вас по этому поводу.

— Я не просил ни вашего одобрения, ни вашего порицания, сэр, — возразил сэр Уильям. — Все, что я хочу, это избавиться от вас, и для этого я предоставляю в ваше распоряжение лодку и людей.

— Это — великодушное предложение, — сказал я, обдумав его слова. — Но позвольте мне привести доводы противной стороны. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы узнать истинную правду. Даже у меня силен этот интерес, а милорд (как вам должно быть понятно) заинтересовали того больше. Вся эта история с возвращением индуса весьма загадочна.

— В этом я с вами согласен, — прервал меня сэр Уильям, — и я предлагаю вам (так как мы двинемся как раз по тому направлению) доискаться правды. Может быть, этот человек вернулся, чтобы умереть, как собака, на могиле своего господине. Как бы то ни было, но жизнь

его в большой опасности, и я намерен, если только смогу, спасти его. Он себя ничем не запятнал?

— Ничем, сэр Уильям, — ответил я.

— Ну, а другой? — спросил он. — Конечно, я слышал мнение о нем милорда; но самая привязанность его слуги заставляет меня предположить, что в нем были и благородные свойства.

— Не заставляйте меня отвечать на этот вопрос! — воскликнул я. — Может быть, и в аду горит благородное пламя. Я знал его на протяжении двадцати лет, и всегда ненавидел, и всегда восхищался, и всегда по-рабски боялся его.

— Кажется, я опять затронул ваши секреты, — сказал сэр Уильям. — Поверьте, это не входило в мои намерения. С меня хватит того, что я увижу могилу и (если возможно) спасу индуса. На этих условиях можете вы убедить своего господина вернуться в Олбени?

— Сэр Уильям, — отвечал я. — Я скажу вам, как я это понимаю. Вы видели милорда в невыгодном для него сеете; вам может даже показаться странным, что я люблю его. Но я люблю его горячо, и не один я. Если он вернется в Олбени, то лишь подчинясь насилию, а это было бы смертным приговором для его разума и, может быть, для самой жизни. Таково мое искреннее убеждение. Но я всецело в ваших руках и готов повиноваться вашему распоряжению, если вы возьмете на себя ответственность приказывать.

— Я не хочу брать на себя никакой ответственности, мое единственное желание — избежать ее! — воскликнул сэр Уильям. — Вы настаиваете на продолжении вашего путешествия. Будь по-вашему! Я умываю руки!

С этими словами он круто повернулся и отдал распоряжение сниматься с места. Милорд, бродивший поблизости, тотчас же подошел ко мне.

— Ну, как он решил? — спросил он меня.

— Так, как вы хотели, — ответил я. — Вы увидите могилу.

По описанию Маунтена проводники легко определили расположение могилы Баллантрэ. В самом деле, она находилась как раз на основном рубеже лесных дебрей, у подножия гряды вершин, легко опознаваемых по их очертаниям и высоте, откуда брали начало многие бурные потоки, питающие внутреннее море — озеро Шамплэн. Поэтому можно было держать путь прямо, вместо того, чтобы следовать по кровавым следам беглецов, и мы покрыли за шестнадцать часов то же расстояние, которое смятенные путники проделали в шестьдесят. Лодки мы оставили на реке под надежной охраной, хотя было вполне вероятно, что к нашему возвращению они накрепко вмерзнут в лед. Снаряжение, которое мы захватили с собой, включало не только груду мехов для защиты от холода, но и запас канадских лыж, которые позволили бы нам передвигаться после того, как выпадет снег. Наше отбытие было тревожно, продвигались мы как авангард в виду врага и тщательно выбирали и охраняли места ночевок. Именно эти предосторожности остановили нас на второй день пути всего в нескольких сотнях шагов от места нашего назначения: темнело, лужайка, где мы находились, была пригодна для надежного лагеря, и сэр Уильям поэтому дал приказ сделать привал.

Перед нами была высокая гряда вершин, на которую мы весь день держали путь, продираясь сквозь непроходимую чащу. Уже с первыми проблесками рассвета серебристые пики были для нас маяком, до которого нам предстояло преодолеть бурелом болотистого леса, пронизанный бурными потоками и заваленный чудовищными валунами. Вершины (как я говорил) были серебристые, потому что в горах снег уже выпадал каждую ночь, но леса и низины были еще только схвачены морозом. Весь день небо было затянуто грязной пеленой испарений, в которых солнце плавало, тускло поблескивая, как серебряный шиллинг. Весь день ветер дул слева, зверски холодный, но в то же время бодряще-свежий… Однако к вечеру ветер стих, облака, лишенные его напора, рассеялись или вылились дождем, солнце садилось у нас

за спиной в зимнем великолепии, и белые лбы громоздящихся пиков покрылись лихорадочным румянцем умиравшего дня.

Было уже совсем темно, когда мы кончили ужинать; ели мы в молчании и едва лишь кончили еду, как милорд отошел от костров к самой границе лагеря, куда я за ним поспешно последовал. Лагерь был расположен на возвышенности, с которой видно было замерзшее озеро длиною около мили. Вокруг нас по гребням и впадинам темнел лес. Над нами белели горы, а еще выше в ясном небе светила луна. Воздух был совершенно неподвижен, даже деревья не скрипели, и звуки нашего лагеря были приглушены, растворены этой тишиной. Теперь, после того как и солнце и ветер ушли на покой, ночь казалась теплой, словно в июле, — странная иллюзия в зимнюю пору, когда и земля, и воздух, и вода только что не лопались от стужи.

Милорд (или тот, кого я все еще продолжал называть этим излюбленным именем) стоял, подперев локоть рукою и уткнув подбородок в ладонь, и, не отрываясь, глядел в лесную чащу. Мои глаза последовали за его взглядом и почти с удовольствием остановились на заиндевевшем кружеве сосен, четко выделявшихся на освещенных луной пригорках и укрытых тенью в ущельях. Где-то поблизости, говорил я себе, была могила нашего врага, теперь ушедшего туда, где «беззаконные перестают устрашать». Земля навсегда погребла его когдато такое живучее тело. Мне даже начинало представляться, что он по-своему счастлив, навсегда разделавшись с земной суетой и тревогой, каждодневной растратой душевных сил и каждодневным потоком случайностей, в котором — хочешь не хочешь — надо плыть во избежание позора и смерти. Мне уже думалось, как хорош был конец его долгого путешествия, и с этого мысли мои перенеслись на милорда. Разве милорд мой тоже не покойник? Искалеченный солдат, тщетно ожидающий увольнения, ко всеобщему посмешищу ковыляющий в самой гуще битвы. Я помнил его приветливым, благоразумным, дорожащим своим добрым именем сыном, может быть, чересчур почтительным супругом, чересчур любящим человеком, переносящим страдания молча, человеком, пожать руку которого я считал для себя честью. Внезапно жалость рыданием перехватила мне горло; при воспоминании о том, каким он был прежде, мне хотелось громко плакать, и, стоя рядом с ним и глядя на него при свете полной луны, я горячо молился, чтобы господь либо прибрал его, либо дал мне сил не отречься от него.

«Боже, — думал я, — он был для меня лучшим из людей, а теперь он мне противен и страшен. Он не творил зла, по крайней мере до того, как был сломлен горестями. Но и это лишь достойные уважения раны, которыми мы незаслуженно брезгуем. Исцели их, возьми его к себе, пока мы не возненавидели его!»

Я все еще был поглощен своими думами, как вдруг какой-то звук нарушил тишину ночи. Негромкий и не очень близкий, но возникший из такого полного и длительного молчания, звук этот поднял весь лагерь, словно сигнал тревоги. Я еще не успел перевести дыхание, как сэр Уильям уже был рядом со мной, а за ним теснилось большинство его спутников. Все напряженно прислушивались. Когда я оглянулся на них через плечо, мне показалось, что лица их бледны не только от лунного света. Лунные блики в широко открытых глазах; у других тени, густо черневшие ниже бровей (в зависимости от того, как они слушали: подняв или опустив голову), — все это придавало им странный отпечаток возбуждения и тревоги. Милорд стоял впереди всех, слегка пригнувшись, простертой рукой как бы призывая к молчанию: изваяние, а не человек. А звуки все продолжали раздаваться, повторяясь равномерно и часто.

Вдруг Маунтен заговорил громким прерывистым шепотом, как человек, решивший задачу.

— Я понял, — сказал он и, когда все мы обернулись к нему, продолжал:

— Секундра, должно быть, отыскал тайник. Вы слышите, это он отрывает сокровище!

— А ведь и правда! — воскликнул сэр Уильям, — как это мы до сих пор не догадались!

— Странно только, что это так близко от нашей старой стоянки, и непонятно, как он мог опередить нас. Крылья у него, что ли, выросли!

— Алчность и страх стоят любых крыльев, — заметил сэр Уильям. — Ну и переполошил нас этот негодяй! Надо отплатить ему тем же. Что вы скажете, джентльмены, если мы устроим небольшую облаву при лунном свете?

Все согласились. Был выработан план, как застигнуть Секундру на месте преступления. Индейцы-разведчики сэра Уильяма отправились вперед, и мы, оставив лагерь под охраной, двинулись по непроходимой чаще. Скрипел иней, изредка под ногой громко потрескивала льдинка, а над головой — чернота соснового леса, и между сосен яркое сияние луны. По мере того как мы спускались в какую-то низину, звуки скрадывались и вскоре почти совершенно затихли. Другой склон был более открытый, там торчало всего несколько сосен, и крупные валуны отбрасывали чернильно-черные тени на освещенную луной поляну. Здесь звуки донеслись явственнее, слышен был лязг железа о камень, и можно было точнее определить яростную поспешность, с которой работал невидимый землекоп. Когда мы одолели склон, в воздух поднялись и тяжело порхнули черной тенью две или три птицы, а еще через несколько шагов за сеткой деревьев перед нами предстало странное зрелище.

Узкая луговина с нависавшими над ней скалами, с боков окаймленная лесом, была залита сиянием луны. Здесь и там в беспорядке валялись неприхотливые пожитки — скудное достояние охотников. Почти посредине лужайки стояла палатка, посеребренная инеем; пола ее была откинута, и внутри — чернота. Сбоку лежало то, что можно было определить как останки человека. Без сомнения, мы находились на месте привала шайки Гарриса. Тут было раскидано их брошенное в панике добро; в той палатке покончил свои расчеты с жизнью Баллантрэ; а замерзший труп перед нами — было все, что осталось от пьяницы-сапожника. Место трагического происшествия всегда производит особое впечатление, а то, что мы набрели на него спустя столько дней и нашли его (полном одиночестве пустыми) нетронутым, должно было потрясти умы даже самых бесчувственных. Но все же не это заставило нас окаменеть на месте, а зрелище, впрочем, наполовину предугаданное нами: Секундра, уже воля врывшийся в могилу своего умершего господина. Он сбросил с себя большую часть одежды, и все же его худые руки и плечи лоснились на лунном свету от обильного пота; его лицо было искажено тревогой и надеждой. Удары мотыги раздавались в могиле глухо, как рыдания, а за ним уродливая иссиня-черная тень его на заиндевевшей земле повторяла и словно передразнивала его быстрые движения. Какие-то ночные птицы, вспугнутые нашим появлением, шумно вспорхнули с деревьев, а потом уселись на прежнее место, но Секундра, поглощенный своей работой, не слыхал, не чувствовал ничего.

Я слышал, как Маунтен шепнул сэру Уильяму:

— Боже милостивый! Да ведь это могила! Он хочет его выкопать!..

Мы все уже об этом догадывались, но мысль эта, облеченная в слова, все же потрясла меня. Сэр Уильям бросился вперед.

— Ах ты, богохульная собака! Что это значит? — закричал он.

Секундра подскочил на месте, с его уст сорвался слабый вскрик, мотыга выпала у него из рук, и мгновение он стоял, уставясь на говорившего. Потом, быстрый как стрела, он метнулся к лесу, а в следующую минуту, безнадежно всплеснув руками, уже шел к нам обратно.

— Так вот, вы пришел на помощь… — заговорил он.

Но тут милорд вышел вперед и стал рядом с сэром Уильямом. Луна ярко осветила его лицо, и Секундра еще не успел договорить, как вдруг узнал врага своего господина.

— Он! — взвизгнул индус, ломая руки и как-то весь сжимаясь.

— Не бойся, не бойся, — сказал сэр Уильям, — никто не причинит тебе вреда, если ты не виноват, а если ты в чем-то виноват, то тебе не удастся бежать. Скажи, что ты делаешь здесь между могилой и тем непогребенным трупом?

— Вы не разбойник? — спросил Секундра. — Вы верный человек? Вы меня не тронете?

— Никто тебя не тронет, если ты ни в чем не виноват! — повторил сэр Уильям. — Я уже сказал это тебе и не вижу причин, почему бы тебе сомневаться в моих словах.

— Они все убийцы, — закричал Секундра, — вот почему! Он — чтобы резать, — указал он на Маунтена, — они — чтобы платить! — указал он на милорда и меня. — Все три на виселицу! Да, я вижу, все будут висеть! Я спасу сахиба, и он заставит вас висеть. Сахиб, — продолжал он, указывая на могилу, — он не мертвый. Он в земле, но он не мертвый.

Милорд издал какой-то неясный звук, подвинулся к могиле и, снова застыв, глядел на нее.

— В земле — и не мертв? — воскликнул сэр Уильям. — Что за бред?

— Слушай, сахиб, — сказал Секундра. — Мой сахиб и я один с убийцами. Пробовал, как бежать. Никак нехорошо. Потом пробовал такой способ. Хороший способ когда тепло, хороший способ в Индии, а здесь, где так холодно, кто знает? Надо спешить. Вы помогай, зажигай костер, помогай тереть.

— Что он болтает, этот заморыш? — закричал сэр Уильям. — Просто голова идет кругом!

— Говорю вам, я закопал его живым, — сказал Секундра. — Научил его проглотить язык. Теперь надо откопать скорее, и ему не будет плохо. Зажги костер.

— Разведите костер, — обратился к ближайшему из своих людей сэр Уильям. — Должно быть, мне на роду написано иметь дело с полоумными!

— Вы хороший, человек, — сказал Секундра. — Я пойду копать сахиба.

Он воротился к могиле и принялся снова копать. Милорд стоял неподвижно, а я рядом с ним, страшась, сам не зная чего.

Земля промерзла еще не очень глубоко, и скоро индус отбросил свою мотыгу и стал выгребать землю пригоршнями. Вот он откопал полу бизоньего плаща, потом я увидел, как пальцы его захватили какие-то волосы, спустя минуту луна осветила что-то белое. Секундра припал на колени, осторожно скребя землю пальцами, сдувая прах своим дыханием, и, когда он приподнялся, я увидел, что лицо Баллантрэ уже откопано. Оно было мертвенно бледно, глаза закрыты, ноздри и уши чем-то заткнуты, щеки запали, нос заострился, как у мертвеца, но, несмотря на то, что он столько дней пролежал под землей, тление не коснулось его, и (что более всего поразило всех нас) его губы и подбородок были опушены темной бородкой.

— Боже мой! — закричал Маунтен. — Да когда мы его хоронили, лицо у него было гладкое, как у младенца!

— Говорят, что волосы растут и после смерти, — заметил сэр Уильям, но голос его звучал слабо и глухо.

Секундра не обращал внимания на наши слова, он отбрасывал в сторону рыхлую землю быстро, как крот. С каждой минутой на дне этой неглубокой канавки очертания фигуры, закутанной в бизоний плащ, становились определенней. Луна светила все ярче, и наши тени при каждом движении перебегали по возникшему из земли лицу. Нами овладел невообразимый ужас. Я не смел взглянуть милорду в лицо, но, сколько мы ни стояли, я не заметил, чтобы он хотя бы перевел дух, а немного позади нас один из наших спутников (я не знаю кто) стал судорожно всхлипывать.

— Теперь, — сказал Секундра, — помогай мне поднять сахиба.

Я тогда потерял всякое ощущение времени и не могу сказать, сколько часов, — может быть, три, может быть, пять, — трудился индус, стараясь вдохнуть жизнь в тело своего господина. Одно только я знаю, что ночь еще не кончилась и луна еще не села, хотя и опустилась низко над лесом, исчертив лужайку тенями деревьев, когда у Секундры вырвался

короткий крик радости. Быстро нагнувшись, я уловил какое-то изменение в застылом облике этого вырванного у земли человека. Еще мгновение — и я увидел, как дрогнули его веки, потом они раскрылись и, этот недельной давности труп глянул мне прямо в глаза.

Что я сам видел эти признаки жизни, в том я могу чем угодно поклясться. От других я слышал, что он, казалось, пытался заговорить, что в его бороде блеснули зубы, что лоб его свела судорога боли и нечеловеческого усилия. Возможно, все это было. Я этого не видел, я был занят другим. Потому что, как только мертвец приоткрыл глаза, лорд Дэррисдир упал на землю как подкошенный, и, когда я поднял его, он был мертв.



Наступил день, а Секундру все еще нельзя было убедить, чтобы он бросил безуспешные попытки оживления. Как только рассвело, сэр Уильям, оставив несколько человек в мое распоряжение, отправился дальше выполнять свою миссию. А Секундра все еще растирал

конечности мертвеца и дышал ему в рот. Казалось, что такие усилия могли бы оживить камень, но, если не считать того единственного проблеска жизни (который принес смерть милорду), черная душа Баллантрэ не возвращалась в покинутую оболочку, и к полудню даже верный его слуга убедился наконец в тщете своих усилий. Он принял это с невозмутимым спокойствием.

— Слишком холодно, — сказал он. — Хороший способ в Индии, нехороший здесь.

Он попросил есть, с жадностью накинулся на еду и мгновенно проглотил все, что перед ним поставили. Потом он подошел к костру и занял место рядом со мной. Тут же он растянулся и заснул, как усталый ребенок, глубоким сном, от которого мне пришлось его долго будить, чтобы он принял участие в двойном погребении. Так было и дальше: казалось, он одновременно, одним напряжением воли, пересилил и печаль по своему господину и страх передо мной и Маунтеном.

Один из оставленных мне людей был искусным резчиком по камню, и прежде чем сэр Уильям вернулся, чтобы захватить нас на обратном пути, он, по моим указаниям, уже выбил на огромном валуне следующую надпись, словами которой я и закончу свой рассказ:

Дж. Д.,

наследник, древнего шотландского рода,

человек, преуспевший во всех искусствах и тонкостях,

блиставший в Европе, Азии и Америке,

в военных и мирных делах,

в шатрах диких племен и в королевских палатах,

так много свершивший, приобретший и перенесший,

лежит здесь, позабытый всеми.

Г. Д.,

прожив жизнь в незаслуженных огорчениях,

которые он мужественно переносил,

умер почти в тот же час и спит

в той же могиле

рядом со своим единоутробным врагом.



Заботами его жены и его старого слуги

воздвигнут этот камень

над могилой обоих.

● ● ●

Примечания

1

Давид Первый — король, правивший Шотландией в начале XII века.

2

Томас из Эрсельдуна — шотландский поэт XIII в.

3

Времена Реформации — время широкого социальнополитического движения, принявшего форму борьбы против католической церкви и носившего в целом антифеодальный характер. В Англии Реформация захватывает XIV–XVI века.

4

Принц Чарли — сын Джемса, или (по латинской форме) Якова Стюарта, претендента на английскую корону, который, как и все потомки изгнанной в 1688 году старшей ветви династии Стюартов, жил за границей. Оттуда, пользуясь денежной и военной поддержкой французского короля и римского папы, Стюарты не раз предпринимали попытки реставрации. Будучи шотландского происхождения и надеясь на рознь между шотландцами и англичанами, Стюарты рассчитывали найти себе опору в Шотландии. Принц Чарли в 1745 году высадился на шотландском побережье и сразу стал собирать по стране войско для похода на Лондон.

5

За «короля Джемса» — за Якова Стюарта; за «короля Джорджа» — за короля Георга Ганноверского, царствовавшего тогда в Англии.

6

Иаков и Исав — сыновья библейского патриарха. Младший из братьев, Иаков, за чечевичную похлебку купил у Исава право наследства и занял место, надлежащее Исаву, как старшему. На эту притчу в романе не раз ссылаются действующие лица.

7

Карлайль — город в Северной Англии.

8

Стюарты вербовали себе сторонников также и среди католиков-ирландцев.

9

На Куллоденских болотах в Северной Шотландии в 1746 году было разбито наголову войско принца Чарли.

10

Не силой, а повторением *(лат.).*

11

Клэвергауз, или Джон Грэм, маркиз Данди — генерал Якова II, усмиритель шотландского восстания в 1679 году, жестокий гонитель пуритан.

12

Тит Ливий — римский историк, живший в I веке до н. э. Его исторические сочинения были излюбленным чтением в XVII–XVIII веках.

13

Гораций — знаменитый римский поэт, живший в I веке до н. э.

14

Портшез — закрытые носилки, своего рода переносное кресло, которым пользовались в городах средневековья вплоть до XVIII века.

15

Эттенгейм — город в Юго-Западной Германии.

16

Примечания мистера Маккеллара. Не Алан ли это Брэк Стюарт, известный потом по Аппинскому убийству? Кавалер, вообще говоря, очень нетверд в именах.

17

Паладин — рыцарь.

18

«Дева Мария-с ангелами» *(франц.).*

19

Бушприт — толстый брус, наклонно или горизонтально укрепленный на носу судна; служит для выноса вперед носовых парусов.

20

Фальшборт — продолжение наружной обшивки судна выше палубы, для безопасности людей и грузов.

21

Примечание Маккеллара. Этого Тийча с «Сары» не надо смешивать со знаменитым Чернобородым. Даты и факты ни в коем случае не совпадают. Возможно, что второй Тийч заимствовал одновременно и имя и внешние повадки первого. Ведь нашел же своих почитателей и владетель Баллантрэ.

22

Примечание Маккеллара. Не в этом ли надо искать объяснения? Даттона, как и тех офицеров, поддерживало сознание лежавшей на нем ответственности.

23

Якобиты (по имени изгнанного в 1688 году короля Якова II, последнего из династии Стюартов) — в XVII и XVIII веках сторонники Стюартов.

24

Примечание мистера Маккеллара. Сущий вздор: в это время и речи не было об их свадьбе, смотри об этом выше в моем рассказе.

25

Якобиты пользовались за границей денежной поддержкой французского короля и римского папы.

26

«Милый путник» *(ирл.).*

27

Граф Лалли, Томас Артур, — сын знатяого ирландского якобита, участник якобитской интервенции 1745 года; подвизался в Индии как колонизатор и командующий французскими войсками; был разбит англичанами и захвачен в плен.

28

Квакер — распространенная религиозная секта протестантского толка в Англии.

29

Апроши — траншеи, ходы сообщения, которые помогали осаждающим приблизиться к укреплениям врага.

30

Тартан — домотканая клетчатая шерстяная материя, из которой в XV–XVIII веках шотландские горцы шили свою одежду.

31

Майорат — земельное владение, не подлежащее разделу целиком переходящее к старшему из наследников.

32

Та же тупая медлительность, которая меня выводит из себя! *(франц.).*

33

«Над отцом и сыном сжалься, благая, молю» — цитата из поэмы «Энеида» римского поэта I в, до н. э. Вергилия *(перевод В. Брюсова).*

34

Сипай — воин *(перс.).* Сипаями назывались в XVIII веке в Индии наемные войска из местного населения.

35

Дервиш — монах-мусульманин.

36

Галланд (1646–1715) — французский исследователь Древнего Востока и переводчик арабских сказок «1001 ночь».

37

Примечание мистера Маккеллара. Конечно это был Секундра Дасс.

38

Сахиб (арабск.). — обращение к мусульманину. В XVIII веке в Индии, особенно при обращении к англичанам, употреблялось в значении «господин».

39

Помни о смерти *(лат.).*

40

«Потерянный рай» — поэма Джона Мильтона, английского поэта и деятеля английской буржуазной революции XVII века.

41

Дидона — царица Карфагена, у которой гостил сын троянского царя Эней, бежавший из Трои после падения ее. Вергилий в «Энеиде» рассказывает, как Эней повествовал о своих скитаниях Дидоне, с увлечением слушавшей его.

42

«Переполошил вольсков в их Кориоли» — цитата из шекспиривского «Кориолана». Вольски — одно из племен Центральной Италии, которое долго вело упорную борьбу с Римом. Кориоли — их столица.

43

Хороший тон выдержан *(франц.).*

44

Ричардсон — английский писатель XVIII века, основатель семейно-бытового и психологического романа. Его роман «Кларисса», вышедший в 1748 году, пользовался широкой популярностью у читателей.

45

Шканцы — палуба корабля между средней и кормовой частью.

46

Десять заповедей — десять основных правил религиозно-нравственной жизни, записанных в Ветхом завете и принятых также христианским учением.

47

«Последний довод» *(лат.).*

48

«Человек слова» *(франц.).*

49

Нотабли — важные персоны из дворянства и зажиточното купечества — «отцы города».

50

Клайв Роберт — генерал-губернатор Индии, в XVIII веке грабежами, вымогательствами и интригами утвердивший в Индии владычество англичан и вытеснивший оттуда соперничавших с ними французов.

51

По римскому преданию, Эней, покидая Трою, унес на плечах своего отца.

52

Грэб-стрит — улица в Лондоне, где в XVII и XVIII веках жили мелкие писатели и журналисты.

53

Виги — партия, представлявшая в XVII веке в Англии интересы крупной торговой и финансовой буржуазии и торгового дворянства.

54

Майкл Скотт — средневековый ученый, ставший персонажем английских народных сказок; благодаря уму и хитрости он командует даже чертом.

55

«Как он изменился против прежнего» *(лат.).* Цитата из «Энеиды» Вергилия.

56

Коромапдельский берег — восточный берег Индии.
